

Цена свободная

Индекс 70250

«ДН» — 2015

Романы, повести:

Мария АНУФРИЕВА. Существо. Роман

Заир АСИМ. Книга дней. Повесть

Валерий БОЧКОВ. Время воды. Роман

Резо ГАБРИАДЗЕ. Доктор и больной. Повесть

Хамид ИСМАЙЛОВ. Пляска бесов, или Большая игра. Роман

Елена КЛЕПИКОВА. Из жизни Марты. Повесть в рассказах

Афанасий МАМЕДОВ. Перегрузка в Тунисе. Короткий роман

Марина МОСКВИНА. КРИО. Роман. Книга вторая

Гурам ОДИШАРИЯ. Очкастая бомба. Повесть. С грузинского

Захар ПРИЛЕПИН. Новое произведение

Елена РЖЕВСКАЯ. Бремя выбора. Воспоминания

Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть

Дмитрий СТАХОВ. Свет ночи. Роман

Алексей УСТИМЕНКО. Хмарь стеклянной Бухары. Повесть

Сергей УТКИН. История болезни. Повесть в рассказах

Илья ФАЛИКОВ. Борис Рыжий. Дивий Камень. Жизнеописание

Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. Роман. С армянского

Рассказы: Евгения АЛЁХИНА, Андрея ВОЛОСА, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Юрия ОСИПОВА, Мариам ПЕТРОСЯН, Владимира ТОРЧИЛИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других авторов

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Ковчег» и наши собственные открытия

Новые сочинения: Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ (с азербайджанского), Анатолия КОРОЛЁВА, Ицхока МЕРАСА (с литовского), Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Владимира ХОЛОДОВА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Сергея ВАСИЛЬЕВА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Ольги ИВАНОВОЙ, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Светланы КЕКОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛЕВИНСКИ, Ларисы МИЛЛЕР, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА и других авторов

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 2015, № 3, 1—256



ДРУЖБА НАРОДОВ

ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ 3/2015



3'2015

- **Инна Кабыш**
Севастопольские рассказы
Стихи
- **Владимир Медведев**
Заххок
Роман
- **Поэзия белорусской эмиграции**
В переводах Ивана Бурсова
- **Алексей Малащенко**
Заметки по национальному
и иным вопросам
- **Юрий Каграманов**
Кого ждёт «триумф воли»?
Противоборство идеологий на Украине

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LiVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomrk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.01.2015.
Подписано в печать 20.02.2015.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 8191. Цена свободная.

Дружба народов 3'2015

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Инна КАБЫШ. Севастопольские рассказы. Стихи	3
Владимир МЕДВЕДЕВ. Захлок. Роман	7
Михаил СВИЩЁВ. Короткая вечность. Стихи	101
Мария АМОР. Рассказы	105
Геннадий КАЦОВ. Как снедью хороши столы. Стихи	132
Алексей ИВАНОВ. Мартышка посла Бурунди. Рассказы	135
Поэзия белорусской эмиграции: Алесь СМОЛЕНЕЦ; Наталья АРСЕНЬЕВА; Рыгор КРУШИНА; Фёдор ИЛЪЯШЕВИЧ; Алесь ДУДИЦКИЙ; Владимир КЛИШЕВИЧ; Михась КАВЫЛЬ; Янка ЮХНОВЕЦ; Алесь СОЛОВЕЙ; Сергей ЯСЕНЬ; Масей СЕДНЁВ. С белорусского. Перевод Ивана Бурсова	158
Илья ОГНЕВ. Два рассказа	172

Нация и мир

Алексей МАЛАШЕНКО. Заметки по национальному и иным вопросам	183
---	-----

Публицистика

Юрий КАГРАМАНОВ. Кого ждет «триумф воли»? Противоборство идеологий на Украине	200
Александр ТАРАСОВ. Одесса: обнять и заплакать	210

Критика

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Сад никаких времён. Семь поэтических сборников 2014 года	223
--	-----

Книжный развал

Александр КОТЮСОВ. Рожденный ползать... ..	235
Атнер ХУЗАНГАЙ. Бурятский бродяга Дхармы	239
Александр ЛЮСЫЙ. Территория Пангеи. Текстостерон для текстуальной революции	242
Нина ГАБРИЭЛЯН. Вкус понтийской соли	246
Николай АНАСТАСЬЕВ. Что в имени тебе моем?	248

Эхо

Страшная школа жизни. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	252
Summary	256

Инна Кабыш

Севастопольские рассказы

* * *

Мянутся бедные народы,
горит и небо, и земля...
Не может целью быть свобода:
она всего лишь средство для

чего-то, что её важнее.
Чему названья даже нет
или назвать я не умею.
Но должен, должен быть ответ!

И дым Отечества в натуре
невероятно горький дым
(он сладок лишь в литературе),
и в нём не видно: Рим ли, Крым,

и не видны людские лица...
И только морю всё равно —
и сколько это будет длиться,
и чьё оно, и с кем оно...

* * *

Никакая война
далеко не бывает:
пуля-дура летит —
и меня убывает.
И становится тень
на стене слишком узкой:
никакая война не бывает не русской.
Никакая земля не бывает далёко —
за полями поля,
а не око за око.

* * *

Как хорошо, что умер папа
и то, что мама умерла:
одесско-киевский растяпа
и бориславская герла.
И спят средь грохота и грома —
как только любящие спят:
не видят ни останков дома,
ни выжженный вишнёвый сад,
и им неважно, кто в ответе...
Сошлись две родины — лоб в лоб,
и нет прекраснее на свете,
чем как сойти до срока
в гроб.

* * *

1.

И сосед свистел по-хулигански,
и мне было пять неполных лет...
Это было в городе Луганске.
А теперь такого места нет.

2.

Вот и сегодня так же, как вчера,
шепчу: «Катятся ядра, свищут пули...»
и оттого ещё страшной жара:
так может быть в аду, а не в июле.
Но почему-то я ещё иду,
И жизнь великим кажется мне блатом.
— Но как мне быть в ладу с ней и в аду?
— Как в детсаду.

В Луганске.

Ты была там.

* * *

Вот и всё. Севастополь в июле,
уплывает мой выросший сын,
но совру, что меня обманули:
человек не бывает один.

Севастополь в июле, а значит
не чужой он уже, не пустой:
за деревьями где-то маячит
молодой и красивый Толстой.

Это кажется только, что вымер
этот город, восьмой из чудес, —
молодой и красивый Владимир,
взявши воду, берёт Херсонес.

И «Силистрия» снова на рейде,
и Нахимов такой молодой.
И живой.

И вина мне налейте,
что с утра ещё было водой.

* * *

Спасибо князю-изуверу,
что принял истинную веру,
что канул в Лету мерзкий идол:
свинья не съела, Бог не выдал,
и что безмолвствовал народ,
набрав воды днепровской в рот,
и что осталось нам немного:
поверить в выбранного Бога

* * *

Что за страшная это страна:
всё, что было в ней, будет вовеки.
Впрочем, может, мне снится она?
Но тогда — поднимите мне веки:
из избы выметающей сор,
в эти хляби влюблённой и дали...
Ох, приедет ужо ревизор!
Впрочем, нас уже предупреждали...

* * *

Памяти матери

Сколько б лет тебе было сегодня —
не истёк этой давности срок! —
в это жаркое лето Господне
подсказал мне упавший листок.

И сегодня их было б немного,
а назад девятнадцать-то лет!..
Ну и как там, скажи мне, у Бога?
И он есть вообще или нет?

Это шутка. Не бойся, не надо —
Я за Родину на ночь молюсь,
Как меня научила с детства,
Ибо Киев — он всё-таки Русь.

Даже если, как блудного сына,
в никуда уведёт его путь:
есть ли Бог — помолюсь всё едино,
нет ли Бога — скажу Ему: «Будь!»

* * *

Как в морозы не верилось в оттепель,
как не верилось после в мороз,
так поверить совсем не легко теперь,
что седьмого родится Христос.

То, что в детстве так было естественно,
не сказать чтобы вовсе прошло...
Говорят, есть деревня Рождествено,
или, может быть, это село.

Там сейчас колядуют, наверное,
и я тоже со всеми иду...
Помню я это чудо мгновенное —
эту первую в небе звезду.

Эту старую-старую Библию,
эту белую-белую печь,
свою бабку Явдоху любимую,
украинскую ридную речь...

— И куда это всё задевалось-то —
мои шесть, Украина, Христос?
— Просто сжать надо веки без жалости —
сильно-сильно,
до боли,
до слёз.

Владимир Медведев

Заххок

Роман

1. Андрей

Налегаю на лопату и выворачиваю...

Ни хера себе! Череп.

Человеческий.

Присаживаюсь на корточки, разглядываю. Ни разу не видел мертвецов. Но это и не мертвец. Кость. Тыква с кривыми зубами и дырами для глаз... И все же такая, наглухо, жалость накатила. «Да, — думаю, — залетел кто-то по-черному. Убили его здесь, голову отрезали и тут же, во дворе, закопали...»

Слышу:

— Чего сидишь?

Поднимаю голову. На краю котлована — пластиковые шлепанцы «найк». Из них босые пальцы торчат. Над ними пижамные штаны в полоску. Еще выше круглое брюхо. А совсем уж в вышине, в утреннем небе — широченная байская ряха. Хакбердыев, хозяин. Вот этот, точняк, и убил. Двор-то его собственный.

Ненавижу таких гадов. Не хозяин он мне, я только пашу на него. Дом строю. А он тарашится будто я его собственность.

— Почему не работаешь?

— Череп нашел, — огрызаюсь. — Тут у вас что, кладбище?

Зырит, будто оценивает. Потом этак важно:

— Знаешь, как говорят: под каждым следом коня зарыты две сотни глаз.

Мудрец, блин! Да эта пословица каждому в Таджикистане известна. До нас, мол, столько прошло поколений, что где ни копни — везде лежат сто человек. Нашел себе алиби!

А он переспрашивает вроде как с угрозой:

— Ты понял? — И пальцем указывает: — Это... сюда неси.

Ненавижу когда приказывают. Я не бобик — прыгать из ямы с костью в зубах. Встал и швырнул череп баскетбольным броском. Он принял пас неожиданно четко. Только глазом черным зыркнул:

Медведев Владимир Николаевич — родился в Забайкалье, на озере Кинон, большую часть жизни прожил в Таджикистане. Работал монтером, рабочим в геологическом отряде, учителем в кишлачной школе, газетным корреспондентом, фоторепортером, патентоведом в конструкторском бюро, редактором в литературных журналах. Автор книги рассказов «Охота с кукуем» («Лимбус Пресс», 2007). Публикации в «Дружбе народов»: «Нечаянная революция» (о Бухарской революции 1920 года), «Басмачи — обреченное воинство», «Земля разрушенных стен», «Праздник общей беды», «Сага о бобо Сангаке» и др.

Журнальный вариант.

— Работай давай... Чего стоишь? Копай.

Уходя, обернулся:

— Хорошо работай. Ты ведь Муродова сын? Смотри, хорошо землю копай.

А то отца опозоришь.

И отвалил, шлепая «найками».

Я посмотрел-посмотрел, как он, держа череп у бедра будто мяч, шествует по своей усадьбе к дому под виноградником, «Ах ты, басмач, — думаю. — Да гори оно огнем». Плюнул, вылез из ямы и пошел в дальний конец двора, где Равиль и Карл сколачивали опалубку под фундамент. Иду и прикалываюсь: пузо выпятил, шаркаю кедами как хозяин шлепанцами. Подошел и кричу ребятам:

— Эй, почему медленно работаете? Плохо молотком стучать будете, секир-башка вам исделим.

Равиль гвоздь в доску загнал, голову рыжую поднял и спрашивает:

— Чего ты ему пультнул?

— Башку твоего предшественника. Бугра, что старый дом строил. Вот с ним и расплатились...

Короче, рассказал я про свою находку. А им, вроде, без интересу. Карл лишь буркнул:

— Что за череп? С мясом, с волосами?

— Гладкий.

Карл плечами пожал:

— Тогда лет двадцать в земле лежит. Не меньше.

Равиль с ходу встрял:

— Бери уж тысячу.

— Может, и столько. Почва сухая.

Равиль ему:

— А миллион не хочешь? — и мне подмигивает: — Андрюха, да ты первого человека откопал. Могилу святого Деда Адама нашел.

Карл пальцем у виска крутит:

— Думаешь, если Ватан — райцентр, так и рай здесь был?

Равиль языком цокает:

— Э-э, брат-джон, у тебя в голове, оказывается, совсем масла нет. Совсем не знаешь, где живешь. В центре мира живешь. Здесь у нас все было. Райский сад был. Александр Македонский был. Товарищ Саидакрам Мирзорезоев из Совета министров тоже был...

Ну, понеслись стебаться. Хлебом не корми — дай друг друга подколоть.

— Слушай, — спрашиваю Рафиля, — как думаешь, зачем он черепушку уволок?

— Кто?

— Ну, этот... басмач... Хакбердыев.

— Спроси чего полегче. Может, похоронит. Националы любят хоронить, им Аллах за это грехи прощает.

— Нет, тут другое что-то. Наверняка улику прячет. Он же бандит.

— Да ну! Просто торгаш.

— По мне, так все торгаши — бандиты.

Равиль усмехается:

— Хорош мудрить, Андрюха. Иди трудись, ищи остальные кости.

— Хорош приказывать, — огрызаюсь. — И так иду.

Ну, блин, тоже мне большой начальник.

Рою и думаю: может, череп и впрямь древний. Но этот-то, басмач, все

равно — бандюга. С чего он так гнусно лыбился? «Отца не опозорь». О чем это? Отец ведь тоже собирался что-то сказать. Встретил его вчера на улице. Он торопился, обещал вечером к нам прийти, да не пришел. Я ждал допоздна и еще больше, чем обычно, обиделся. Простить ему не могу, что не понимает, как я к нему тянусь. Раньше даже плакал по ночам из-за того, что он меня не замечает.

Слышу, на улице за забором кто-то сигналил будто ненормальный. И орет:

— Андрей! Эй, Андрей!

Вылезаю из ямы, подхожу к забору. Ну, кто там еще? Белый фургон «Скорая помощь». За рулем — черт худой, усатый, черномазый. Али, водитель больничный, которого все Аликом зовут. Мы с ним вроде как кореша. Кричит из окна кабины:

— Андрей, садись быстро. Поехали!

Он всегда как на пожар. Всю дорогу одно: «быстро-быстро», «давай побыстрому». А меня злость разбирает. Вчера отец времени для меня не нашел, а сегодня даже машину прислал. Бросай, сынок, дела и — к нему. Быстро-быстро!

— У тебя, — спрашиваю, — лед что ль в жопе загорелся?

— Братан, кончай базарить, — Алик кричит. — Времени нет!

Ништяк себе заход.

— Ну ты, Эйнштейн, пространство-то хоть осталось? — спрашиваю.

С юмором у Али — всю дорогу проблемы. Не врубается.

— Эй, садись, говорю!

— А дальше что? Лекцию о времени прочитаешь?

— Отца твоего убили.

Я сначала не понял. Он по новой:

— Твоего отца! Убили!

Я понял, но не поверил, а когда поверил, время исчезло. И пространство, наверное, тоже. Пока я ехал, за ветровым стеклом висела мутная пелена, в которой растворились и глухие глинобитные заборы на окраине поселка, и высокие тополя вдоль пыльной дороги, и хлопковые поля, расстилавшиеся до дальних гор... Остановились на краю какого-то солончака. Кучка людей. Рядом — черная «Волга». Я выпрыгнул из кабины. Люди оглянулись, расступились. Отец лежал на спине. Одежда была в пыли и репейниках, будто его волокли по земле. Кровоподтек на пол-лица.

Я вроде бы ослеп. Не видел ближних холмов и дальних гор. Не видел поля, залитого солнцем. Не видел стоящих вокруг. Видел только глубокую борозду поперек его шеи. Тонкую линию, прорезающую вспухшую плоть. Не слышал, как шуршит горячий ветер. Не слышал, как шепчутся окружающие. Потом рядом, как бы за какой-то стеной, кто-то сказал:

— Ну что ж, надо тело забрать.

Сначала я даже не понял смысла. Захлестывало чувство страшной неоправданности. Вытерпеть не было мочи. Меня будто на куски разрывало. Наверное, я зарычал или застонал. Я озираясь, словно искал что-то, чего найти не мог. Взгляд наткнулся на районного прокурора. Он внимательно смотрел на меня, будто следил.

— Большое горе, Андрей... Очень тебе сочувствую. Крепись. Теперь что поделаешь?

Кивнул Алику:

— Давай, грузи.

Алик распахнул задние дверцы фургона, выволок раскладные брезентовые носилки и разложил их рядом с отцом. И тут я будто очнулся.

— А следствие?!

— Разберемся, — сказал прокурор. — Следствие проведем обязательно. Но сразу тебе скажу: дело очень трудное. Никто не видел. Свидетелей нет. Очень трудное дело.

Я сразу понял — врет! Никакого следствия не будет. У него на морде лица было написано большими буквами: НИКАКОГО СЛЕДСТВИЯ. Я закричал:

— Почему здесь все топтались?! Следы затерли. Даже собака не найдет.

— Андрей, — мягко сказал прокурор, — собака в таких случаях ни к чему.

Его глаза будто закрыты сзади какой-то заслонкой. Как таджики говорят, на лицо ослиную шкуру натянул. Я огляделся. Следователя — его все в поселке знают — здесь не было.

— Где следователь?! Где фотограф?

— Андрей, — мягко сказал прокурор, — не учи меня, как надо работать.

— Почему не начинаете следствие?!

— Зачем так говоришь? Обязательно начнем. Проведем расследование, выясним... Обязательно, обязательно.

— Ничего вы не начнете! Вы... все так оставите.

— Андрей, я сейчас тебя прощаю. Ты нехорошие слова сказал, но понимаю, что чувствуешь. Мне тоже очень горько. Твой отец моим другом был. Очень хорошим другом...

Но у меня от бешенства сорвало крышу, и я плохо соображал, что говорю.

— Не хотите, да? Мне самому что ль расследование проводить?

Прокурор перебил меня по-русски:

— Не надо ничего расследовать! Ты умный парень. Не делай глупостей. Сам знаешь, время сейчас опасное. Очень опасное. Не надо такие слова говорить. Потом сам пожалеешь...

— Угрожаете?

— Ты кто такой, чтоб я тебе угрожал?!

Прокурор жабры раздул, и дерьмо из него так и поперло:

— Ты кто такой?! Учишь, как следствие вести. Научись сначала со старшими разговаривать! Что ты вообще знаешь? Тебе брюхо распори, в нем и буквы «алеф» не найдешь... Ты как твой отец! Тот хоть людей лечил, потому его и терпели. А тебя за что терпеть?!

Я окончательно взорвался:

— Отца вы терпели?! Если бы не мой отец... если бы отец вас не лечил, вы все бы здесь передохли! От обжорства. Я сам найду, кто его убил! Здесь ничего не добьюсь, в Душанбе поеду. Пусть пришлют бригаду. Я ваш гадюшник разворошу. Я все равно найду, кто...

Он глаза выкатил, смотрит на меня, будто сожрать хочет. Потом обуздal себя, отвернулся. Скомандовал, ни на кого не глядя:

— Забирайте.

Никто даже не шевельнулся.

Меня трясло, но я не хотел, чтобы к отцу прикасались чужие. Нагнулся и подсунил руки под плечи отца. Потом взглянул на Алика... Он поколебался, подошел и неохотно взялся за ноги. Вдвоем мы приподняли тело. Оно было очень тяжелым и прогибалось ниже пояса.

— Сафаров, помоги, — приказал прокурор.

Водитель прокурорской «Волги» подошел, ухватился за ремень отцовых брюк и потянул. Мы подняли тело повыше. Голова отца откинулась назад. Мы подтащили тело к носилкам. Я постарался опустить его так, чтобы голова не

стукнулась о брезент. Вдвоем с Аликом мы взялись за ручки носилок, отнесли их к «скорой помощи» и задвинули в фургон. Я сел рядом с носилками. «Скорая» тронулась. Я придерживал отца, чтобы его не мотало на ухабах. Только теперь заметил на смуглых и крепких отцовых руках ссадины и синяки. Его держали. Он был сильным. Один человек с ним бы не справился. Их было несколько. Я гнал от себя страшные картины того, как отца убивают. Я не мог их вытерпеть. Я гасил видения, но они вспыхивали вновь и вновь.

Очнулся я, когда щелкнул замок. Алик раскрыл дверцы.

— Брат, давай вынесем...

Я вытер сухие, без слез глаза и взялся за ручки носилок. Брезентовое ложе, лязгая нижними скобами, поехало по металлическим полозьям. К настезь распахнутой «скорой» подскочили парни в белых халатах. Санитары. Перехватили носилки, понесли.

Спрыгиваю на землю. Домик, беленый известкой, в глубине больничного двора. Морг. Люди у входа. Застыли неподвижно. Молча. Как тени. Отец на носилках уплывает в раскрытую дверь морга.

Я вхожу. Комната какая-то. Отец лежит на высоком узком столе, покрытом клеенкой. По ту сторону стола — врачи. Перешептываются тихо. Один — впереди. Главврач. Остальные за ним, чуть позади. Как на утреннем обходе.

Отцу в лицо не смотрю. Не могу. Черные туфли покрыты пылью. Лезу в карман, достаю платок. Хочу пыль смахнуть. Как это отец так умеет, чтоб на обуви — ни пылинки? Всегда. Или никогда? Всегда ни пылинки. Никогда ни пылинки...

Кто-то что-то говорит... Главврач. Негромко.

— Большое горе, товарищи... но наш коллектив... проводить достойно... товарищ Шарипов займется...

Врач в белом ему на ухо шепчет. Главврач кивает:

— Да, товарищи, мы родственникам в кишлак сообщили. Они очень просили вскрытие не делать. Это, конечно, старый предрассудок, пережиток прошлого, но из уважения... Потом неудобно получится, обижаться будут... Прокуратура тоже не возражает...

Чувствую чью-то руку на плече. Мама. Не услышал, как вошла. Она тяжело оперлась на меня. Замерла, глядя на отца. Я маму крепко обхватываю. Чтобы почувствовала, что я рядом. Что я с ней. Живой. Держу ее...

Мама глубоко вздохнула. Слегка повела плечами, высвобождаясь. Коснулась моей руки ласково: «Спасибо, я держусь». Еще раз вздохнула. Шагнула вперед, к столу. Постояла, глядя отцу в лицо. Поправила воротник рубашки, завернувшийся, измазанный пылью. Нежно провела пальцами по щеке отца. Подняла глаза на главврача.

— Я заберу его. Дайте мне, пожалуйста, машину.

Главврач изумился:

— Куда заберете?

— Домой.

Главврач на маму смотрит подозрительно. Недоумевает.

— Зачем домой? Похоронить надо.

Мама будто не слышит.

— И если можно, скажите плотнику дяде Васе, чтобы сколотил гроб. Я заплачу за работу.

Главврач допер наконец.

— Вера, вы нас обижаете... Мы сами похороним. Не беспокойтесь, сделаем

как надо. Я сейчас пошлю санитаров рыть могилу. До вечера времени еще много...

Мама говорит ровно, без выражения:

— Он должен провести ночь дома.

Главврач хмурится. Знаю, что он думает. «Моя больница. Мой персонал. Я здесь главный. Я начальник. Мне решать, как работать. Как хоронить. Откуда русской женщине знать, как положено погребать? Не по советскому закону. Не по русскому. По нашему закону. Может, и знает. Но не ей решать...»

Но вслух другое произносит:

— Вера-джон, национальные традиции тоже уважать надо...

Знаю, о чем он думает. «Что люди в поселке скажут, если я позволю не по закону похоронить? Скажут, Хакимов совсем никакого авторитета не имеет. А может, Хакимов не знает, как правильно? Может, его не учили? — скажут».

Тот врач, что прежде ему на ухо шептал, опять шепчет. Главврач молчит, думает. О чем — не знаю. Что шептун ему посоветовал? Что им известно такое, чего мы не знаем?! Главврач продолжает:

— Вера-джон... — Помолчал, потом на шептуна кивнул: — Акмол Ходжиевич правильно говорит. Вот вы... Вы столько лет с покойным Умаром вместе жили... Его сын тут стоит... Конечно, правильно будет, если вы сами его похороните...

Почему? Почему он так быстро, так легко уступил? И что шептун опять ему шепчет?..

Санитары перенесли отца назад, в «скорую», Алик завел двигатель, мама села рядом с ним, а я — в фургон возле отца, и мы повезли его к нам домой.

Дома мама велела мне разложить в большой комнате стол, за которым мы обычно обедаем, когда приходит отец. Алик помог внести отца в дом и уложить на стол. Потом он уехал. Мама велела мне нагреть воду в ведрах. Прилетела из школы Заринка, они с мамой обнялись и зарыдали.

Мама выгнала нас с Зариной из комнаты и сама обмыла тело. Я хотел помочь, но она резко меня оборвала. Я только подтаскивал к закрытой двери ведра с горячей водой и выплескивал на улицу таз, который она выставляла.

Примчался Равиль.

— Пошли выйдем.

Мы вышли на крыльцо. Он зашептал:

— Куда ты полез? Камикадзе. Летчик, блядь, герой Гастелло. Надо было, блядь, тихо-тихо промолчать. Затаиться как Ленин в мавзолее. Тихо-тихо все разузнать. Матушку с сестрой вывезти. Потом кого надо тихо-тихо замочить. И тихо смыться. Войнушка все прикроет. Так и батю твоего кончили.

— Кто?! Ты знаешь!

— Ни хрена я не знаю.

— Знаешь!

— За кого ты меня держишь? Кто я по-твоему?! Шорох идет. И ничего конкретного. Первый день что ли здесь живешь? Бздит народ. Никто вслух не скажет. Так, шуршат разное...

— Кто? Хакбердыев, торгаш, да?

— Слушай, на твоего пахана многие зуб точили...

— Но почему?! Почему? Что он им сделал?!

— Андрюха, уезжать надо. Все равно вам теперь в Ватане не жить. Рвите когти и побыстрее. В темпе.

— Хера им!

— Псих! Замочат же. Думаешь, только тебя? Всех троих порешат, и ни одна собака кругом не пикнет.

— Некуда, Равиль. Некуда. И денег ни копыя.

Он кулаком о перила:

— Вот засада! — Потер лицо ладонями. — Андрюха, я у Хакбердыева аванс попрошу. Ты не приходи. Вообще, сиди дома как мышка. Похороните и втихаря слиняете.

— Я матушке еще ничего не говорил. Она не знает.

— Тебя, дурака, не жалко. Матушку твою и сеструху жаль. Распустил, блядь, язык... Напугал старушку толстым хером. Да им по барабану — что в Душанбе жалуйся, что в Москву, что в Париж. Но они не прощают. У нас тут звери и за меньшее убивали.

Опять — *они*. Знает он, татарин ушлый, знает!

— Равиль, как брата прошу, кто?

— Хорошо геройствовать. О матери, о матери думай... Ну, ладно, Андрюха, держись. Прорвемся. Если что, кликни — я тут же... Сейчас бежать надо, извини. Завтра с утра я у тебя. Как штык. Отпросимся с Карлом у кровососа. Не отпустит — долбись он конем, сами уйдем.

Обнял меня, лбом ко лбу прислонился и убыл. Я не в обиде. Знаю, остался бы, если б мог.

Наконец мама выложила в коридор груды мокрых простыней и поставила пустые ведра. Когда она позвала нас, отец лежал на столе со сложенными на груди руками, одетый в териленовый костюм, который обычно висит у нас в шифоньере. Воротник рубашки был поднят, уголки зашпилены булавкой, чтобы скрыть рубец на шее. Стол накрыт нашей лучшей, праздничной, скатертью. Не представляю, как мама одна управилась.

Она сидела в головах, опустив голову на стол.

— Дети, вы, наверное, проголодались. Зарина, приготовь для вас что-нибудь, — сказала, не поднимая головы.

— Мам, мы не хотим, — Зарина подошла к маме и крепко обняла.

— Андрюша, поставь стулья для себя и Зарины, — сказала мама. — И принеси с кухни свечей.

Я поставил два стула. Зарина присела, не разжимая объятий. Потом дядя Вася привез громадный гроб, обитый черным сатином. Дядя Вася, Алик и я установили гроб на две табуретки, перенесли в него отца и водрузили на стол. Они уехали. Начало темнеть. Я закрыл входную дверь и задвинул засов. Хотел зажечь свет, но мама сказала: не надо. Лампочку она оставила только в коридоре, а большую комнату освещали четыре свечи на столе, по две с каждой стороны гроба. В темноте огоньки казались очень яркими. Мы сидели у стола. Вдруг погасла светлая полоса, которая падала в комнату из коридора.

— Так я и знала. Опять отключили электричество, — мама загасила две свечи. — До утра, наверное, не хватит...

Я подошел к наглухо закупоренному окну. Мама сказала, что нельзя, чтоб сквозняк, от сквозняка лицо темнеет. У соседей светились окна. Значит, не в поселке отключили, а у нас какая-то сволочь отрезала... И вдруг к стеклу, с той стороны, прилипли три расплывчатые рожи. Кто-то со двора к нам заглядывал. Лиц не различить. Я опустил шторы. Они погалдели и затихли. Ушли? Я тайком принес из кухни топор и незаметно пристроил возле ножки моего стула.

Свечи догорели. Я зажег две новые и *вдруг* услышал, что к нашему дому

подъезжает машина. Грузовик. Остановился. Хлопнули дверцы. Голоса. Потом в дверь громко постучали.

Началось!

Мама подняла голову, проговорила устало, рассеянно:

— Открой, Андрюша.

— Мама, подожди! Я должен тебе рассказать...

— Потом, потом... Иди и узнай, кто там.

— Мамоchка, не надо! Понимаешь, сегодня, когда... Ну, когда я туда приехал...

— Андрей, не время сейчас. Ты же слышишь...

Постучали опять. Она нетерпеливо встала.

— Я сама открою.

Мама взяла свечу и, прикрывая ладонью пламя, чтоб не погасло на ходу, двинулась на стук.

— Мама, не отпирай!

Я схватил топор, выскочил в коридор и заслонил ей дорогу.

— Это пришли... за нами...

— Почему за нами? К нам.

В дверь опять постучали. Громче и настойчивей.

Я крикнул:

— Нас убить!

— Андрюшенька, я понимаю... На тебя такое свалилось. На всех нас... Теперь тебе чудятся всякие страхи...

— Мама, выслушай же меня!

Стук. Еще! Пока только стучат. Потом дверь начнут ломать.

— Отойди, Андрей, — сказала она строго. — Там ждут.

Я выкрикнул:

— Кто ждет?! Да ты знаешь, кто?!

— Милиция... Телеграмма...

Она протянула руку, чтобы отодвинуть меня и пройти. Я уперся.

— Андрей! Господи, да что с ним творится?

Гневно и раздельно:

— Сей-час же про-пусти! Драться с тобой прикажешь?

Я понял: она не отступится. И слушать не станет.

— А ну-ка марш с дороги!

Ненавижу! Ненавижу это слово. А ну-ка марш спать... А ну-ка марш мыть руки... А ну-ка марш делать уроки... Всю жизнь только одно и слышу: марш, марш, марш... Я что, солдат? Я что, кукла, чтоб она меня дергала за веревочки? И все равно: дернет — я делаю. Как собачка Павлова. Да гори оно огнем! Марш, да?! Так точно! Слушаюсь! Служу Советскому Союзу! Назло врагам, на счастье маме... Я зло и четко развернулся на сто восемьдесят градусов.

— Андрюшка, не открывай! — крикнула Заринка.

По-любому ничего не изменишь. Прятаться бесполезно. Подождут дом. Вышибут дверь. Выбьют окна. Лучше сразу. Лицом к лицу. Заслону. Положу, сколько смогу, а там... Я шагнул к двери. В правой руке — наготове топор.левой откинул в сторону засов...

— Что ты делаешь! — закричала Зарина.

...и распахнул дверь. На пороге стоял отец.

Меня как током ударило. В голове загудело и затрещало, словно включился мощный трансформатор. Топорище выскользнуло из ладони, и топор глухо

стукнул об пол где-то далеко внизу, в подземном мире. Меня бросило к отцу — обнять (я не обнимал его уже много лет — с тех пор, как вырос), но страшная тяжесть удержала на месте. Я не мог шевельнуться. Просто стоял и смотрел. Я знал, что он вернется! Тело, что лежит на столе позади, за моей спиной, в темной комнате со свечами, — это не отец. Кто-то чужой, незнакомый. А сам он — здесь, на крыльце. Живой. Только так и должно быть. Я с самого начала был в этом уверен. Не ждал, что так скоро.

Фары грузовика, что стоял на улице перед нашим домом, светили отцу в спину. Одет он был в легкий чапан из бекасаба, который всегда надевал у себя дома. Блестящая ткань светилась узкой полоской по контуру фигуры, окружая ее сияющим ореолом. Лицо в тени. Но я угадывал черты, знакомые, родные... И лишь одно было чужим и страшным — усы. Откуда у него усы? Когда они успели вырасти? Где-то в стороне возникла мысль, как бы подуманная кем-то другим: у мертвых продолжают расти волосы... Но почему они выросли так быстро?

Я сказал:

— Папа...

Давным-давно уже не обращаюсь к нему так. Сейчас само вырвалось. Беззвучно. Отец шагнул вперед и обнял меня. Я закричал. Это был не отец. От отца всегда пахло ароматной туалетной водой и еле уловимым запахом лекарств. Тот, кто крепко обхватил меня, пахнул совсем по-другому. Дымом, молоком, сухим навозом, горными травами, бензином и пылью.

Я рванул назад и услышал, как мама произнесла нерешительно:

— Джоруб?..

Свеча сзади поднялась и осветила лицо обнимавшего меня человека. Он сказал:

— Вера, Вера-джон...

— Да, Джоруб, — ответила мама. — Да, его нет...

И я понял, кто это. Отцов младший брат. Я его давно уже не видел, тысячу лет он в Ватан не приезжал. На отца совсем не похож. Нет, похож, конечно. Очень сильно похож. Сразу понятно, что родные братья. Короче, не знаю...

Он отпустил меня, я посторонился, он вошел. Теперь я увидел, что на крыльце стоит какой-то старик. Сухой, невысокий, с белой бородкой, с кучей медалей на груди. Я догадался, что это дед. Я его и не помнил почти.

Дед и Джоруб, войдя в дом, остановились возле гроба и заплакали, обнявшись. Плакали легко и свободно, как дети. Всхлипывая и утирая слезы. Обнимаясь, поддерживая друг друга. Затем Джоруб широким движением схватил меня, притянул к себе. Я не хотел, чтобы он меня обнимал. Было как-то неприятно после того, как я его за отца принял. Но я вытерпел. Только ждал, когда он наконец уберет руки. Но вдруг внутри что-то отпустило. Я целый день не мог заплакать. В их тесном круге я зарыдал, легко и свободно. Так мы стояли и плакали.

Потом вошел высокий стройный парень, горный орел. Шофер, который их привез.

— Ако Джоруб, ехать пора. Путь долгий, днем жарко будет.

Дед, утирая слезы, сказал по-русски:

— Доченька, надо в дорогу его собрать.

— Я собрала, — сказала мама. — Обмыла, обрядила. И вот гроб...

— Спасибо, доченька, — сказал дед. — Но гроба не надо. Зачем гроб? Закутаем его.

— Шер, ты тоже помоги, — сказал Джоруб шоферу.

Мама молча раскрыла дверцу шифоньера и выложила на стул стопку чистого постельного белья. Взяла верхнюю накрахмаленную простыню, начала ее разворачивать.

— Как же так? — проговорила она вдруг. — Если без гроба, то на грязном полу?

Она сунула простыню Джорубу и решительно потянула со стены большой ковер, который отец притащил на новоселье, когда лет десять назад выбил для нас типовой совхозный домик на окраине. Ковер не поддавался. Мама рванула, сдернула грузное полотнище с гвоздей, оно обрушилось, тяжело складываясь наискось. Полетели с комода на пол вазочки, статуэтки.

— Постелите в кузове.

Шер, горный орел, подлетел, присел, помог маме скатать ковер, взвалил его на плечо и вышел. Потом он вернулся, мы накренили гроб, приподняли отца, переложили на простыню, расстеленную рядом, и укутали с головы до ног. Мама с Зариной потянулись было к длинному белому свертку, лежащему на столе.

— Женщинам нельзя, — застенчиво распорядился дед. — Только мужчинам разрешено.

Подняли вчетвером. Дед, хоть и старый, тоже помогал.

— Вы не так несете! — вскрикнула мама. — Надо ногами. Ногами вперед.

Я приостановился, но дед сказал:

— Человек, когда рождается, выходит из утробы головой вперед. И когда умирает, из дома должен выходить так же — вперед головой.

Мы пронесли отца через дверь навстречу ослепительно сияющим фарам. Мама с Зариной шли следом. Потом мы уложили отца на ковер, на пол кузова, и встали у откинутого заднего борта, глядя на белеющий в темноте кокон. Потом отошли, я помог Шеру поднять борт. Вот и все. Отец уезжает от меня. Навсегда.

— Ну что ж, Джоруб, поезжайте с богом, — сказала мама. — Может быть, даже и хорошо, что вы его забираете. Наверное, так лучше...

Он протянул ей руку:

— Эх, Вера...

Шер перебил его:

— Ако Джоруб, видите, те стоят? Вы в дом вошли, они к машине подошли. Один на подножку запрыгнул. «Что, братан? Откуда приехал?» Я сказал. Он говорит: «Ладно. К вам, кишлячным, претензий нет. Берите, уезжайте быстрее. Мы сами разберемся». Я ничего не знал тогда. Не знал, что покойного Умара убили, спросил: «В чем будете разбираться? Человек умер, значит, так Бог захотел». Он говорит: «С этими русскими разберемся». Ако Джоруб, что делать будем? Их много.

Джоруб оглянулся.

— Вера, зайдем в дом. — Водителю: — Шер, посиди. Если что, крикни...

Горный орел открыл дверцу, пошарил под сиденьем и вытащил кривую заводную ручку.

— Здесь постою. Посмотрю, чтобы сзади в кузов не забрались...

Мы все — наша семья и дед с Джорубом — вошли в дом. Пол в темной большой комнате пересекала световая полоса от фар, бьющих с улицы прямо в коридор. Холщовая завеса на дверце шифоньера сорвалась, повисла на кончике, и зеркало в полутьме мерцало призрачным светом как волшебная дверь.

Мама подняла опрокинутый стул, спросила устало:

— Ну что там еще?... Джоруб, что тебе сказал водитель? — таджикского-то она не знает.

Джоруб замялся — сам еще толком не понимал обстановку. Тогда я сказал:

— Мама, я объясню... — и выложил как было.

— Уезжать надо, — сказал Джоруб. — С нами. В кишлаке не достанут.

Я думал, мама откажется, но Джоруб с дедом ее уговорили. Она совсем растерялась. Вещи мы собрали быстро. Нищему одеться только подпоясаться.

— Много не берите, — сказал Джоруб. — Дома все есть.

Вышли на крыльцо, таща сумки. Мама и Зарина — в черном, в черных платочках.

— Запри, Андрюша, — сказала мама, протягивая мне ключи.

Я запер входную дверь пустого дома. Опустевшей утробы.

Мама с дедом сели в кабину. Зарина, я и Джоруб опустились на пол у передней стенки кузова, в головах белого кокона. Грузовик сдал назад, мазнул светом фар по кучке бесов, издали следивших за нашим бегством, и поплыл по темным улицам. Я покидал наш поселок без радости и без сожаления. Я вообще перестал что-либо чувствовать. Ни о чем не думал. Будто спал наяву. Мне чудилось, что и я, как покойник, вместе с отцом уплываю во тьму вперед головой, спиной вперед...

Не знаю, сколько прошло времени. Несколько раз нас останавливали, какие-то люди с оружием карабкались на борт, заглядывали в кузов, светили фонариками, о чем-то спрашивали... Я не вникал, не интересовался, кто... Боевики, погранцы — какая разница? Джоруб спрыгивал на землю, дед выходил из кабины, толковали с военными. Пусть разбираются сами... Потом встречный ветер похолодел, небо начало светлеть, обрисовались две гряды вершин по обе стороны дороги, и вскоре можно было уже различить реку — далеко внизу, слева, под обрывом.

Начала болеть голова. Подташнивало. Я знал, сказывается тутак, горная болезнь. Но мне было до лампочки.

— Замерз, Андрюшка? — спросила Зарина и обняла меня, чтобы согреть.

2. Зарина

В полусне мне чудилось, что папа пришел к нам домой. Он живой, веселый, но почему-то очень странно одет. В белую ночную рубашку. Длинную, до пят, накрахмаленную и отглаженную...

Сквозь дрему я услышала, как дядя Джоруб сказал:

— Талхак.

Он смотрел вперед, стоя во весь рост и держась за передний борт кузова. Я вскочила на ноги, примостилась с ним рядом и увидела, что уже светло, а мы въезжаем в широкое ущелье. После дороги, стиснутой скалами, оно показалось мне очень просторным. Горы раздвинулись. Солнце ярко освещало левый склон. Верх его был крутым, почти отвесным, а низ широкими ступенями спускался к реке на дне ущелья, и там, на пологом откосе, среди нежно-зеленых прозрачных деревьев и крохотных распаханых полей теснились домики с плоскими крышами... Правый склон ущелья оставался серым и холодным. У его подножия, на другой стороне реки, смутно виднелись дворы и домики. Утренняя тень делила кишлак вдоль по реке на две половины — светлую и темную.

Солнечная сторона выглядела как волшебное селение из сказки. Я с детства

воображала, как здесь побываю. Забиралась к папе на колени: «Папочка, а когда мы поедем в Талхак?»

Он смеялся, гладил меня по голове: «Станешь большая — повезу тебя в Талхак, всем покажу, какая у меня дочка».

Он по-русски чисто говорил, только с небольшим акцентом. Мне это ужасно нравилось и казалось очень милым. Никто на свете не умеет говорить как мой папа. Я все спрашивала его:

«Ну когда же поедем? Когда?»

А потом мама однажды строго приказала:

«Не приставай к отцу с глупыми просьбами».

«Ну почему?! Мне так туда хочется...»

«Он занят на работе. У него нет ни минутки свободной».

Мама всегда нам так говорила. Особенно, когда папа вдруг куда-то пропадал и долго не приходил. А потом однажды мы с Андрюшкой случайно узнали, что у папы в кишлаке есть другая семья. Значит, у нас есть сестрички и братишки! Папины дети. Другие дети. Я часто пыталась представить, какие они. Сможем ли мы с ними подружиться? Мне ужасно хотелось, чтобы папа про них рассказал. Но ни разу не попросила. Хоть и несмышлениш, а чувствовала: мама обидится, если папа будет о них рассказывать. Почему? Что в этом обидного? Когда была маленькой, не понимала. Теперь, кажется, понимаю. Я ведь тоже одно время ревновала папу к этим незнакомым мне детям. А потом начала их жалеть. К нам-то с Андрюшкой папа приходил часто, а они видели его раз в год. Как они, наверное, по нему скучали... Теперь я о нем тоскую. Так, что сердце разрывается... Я не заплакала. Это ледяной ветер бил в лицо и вышибал из глаз слезы.

А тут еще Шер, наш шофер, добавил — загудел во всю мочь. Хотел людей в кишлаке предупредить, что мы приехали, а вышло, словно грузовик завыл от горя. Так с ревом и воем мы промчались по мосту через речку и остановились на площади — вернее, площадке — перед небольшим зданием из грубого камня с куполом на плоской крыше. Видимо, это была мечеть.

Нас встретили несколько человек. Они, наверное, ждали, когда привезут нашего папу. Откинули задний борт кузова. Мы — дядя Джоруб, Андрюшка и я — спрыгнули на землю, а мама с дедушкой вышли из кабины. Здешние люди стали подходить к дедушке и дяде Джорубу, обнимать их. Многие плакали. Похоже, папу здесь любили. Они и Андрея затащили в свой круг и тоже его обнимали. Несколько мужчин залезли в кузов, подняли папу и передали стоявшим внизу, а те целой гурьбой — человек, наверное, десять — подняли на плечи и побежали по извилистой улочке, круто идущей вверх.

Мы с мамой подхватили сумки и поспешили за толпой. Потом я оглянулась и увидела, что дедушка сильно от нас отстал. Я остановилась и подождала его. Мы шли по узкому проходу между низкими заборами, сложенными из камня, и молчали. Что тут скажешь? Бедный, бедный папочка... Я по-прежнему не могла поверить в то, что он умер. Мне казалось, что я вижу какой-то нелепый сон, а потому горе неподвижно застыло где-то в глубине как черная вода в бездонном колодце.

Когда мы наконец подошли к папиному дому — бывшему его дому! — дверь в заборе была распахнута, а возле на улочке толпились люди. Они расступились, и мы с дедушкой вошли во двор. Там тоже стояли люди, молча. Никто из них, пока мы шли к дому, даже не кивнул дедушке. Будто не видели его. На похоронах нельзя здороваться...

Папа лежал на полу в низкой полутемной комнате, освещенной глиняными светильниками. Два огонька — справа, на крышке буфета. Два огонька — слева, на подоконнике маленького окошка. Мебели почти никакой. Буфет с парадной посудой да пара сундуков. На сундуках — высокие стопки красных ватных одеял. Ни стола, ни стульев. Пол застлан ковром. Посередине — папочка, завернутый в белое. Сидевшие вокруг тихо плакали. Я глазами нашла среди них Андриюшку. Рядом с дядей Джорубом. Мама сидела в полутьме с другими женщинами, справа у стены.

Дедушка вошел, но все продолжали сидеть. Это похоронный обычай — не вставать, когда входит кто-то, даже старший. Мужчины потеснились, чтобы дедушка мог сесть возле папы. Он тяжело опустился на войлочный палас и сразу же обнял Андриюшку. Похоже, Андрей ему папу напоминает. А я пробралась к маме. Она подняла на меня измученный взгляд и молча кивнула. Сидевшая рядом с мамой женщина в синем платье встала, я сразу догадалась, кто она. Папина другая жена! Я ее такой и представляла. Настоящая царица. Высокая, стройная. Светильник освещал лицо, которое показалось мне очень красивым. Прямой нос с горбинкой, большие глаза, брови дугой... Она обняла меня.

— Бедная девочка, сирота...

Потом мы сели. Я примостилась между мамой и этой ласковой царицей. Я уже знала, что ее зовут Бахшандой — дедушка по дороге сказал. Затем в дверь заглянул какой-то человек и негромко сказал:

— Выносите гостя. Обмывальщики пришли.

Дядя Джоруб поднялся на ноги, за ним остальные. Мужчины — и Андрей тоже — подняли нашего папу, закутанного в простыню, и унесли. Женщины зарыдали в голос. Я хотела встать и пойти за папой, но одна тетка, сидевшая сзади, прошептала, всхлипывая:

— Нельзя, доченька. Женщинам запрещено смотреть, как мужчину обмывают.

Мама взяла меня за руку. А та же задняя тетенька — тихонько:

— Доченька, скажи своей маме... Если хочет, то, может быть, платок снимет...

Я шепотом перевела мамочке.

— Зачем? — спросила мама и потуже затянула узел своей черной косынки.

Все женщины в комнате были покрыты платками. Все, кроме здешней папиной жены, у которой длинные черные волосы были распущены. Мама огляделась вокруг и, кажется, сама поняла. Она пожала плечами и сняла косынку. Тетушка, сидевшая позади, опять прошептала — теперь уже маме:

— Невестка, может, волосы захотите распустить?

Я перевела.

— Ах, меня, кажется, принимают в клуб законных вдов, — проговорила мама, но принялась вытаскивать заколки из тугого узла своих льняных волос, которыми я всегда люблюсь.

Казалось, она тоже не совсем понимала, что папа умер. Потом нас позвали. Я увидела, что перед домом лежит штуковина, на вид похожая на грубо сколоченную лестницу, приподнятую над землей на невысоких подставках. Это были погребальные носилки, на них укладывали папу, обряженного в белый саван. Его лицо было по-прежнему закрыто.

Тетя Бахшанда сошла с веранды и медленно двинулась к носилкам. Я не могла оторвать от нее взгляда. Мне сначала даже казалось, что она ничуть не горюет, а просто идет посмотреть на то, что лежит на носилках, как если бы...

ну, не знаю... ну, как если бы во двор притащили мешок муки. Неужели она совсем не любила нашего папу?

И вдруг она будто ожила и заголосила:

О, дом мой, дом мой! Дом мой, разрушенный дом...

Я уже видела недавно — у нас в Ватане: так причитала женщина, у которой умер муж. Тогда я даже представить не могла, что скоро, очень скоро кто-то завопит это древнее причитание над моим папой, а наш дом будет разрушен...

О, дом мой, дом мой, без крыши четыре стены.
Царь мой ушел, остался дутор без струны,
Кувшин без воды, душа без тела.
Дом мой, дом мой, дом опустелый.

Тетя Бахшанда била себя в грудь и царапала лицо:

Гости пришли, не встанешь, не скажешь: «Салом»,
Заждался тебя твой конь под седлом,
Твоя чаша средь лета покрылась льдом.
Дом мой, дом мой, разрушенный дом.

Она причитала так яростно и отчаянно, что у меня побежали по коже мурашки и опять навернулись на глаза слезы. Я сдерживала их изо всех сил. Потом человек в белой чалме — видимо, мулло — оглядел двор:

— Сын... Пусть сын тоже понесет.

Андрюшка, мрачный, вылез из угла, где сидел, опустив голову на колени, и подошел к носилкам. Вместе с другими мужчинами понес на плечах нашего папу. А женщины начали готовиться к поминкам. Но не в нашем дворе, а в соседском.

— В доме, где покойник лежал, нельзя еду готовить.

— Еда нечистой делается. Осквернится.

Меня обидело, что они так говорят. Словно папа, пусть даже мертвый, — какой-то заразный. Но я понимала... Это как если бы он заболел какой-нибудь опасной болезнью. И хоть мы его сильно любим, а все равно боялись бы инфекции. Понимала, но было обидно. Хотелось остаться одной, но меня никто никуда и не таскил. Мама ушла вместе со всеми, а я прошла через дом на задний двор, где тупо уставилась на овец в загоне. Они были живыми, и я опять заплакала. А потом побрела к соседям. Там в огромном закопченном котле сварили мясо с лапшой, и мы до ночи таскали в наш двор деревянные блюда с «похлебкой смерти», как здесь называют поминальную еду. Поминавшие сидели на разостланных на земле паласах и кошмах, накормили мы, наверное, весь кишлак.

Умаялись до смерти. Спать нас с мамой уложили в маленькой каморке в пристройке на заднем дворе. Кажется, это было что-то, вроде кладовой. Бросили на земляной пол палас, а на него — тонкие матрасики, курпачи, и одеяла. Мы упали на них, но долго не могли уснуть. Папина смерть давила меня как тяжеленная могильная плита. Теперь, когда не надо было ничего делать, ни с кем разговаривать, притворяться спокойной, я не могла пошевелиться, вздохнуть или просто подумать о чем-либо. Даже плакать не могла.

Утром, когда мама еще спала, я вышла во двор и увидела в дверях курятника тетю Бахшанду с рыжим петухом в руках. Я вспомнила, как вчера, при первой встрече она меня приласкала совсем как родная, разлетелась к ней и воскликнула:

— Доброе утро, тетушка!

Она холодно глянула, молча кивнула и прошла мимо. Я сначала оторопела, а потом выругала себя: человек от горя не отошел, а ты лезешь с приветствиями. Потом подумала: а у меня разве не горе?! Может, я обидела ее обращением? А как ее называть? Тетушка — так и к родным теткам, и к любым вообще старшим женщинам обращаются. А она мне кто? Если по-русски, то мачеха. Но ведь мачеха — это когда мамы нет. А на таджикский лад? Нет, так я тоже не хочу. Выходит, с какой стороны ни посмотри, Бахшанда — мне чужая. Придется вести себя посдержаннее...

Она остановилась, сунула мне петуха и приказала сухо:

— Идем.

Я поплелась за ней. На переднем дворе нас ждала небольшая компания — тетя Дильбар и две соседки, которые вчера особенно хлопотали на поминках. Одна — полная тетенька в коричневом платье — была похожа на большую кубышку из темной глины с круглыми боками. Я про себя сразу так и стала ее называть — тетушка Кубышка. Другая — низенькая, пышная, белая. На вид — точь-в-точь мягкая лепешечка из сдобного теста. Тетушка Лепешка.

Тетя Бахшанда приказала мне:

— Позови брата.

Андрей ночевал в пристройке для гостей, мехмонхоне, стоявшей здесь же, во дворе. Прижимая к себе петуха, я постучала в дверь. Братец выглянул мрачный, встрепанный...

— Эй, парень, иди сюда. Отрубишь петуху голову, — крикнула тетя Бахшанда.

Он буркнул:

— Сами рубите.

Тетя Бахшанда бровь заломила, но объяснила сквозь зубы:

— Женщинам убивать запрещено. Твой дядя ушел, в доме одни женщины. А ты... все же мужского полу.

— Убивать не стану!

И захлопнул дверь. Бедный Андрей! Никак не может с собой совладать. Ходит мрачнее тучи, на всех огрызается. Будто он один на всем свете страдает. Я свое горе заперла глубоко внутри и старалась держаться как обычно, чтоб не опозорить папочку. Чтоб здешние люди не подумали, что папа воспитал нас невежливыми и слабыми. Я поспешила на защиту Андрюшки:

— Брат очень переживает.

Соседки тактично потупились — показывали тете Бахшанде, что не заметили, как Андрюшка ей нагрубил. Тетушка Кубышка сказала:

— Дом надо очистить.

— Надо в нем кровь пролить, чтобы от скверны смерти избавиться, — добавила тетушка Лепешка.

— Если обряды не соблюсти, покойник вредить будет, — сообщила тетушка Кубышка.

Тетя Дильбар ничего не сказала и куда-то ушла. Тетя Бахшанда грозно молчала.

— Подождем, пока дядя Джоруб вернется, — предложила я.

— Давай-ка, девочка, свяжем петуху ноги, — сказала тетушка Кубышка. — Наверное, сестрица Дильбар сделает мужскую работу.

Пришлось мне держать бедную птицу, а пока мы возились с веревочкой, вернулась тетя Дильбар с большой оранжевой морковкой в руке. Рядом с центральным столбом веранды стоял чурбачок, на который положен был топор. Петушина плаха. Тетя Дильбар подошла к чурбачку и задрала до пояса подол своего красного платья. Мне бросилось в глаза, что верх длинных атласных шальвар с красивым цветным узором пошит из грубого серого карбоса. Тетя Дильбар сунула себе в промежность морковку, зажала ее между ногами и взяла топор.

— Подай петуха, доченька.

Я подошла к ней вплотную, прижимая к груди несчастного петела. Тетя Дильбар ухватила затрепыхавшегося петуха и...

Одним словом, отрубила ему голову.

Я теперь, наверное, всякий раз при виде морковки буду вспоминать, как хлопал крыльями, замирая, петух, подвешенный на центральном столбе за связанные ноги, и как дергался обрубок его шеи и брызгала оттуда черная кровь... Но больше всего меня поразило, что тетя Дильбар убивала петуха так деловито и равнодушно, словно дергала репу из грядки. Бесчувственная она что ли?

А у меня было смутно на душе. Прежде я уже видела, как убивают животных. Наши соседи в Ватане готовились с свадьбе, и мы, дети, смотрели, как режут барана. Было страшно, но я решила: раз взрослые делают такое, то, наверное... ну, видимо, так надо что ли... Тогда я о смерти вообще не задумывалась. Теперь только о ней и думаю. Когда папу убили, мне стала отвратительна любая смерть. Петух был такой глупый и беззащитный. Андрюшка хоть грубиян, но молодец, что отказался. А я? Смалодушничала. Пошла у тетусек на поводу. Я мысленно дала себе слово: больше никогда в жизни никому не поддаваться. А то, что папа может нам навредить, это глупость какая-то. Соседкам простительно — им папа чужой. Но тетя Бахшанда...

Я потом к ней подошла и прямо спросила, верит ли она в эту ерунду. Она неохотно, но все-таки ответила:

— Покойный, да не передаст ему земля мои слова, мало семьей интересовался. Не думаю, что его дух будет о нас помнить. Если и навредит, то разве что случайно.

Нет, она папу не любила! Да и с нами почему-то не слишком любезна. Вечером я нечаянно подслушала ее разговор с дядей Джорубом.

Мне не хотелось никого видеть. Даже маму или Андрея. Я забралась на плоскую глиняную крышу нашей пристройки, легла на спину и стала смотреть в небо. В Ватане никогда не бывает такого черного, глубокого неба и столько звезд. Крыша была очень холодной. Здесь, в горах, даже днем: на солнце — как в бане, в тени — как в холодильнике. «Крыша одна, погоды две. С этой стороны крыши — холод, с другой — зной». Это тетя Дильбар сказала. Пословица здешняя.

Я насмерть продрогла, но так было даже лучше — я пыталась представить, что умерла. Каково это быть мертвым? Потом стала думать о папе. Он сейчас тоже лежит, смотрит вверх невидящими глазами. Только над ним не звездное небо, а черный глухой слой земли. Наверное, земля это небо мертвых. Не могу понять, что такое смерть. Она никак не укладывалась у меня в голове. Я никак не могла с ней согласиться. Было очень горько и одиноко.

Внизу, на земле, слышались чьи-то шаги, шуршало сено. Видимо, кто-то бросал корм овцам в загончике. Потом я услышала, как тетя Бахшанда сказала:

— Ако Джоруб, зачем вы этих людей к нам привезли?

Дядя Джоруб вздохнул:

— Нам они родные. Там, в городе, их убить собирались. Кто, кроме нас, детей покойного Умара защитит?

А она:

— Э, ако... Может, вам эта его джалаб приглянулась?

Маму проституткой назвала! Я хотела соскочить с крыши и заорать: «Не смейте говорить такое о моей маме!» Но хватило ума сдержаться. Подумала: ну, сейчас дядя Джоруб ей выдаст. И вдруг услышала, как он мямлит:

— Не надо так говорить. Вера — хорошая женщина. Теперь, когда жизнь моего брата сломалась, у тебя и причины-то нет с ней враждовать...

А она:

— Дети! Дети — причина. Моим детям придется с ее детьми делить хлеб, которого и так не хватает. Эта джалаб будет мой хлеб есть.

— Не беда, — залопотал дядя Джоруб. — Они работать станут. Ты сама знаешь: много людей — много работников.

А она:

— Работники? Эти русские из города ничего не умеют. — Помолчала и спросила: — Задумали их с нами жить оставить?

— Куда они поедут? Сама, невестка, сообрази — война. Они по дороге даже десяти километров не проедут. Остановят, ограбят, убьют... Такое сделают, что и говорить страшно. Пусть с нами живут, пока в мире спокойно не станет. А там — как Бог захочет.

Она помолчала, потом сказала резко:

— Верхнее поле. Надо расчистить и распахать. Едоков стало больше, земли нужно больше. Прежде хватало, покойный деньги присылал. А теперь вам в совхозе ничего не платят. Покойный ушел, так что нужно искать, откуда хлеб брать. Я давно о том думала, но рук не хватало. Пусть работают. Только вы, ако, сами ей скажите. Я с ней разговаривать не желаю.

Дядя Джоруб:

— Эх, невестка, не для женщины и подростков эта работа. Для сильных мужиков.

— В этом доме нет ни одного мужика, — отрезала Бахшанда, и я услышала легкие решительные шаги. Она ушла.

Ляпнула бы она такое моему папе. Уж он бы ей рога обломал. Нет, не зря у дяди Джоруба такое глупое и смешное имя. По-таджикски оно означает просто «веник». Видимо, у дедушки умирали несколько младенцев подряд, вот и дали новорожденному такое имя, чтобы обмануть болезнь. Называют веником, значит, он не ребенок, а просто пучок веток, метелка. К веникам болезнь не цепляется. К ним цепляются злые невестки. Подметают ими как хотят.

Назавтра дядя Джоруб — он же дядя Веник или, еще лучше, Метелка — повел нас на поле. Мы поднялись по тропе в гору и вышли к скале, под которой я увидела площадку, размером с баскетбольную. Ну, может быть, чуть побольше.

— Вот земля, — сказал дядя Метелка. — Верхнее поле.

И это поле?! Если здесь что и росло, то только камни. Обломки скалы. Маленькие, побольше и очень большие. Так называемое поле было настолько завалено камнями, что трава пробивалась лишь кое-где.

Дядюшка Метелка произнес: «Йо, бисмилло», нагнулся, поднял большой

угловатый камень и оттащил на самый край баскетбольной площадки. Оказывается, он очень сильный, наш дядюшка. Его даже уважать можно. Ухватил другую глыбу, подволок, положил рядом с первой. Андрюшка скинул рубашку и тоже принялся за дело. Подключились и мы с мамой...

Теперь понятно, почему здешние поля со всех сторон окружены заборами. Не очень высокими — едва в половину человеческого роста. Наш-то наверняка получится повыше.

Потом дядя Джоруб ушел. Мы перекусили лепешками с водой, а затем продолжили работать. Кучка камней росла. Забор начнем выкладывать позже. И я представила, каким он будет. Вот я уже забираюсь Андрею на плечи, чтобы дотянуться и положить камень в верхний ряд. А забор растет и растет. Вот он вырос до самого неба. Мы приставляем к нему хлипкие самодельные лестницы и карабкаемся по ним, а камни на поле никак не убывают...

Через несколько дней я поняла, что время измеряется не сутками, часами и минутами, а кучками камней. Прошла одна куча. Другая. Третья... Славно было, приходя к скале, окидывать взглядом наш каменный календарь. Вот только если б Бахшанда не лютовала. Она маму невзлюбила, придирается ко всякой мелочи. Не туда воду после стирки вылила. Не так села. Не так встала. Перечислять противно. Недавно — не помню, в какую именно кучу, — опять завела:

— Вера, ты хоть какое-нибудь дело хорошо сделать умеешь? Опять все испортила. Сказали верблюду: «Подмигни», а он огород разорил.

Я вступилась:

— Тетушка, не говорите так с моей мамой.

Она и ухом не повела:

— Ты, Вера, даже дочь не сумела научить, как со старшими разговаривать.

Я сказала:

— Если чем-то недовольны, меня ругайте. Маму не троньте.

Она уперла руки в бока.

— Эге, корова легла, теленок встал.

Я крикнула:

— И она вам не корова!

Она рукой махнула:

— Ты как твоя мать. Неумелая, невоспитанная.

Дядя Джоруб попытался ее урезонить:

— Женщина, оставь девочку в покое. Хоть с детьми не воюй.

Она как с цепи сорвалась:

— Дети?! Что ты про детей знаешь? Если чего не узнал, у своей бесплодной жены спроси. Ты, коровий врач, тысячи коров осеменил... Почему жену осеменить не можешь?

Я думала, дядя Джоруб ее убьет. Побледнел, кулаки сжал, но сдержался, повернулся и ушел. Она крикнула вслед:

— Или эту белую русскую корову оплодотвори. Пусть еще одного невоспитанного ублюдка родит.

Как хорошо, что мама не понимает по-таджикски.

3. Джоруб

Слышал я — старики рассказывают, — что в древности овцы могли говорить как люди. Пас их святой пророк Ибрагим, а пастбища в те времена были райские — ведь и экология была совсем другой, не такой, как сейчас... Говорят, овцы спустились к людям с небес, а потому они — животные из рая. Может быть, так, но им даже райская экология не нравилась. Хором кричали: «Трава невкусная. Вода соленая». И святой пророк вел отару в другую долину, но овцы и там ворчали: «Плохо, все плохо. Найди для нас пастбище получше». В конце концов святой Ибрагим устал слушать бесконечные жалобы и в гневе лишил их дара речи.

Честное слово, иногда сожалею, что язык не отобрали также у женщин. Уши болят от их свар. Когда я решил увезти Веру с детьми к нам в Талхак, то помыслить не мог, что жены покойного брата начнут меж собой войну. Что им теперь делить? Но как сказал наш великий поэт Валиддин Хирс-зод, соловей Талхака:

Если ревности пламя охватит покорную пери,
Берегитесь той девы и люди, и дикие звери.

Бахшанда никогда не была покорной, а ревнивой — всегда. Прежде воевала с Дильбар за женское главенство в доме. Теперь появилась Вера, началась новая война. Так и проходят наши дни.

А сегодня утром Ибод, мой племянник, закричал во дворе:

— Дядя Джоруб! Эй, дядя Джоруб!

Я вышел к нему. Ибод стоял в воротах, опершись на длинный посох из дерева иргай, закаленный огнем и отполированный временем. Красавец парень, в младшую мою сестричку. Лицо смуглое, гладкое, солнцем и ветром как пастушья палка вылощенное.

— Мы овец пригнали.

С холодами мы отгоняем овец на зимовку в Дангару, за сотни километров от наших мест, а весной возвращаем обратно. Перегон — дело трудное и для пастухов, и для овец.

Я крикнул:

— Эй, женщина, принеси сумку.

Наедине зову жену по имени, но приличия должно соблюдать даже при племяннике. Дильбар вынесла кофр с медикаментами. Ибод сумку перехватил:

— Дайте, дядя, я понесу.

Повесил кофр на шею, мы вышли из кишлака и двинулись вверх по тропе, ведущей к Сарбораи-пушти-санг, летнему пастбищу.

Когда-то наши предки договорились с соседями пользоваться пастбищем сообща и попеременно. Один год паслись стада Талхака, а на следующий — скот Дехаи-Боло. Но потом во времена эмира Музаффара некий богач из верхнего селения силой завладел общей землей и объявил ее своей собственностью и даже, говорят, ездил в Бухару, чтобы выправить на нее бумаги. Звали его Подшокулом, но прозывали Торбой. Рассказывают, что он, чтобы потешить эмира, целый чайник лошадиной мочи вылакал, и эмир Музаффар так развеселился, что Торбе пастбище отдал. Односельчане Торбы говорят: он пить отказался, эмир за мужество ему не только пастбище пожаловал, но и чином наградил. Другие говорят: вазиром, министром назначил. Мы поэтому их, людей из верхнего

кишлака Дехаи-Боло, «вазирами», царскими министрами, зовем, а кишлаку имя Вазирон присвоили.

Было не было, однако Торба пастбищем завладел и стал брать плату с тех, кто пас там скот. Только после революции справедливость была восстановлена, отдали пастбище нашему кишлаку в полную собственность. На краю его лежит огромный дед-камень, обломок скалы, обросший чешуйками мха, живого и мертвого. Из-под мохового покрова проступают загадочные знаки, которые выбили наши древние предки. Ныне никто уже не знает, о чем те знаки говорят. Священный этот камень исцеляет от многих болезней, а потому невдалеке от него — там, где тропа вступает на пастбище, — высится харсанг, большая куча камней, которую сложили в знак благодарности те, кто приходили лечиться...

К середине дня мы с Ибодом поднялись к дед-каменю. Слева от него стоит домик, сложенный из скальных обломков. Рядом на траве был расстелен дастархон, лежали переметные сумы, не разобранные после дороги. На каменном очаге установлен большой котел, и Гул, пастух, шуровал в вареве шумовкой. Овцы паслись невдалеке на пологом склоне. Завидев меня, Гул поспешил навстречу.

— Хорошо, что пришли, муаллим. Неладные дела. Кто-то гонит сюда отару. Джав поехал посмотреть, кто такие. Муаллим, что делать будем?

— Пойдем навстречу.

Мы спешно направились к верхнему, восточному краю. Потом я увидел, что из-за среза возвышения, ограничивающего пастбище, вылетел всадник. Это был Джав, один из наших чабанов. Подскакав, крикнул, не сходя с лошади:

— Вазиронцы идут!

И тут из-за гребня выскочили три собаки. Наши псы молча ринулись к ним. Впереди летел Джангал, огромный алабай-волкодав без ушей и хвоста, за ним — молодой кобель. Наши псы встретились с чужаками, обнюхали взаимно друг друга и разошлись шагов на десять. Каждая стая отступила в сторону своей отары. Будь силы равны, начали бы драться. Но чужаки без драки признали превосходство наших собак. Джангал поднял ногу и помочился. Показал: вот граница моей территории, и сел охранять рубеж. Чужой вожак обозначил свою границу, за ней уселся его отряд.

Мы поровнялись с Джангалом, несущим стражу, и в это время на гребне показалась фигура человека, а вслед за ней — овцы. Отара сползала вниз по склону, как стекает густая патока, если накренить деревянное блюдо.

Человек, шагавший впереди овечьего гурта, был мне знаком. Это Ёр, пятидесятилетний мужик, силач, богач, прямой праправнук Подшокула, того самого Торбы. Удивительно, что столь богатый и уважаемый человек шел со стадом как простой пастух.

— Здравствуй, Ёр, — крикнул я.

— Ва-алейкум, — мрачно ответил Ёр и продолжал шагать, пока не остановился прямо передо мной.

— Уйди с дороги.

— Не спеши, Ёр, — сказал я. — Давай поговорим.

— Говорить не о чем. Гони с нашей земли своих баранов. Тех и этих, — он кивнул на нашу отару, а потом на чабанов, стоящих рядом со мной.

— Мы не бараны! — крикнул мой племянник Ибод. — Это вы — навозники, конскую мочу пьете.

— Уйми щенка, — угрожающе произнес Ёр.

Тем временем стекающая по откосу отара захлестнула нас, и мы оказались

как бы на островке среди блеющего потока. Подоспели вазиронские чабаны и встали рядом с Ёром. Он вел с собой целое войско. Человек десять, не меньше. Был меж ними, как на беду, несчастный Малах, немой от рождения. Говорить он не умел, только мычал. Овцы и собаки хорошо его понимали.

— Это наша земля, не ваша, — сказал я.

— Испокон веков была нашей, — сказал Ёр.

Немой неистово загугукал, размахивая пастушьим посохом.

— Эта земля испокон веков наша, — повторил Ёр. — Но когда ваш Саид-камбагал стал ревкомом в Калаи-хумбе, он отнял у нас пастбище и отдал вам, талхакцам. Но нынче, хвала Аллаху, настало наконец-то время справедливости...

Я понял, к чему он клонит. Некоторое время назад Зухуршо взял в жены девушку из верхнего селения. Сила теперь на их стороне. Но я не сдавался. Обернулся и указал на нижний край пастбища:

— Ёр, посмотри, где лежит камень. Сам Бог его положил, чтобы люди знали: отсюда начинается пастбище Талхака.

— Голову не морочь, — ответил Ёр. — Всевышний положил камень, чтобы закрыть вам дорогу на эту землю.

Я сменил тактику:

— Нет, Ёр, наши и ваши деды понимали этот Божий знак по-иному: в справедливости будьте тверды как камень. Давай вернемся к дедовским заветам, поделим пастбище. На этот раз мы пришли раньше вас. Право первенства за нами. Если не согласен, соберем стариков из обоих кишлаков, пусть рассудят очередность. А не то разделим пастбище на две половины — и нам, и вам. На целое лето не хватит, но позже что-нибудь придумаем.

Я не хотел столкновения. Человеческая неразумность виной тому, что началась стычка.

— Ёр, что с ними говорить! — загалдели вазиронцы. — Дурака словом не проймешь, камня гвоздем не пробьешь.

— Пробьем! Мы всегда их били.

Это неправда. В прошлых войнах из-за пастбища иногда мы вазиронцев побивали, иногда они нас.

— Вы, талхакцы, охочи до чужого! — кричали вазиронцы.

— И жены ваши за чужим кером охотятся...

Немой Малах тоже не молчал. Мычал и замахивался палкой. Один Бог знает, что он хотел высказать. Может быть: «Братья, разойдемся с миром».

Напротив немого стоял Ибод, мой племянник. Бедный парень — опять новая несправедливость, новое унижение: отняли овец, теперь отнимают пастбище. Немой вновь замахнулся, Ибод не выдержал, кулаком ударил его в лицо.

— Зачем бьешь?! — закричали вазиронцы.

Но сражение еще не началось. Немой от удара отшатнулся, утерся левой рукой, увидел на ней кровь, замычал, перехватил палку покрепче, размахнулся и шарахнул Ибода по голове. Пастушьи посохи из кизила закаляют в огне, мажут маслом и долго держат на солнце, отчего они становятся твердыми как железо. Ибод упал.

— Эй, чего творишь?! — закричали наши.

И все же я убеждал себя, что надо во что бы то ни стало избежать драки, и крикнул еру:

— Останови своих, а я уйму наших.

Он презрительно хмыкнул и с силой толкнул меня в грудь. И сразу же

сзади выпрыгнул Джангал и вцепился ему в руку. Ёр попятился, запнулся, упал. Джангал молча встал над ним, не разжимая клыков.

— Э-э, пес! — заорал я.

Джангал отпустил Ёра. В тот же миг на нашего пса бросился чужой вожак. Волкодавы сцепились в схватке. Овцы шарахнулись в стороны, освободив круг для боя.

Только тот, кто не знаком с животным миром, считает, что овцы — тупые создания, равнодушные ко всему, кроме корма. На самом деле, они очень любопытны и предаются зрелищам с тем же бескорыстным интересом, что и люди. Столпившись вокруг, они наблюдали, как бьются собаки и люди.

Вазиронцев было много, нас мало. Они одолели, мы отступили. Мы отбежали шагов на десять и приостановились. Вазиронцы погнались было вслед, но тоже встали. Овцы продолжали глазеть, как, визжа и рыча, дерутся собаки. Я оглядел наших ребят и спросил, тяжело дыша:

— Где Ибод?

Потом собачий клубок откатился в сторону, я увидел Ибода. Вернее, его спину, видневшуюся из травы. Я пошел к парню. Поднял обе руки вверх и закричал:

— Сулх! Сулх! Мир!

Вазиронцы смотрели на меня с ненавистью. ер сидел на земле, держась за укушенную руку.

— Куда идешь? — сказал он. — Убирайтесь с нашей земли.

— Там Ибод, мой племянник, лежит.

— Поднимется.

Но пропустили, я подошел к Ибоду. Бедный юноша лежал ничком, уткнувшись лицом в куст югана. Я перевернул племянника на спину и увидел, что он мертв. Меня охватил гнев, я сел, сжал голову руками. И только когда наконец почувствовал, что могу владеть собой, встал и пошел к вазиронцам. Ёр по-прежнему сидел, завернув до плеча рукав чапана. Один из пастухов, присев на корточки, накладывал на рану размятые листья подорожника. Немой Малах держал наготове полосу ткани, оторванную от подола рубахи.

Я сказал:

— Ёр, вы человека убили. Сына моей сестры.

— Он первым ударил, — ответил Ёр. На меня он не смотрел — опустил глаза, следил, как немой неловко накладывает повязку.

Я был не в силах тут же, на месте, отомстить вазиронам за смерть Ибода, но был обязан позаботиться об отаре.

— Дай-ка мне, — я присел, размотал тряпку на руке Ёра и начал бинтовать заново. Справедливости нет в этом мире. Приходится лечить врага, чтобы его задобрить. Говорят: врага убивай сахаром. — ер, разреши оставить овец, отвезти покойного домой. Ты мусульманин, позволь достойно похоронить человека...

Ёр опустил рукав на повязку.

— Заприте отару в загоне. А после похорон — долой с нашего пастбища.

Мы отнесли тело Ибода к камню, завернули в кошму, перекинули через седло и повезли в Талхак.

К полуночи мы с Джавом, который вел лошадь под уздцы, вышли на крутой спуск, ведущий к кишлаку. Сердце всегда радуется, когда ночью спускаешься с гор и видишь: внизу, в теплой домашней темноте рассыпались огоньки. Оттуда поднимаются сладкие запахи дыма, коровьего кизяка, соломы.

Кишлак дремлет в ущелье как дитя в утробе. Но сейчас меня не утешил даже вид родного селения. Как сказал наш великий поэт Валиддин Хирс-зод:

Отраднее влачить сундук с песком в пустыне,
Чем матери нести весть скорбную о сыне.

По темным улицам мы добрались до дома, где живет моя сестра Бозигуль, и остановились у калитки в заборе.

— Дядя Сангин! Эй, дядя Сангин! — закричал Джав.

Мой зять Сангин вышел в портках и длинной рубахе, неподпоясанный, с керосиновой лампой в руке. Увидел меня, хитро ухмыльнулся:

— Эь! Я думал, бык забрел, мычит... Оказалось — шурин. Наверное, по той русской белой женщине соскучился. Ночью, чтоб никто не видел, пришел.

Я молчал.

— Не угадал? — продолжал Сангин. — Тогда, наверное, пару совхозных баранов тайком зарезал. Одного мне привез.

Он шагнул к лошади и протянул лампу, чтобы разглядеть сверток, перекинутый через седло. Я крепко обнял его и сказал:

— Сангин, брат... это Ибод.

Он окаменел под моими руками. Слабо прошептал:

— Плохая шутка, брат. Нельзя так шутить.

Я обнял его еще крепче. Он простонал:

— Богом клянусь, этого не может быть!

Я сказал:

— Брат, Аллах лучше знает.

Он выронил лампу, стекло разбилось, огонь погас. Сангин обхватил меня, прижался лбом к моему плечу и заплакал. Так мы стояли. Что я мог ему сказать? Чем утешить? Сангин поднял голову:

— Как он умер?

— Вазирь его убили. На пастбище.

Я ощущал, как напряглись его мышцы. Он грубо и злобно сжимал меня, как борец противника, но я понимал, что борется он со своей яростью. Потом Сангин оттолкнул меня, подошел к калитке, распахнул и сказал буднично:

— Заводите.

Джав потянул за узду, завел лошадь во двор. Мы начали развязывать шерстяную веревку, которая притягивала тело Ибода к седлу. Сангин, скрестив руки на груди, смотрел, как мы работаем.

— Кладите здесь, — и он указал место посреди двора.

В этот миг я услышал вопль, который ожег сердце как огнем. Кричала моя сестра Бозигуль. Она вышла из дома, увидела Ибода, лежащего на попоне. Бросилась к сыну, приникла к телу и вопила без слов как раненый зверь. Все женщины, бывшие в доме, — старая мать Сангина, сестра, жена его брата, две дочери, — выскочив во двор, завывли:

— Ой, во-о-о-о-й! Вайдод!

На крик во двор Сангина, как бывает всегда, когда в чей-то дом приходит смерть, начали собираться ближние соседи, рыдая и спрашивая:

— Как умер бедный Ибод?

И Джав объяснял:

— Вазиронцы его убили. Пастбище Сарбораи-пушти-санг отобрали...

Так весть о том, что случилось, пронеслась по всем гузарам. Вскоре явились

уважаемые люди: мулло Раззак, раис, Гиёз-парторг, сельсовет Бахрулло, престарелый Додихудо... Мужики сбежались — Шер, Дахмарда, Ёдгор, Табар, Зирак, хромой Забардаст и другие — столпились у забора в мрачном молчании. Многие не поместились и с темной улицы заглядывали в освещенный керосиновыми лампами двор. Сангин время от времени оглядывал пришедших, будто чего-то ждал. Мулло Раззак подошел к моей сестре, сказал мягко:

— Закон не велит слишком сильно горевать по ушедшим. Это грех. Нельзя Божьей воле противиться.

Женщины подросли, отняли мою сестру Бозикуль от Ибода, отвели в сторону. Бозикуль ударила себя по лицу, разодрала ногтями щеки, разорвала ворот платя. Тогда мой шури Сангин вышел вперед и, став над телом, закричал:

— Люди, посмотрите на моего сына! На мертвого посмотрите. Вы знаете, кто его убийцы. Позволим ли, чтобы вазиронцы убивали наших детей? Мужчины мы или трусы?!

Мужики, столпившиеся вне двора на темной улице, вспыхнули как солома от искры:

— Месть! Месть!

— В тот раз Зирака покалечили, теперь Ибода жизни лишили!

— Прогоним их с нашего пастбища.

— Война!

Правду скажу, и меня захлестнула жажда мести. Бедный Ибод, любимый сын младшей моей сестры Бозикуль! Я любил покойного мальчика и не мог смириться с его гибелью. Гнев и боль жгли сердце...

В это время престарелый Додихудо поднял вверх посох, показывая, что хочет говорить. Крики постепенно смолкли.

— Мы не знаем, как умер покойный Ибод, — сказал Додихудо. — Намеренно его убили или случайно? Не знаем, кто лишил его жизни. Пусть Джоруб нам расскажет.

Медленно, с усилием заставляя себя произнести каждый звук, я сказал:

— Глухонемой Малах его ударил... Так вышло по Божьей воле, что удар... оказался слишком сильным... Это была случайность. Немой не хотел убивать...

Мой шури Сангин яростно зарычал, будто сделался немой, не способным выразить чувства. Я понял, что он никогда не простит мне слова, умаляющие вину убийцы. Но я не мог солгать.

— Вы слышали, что сказал Джоруб, — возвысил голос престарелый Додихудо. — Вазиронцы не виновны в смерти покойного Ибода.

Простодушный Зирак, стоявший рядом, спросил удивленно:

— Почему так говоришь? Разве Малах не в Вазироне живет? Разве их община не должна за него ответ держать?

Престарелый Додихудо пояснил:

— Да, глухонемой родился в Вазироне, но он неполноценный. Никто не знает толком, девона ли Малах, безумен он или смышлен. Лишенный слуха и голоса, он стоит ближе к животным, которых Аллах не наградил даром речи, чем к людям. А потому вазиронцы за него не в ответе, как если бы покойного Ибода загрыз пес.

Народ призадумался, вслух обсуждая слова Додихудо, а вперед выступил мулло Раззак:

— Мы не можем знать, кто направил руку Малаха. Если Аллах, то обязаны смириться с его волей.

— А если Иблис, шайтон?! — крикнули из толпы.

— Тем более, — сказал мулло, — тем более нельзя поддаваться страстям. Шайтон всегда стремится подтолкнуть людей к безумию и ненависти. А потому успокойтесь и расходитесь по своим домам. Пусть несчастный Сангин и его семья приготовят покойного к погребению...

— Пастбище! Как с пастбищем быть?! — закричали в народе.

— Терпение, — сказал престарелый Додихудо. — Не зря говорится, «потерпи один раз, не будешь тысячу раз сожалеть». И еще говорят: «Горопливая кошка родила слепого котенка». Не будем спешить. Завтра попробуем договориться с вазиронцами. Как-нибудь решим этот вопрос...

Наверное, он был прав. Мне пришлось нехотя это признать.

Еще немного, и холодная рассудительность погасила бы пламя общей ярости. Но в это время из темной толпы за забором в освещенный двор выкарабкался Шокир по прозвищу Горох, черный, скособоченный на одну сторону как корявый куст, выросший на боку отвесной скалы. Он проковылял к телу Ибода и неистово прокричал:

— Что толку болтать зря?! Словами за кровь не отплатишь. Словами пастбище не вернешь. Не станем утра дожидаться, сейчас выступим! Кто мужчина — с нами идите. У кого что дома есть, возьмите, к мечети приходите. Там соберемся, оттуда пойдем. Фонари захватите. Биться будем. Война!

Так он вновь раздул искру гнева, которая тлела в народе. Никто в этот раз не стал над ним насмехаться. Никто не подумал, что к битве призывает хромоногий, который сам биться не в силах. Не задумались о том, куда он зовет — на пастбище или в верхнее селение, а также о том, что идти куда-либо ночью не только неразумно, но и бессмысленно. Когда вспыхивает огонь, горит и сухое, и сырое. Мужики закричали:

— Офарин! Правильно сказал!

— Баракалло!

— С Божьей помощью воевать будем.

Некоторые уже повернулись, чтоб бежать за оружием и фонарями, когда вперед вновь вышел престарелый Додихудо. Народ вновь остановился, крики смолкли.

— Крови хотите? — негромко спросил престарелый Додихудо в наступившей тишине. — Будет кровь, много крови... В другое время мы, наверное, смогли бы вазиронцев одолеть, за кровь Ибода отомстить. Но сейчас в нижнем селении, в Ходжигоне, боевики Зухуршо стоят, а сам Зухуршо на дочке Ёра из верхнего селения женат. Как думаете, позволит он, чтоб мы его тестя обидели? Нам не отомстит ли? Кровью Талхак не зальет ли?

И столь же негромко ответил ему Шер, совхозный водитель, который стоял в головах покойного, скрестив руки на груди:

— Не о мести речь. О чести.

Престарелый Додихудо возразил:

— Речь о том, чтоб людей зря не погубить. Уступить обстоятельствам — не бесчестье.

— Да, такова мудрость стариков, — сказал Шер. — Мы же...

Додихудо не дал ему договорить:

— Кто дал тебе разрешение осуждать эту мудрость?! Ее наши предки нам передали. Отцы и деды только благодаря ей выжить сумели...

— Мы так жить не хотим, — сказал Шер. — Отцы и деды скудно жили, во

всем уступая, всем подчиняясь. Это мудрость слабых. Другое время пришло. Время сильных.

С улицы, из темноты, его поддержали молодые голоса:

— Шер правильно говорит!

— Не хотим!

— Нельзя чести лишаться, — сказал Шер. — Несправедливость нельзя прощать. Если мы сейчас вазиронцам наше пастбище без боя отдадим, то покажем, что мы слабы. Слабых любой может ограбить. Сначала пастбище отберут, потом...

— Все, что захотят, отнимут! — выкрикнул за воротами какой-то юнец.

— За женами, невестами придут! — крикнул другой.

И во двор постепенно, один за другим, просочились молодые неженатые парни — Табар, Ёрак, Сухроб, Дахмарда, Паймон, Динак — и встали позади Шера.

— Завтра, когда рассветет, соберем молодежь, возьмем оружие, какое есть, и пойдем на пастбище, — сказал Шер. — Прогоним вазиронцев, поставим караул.

— Зухуршо... — начал престарелый Додихудо.

Шер, не дав ему договорить, воскликнул запальчиво:

— Трусость! Мы...

Но и он не сумел закончить.

— Шенок! — гневно крикнул раис. — Невежа, падарналат, хайвон! Почему старшего перебил?! Кто тебя учил?! Себя и своего отца опозорил.

Шер повинился, хотя и с достоинством:

— Извините, муаллим. Пожалуйста, извините. Я невежливым быть не хотел, непочтительность невольно проявил, вашу речь прервал... Собирался только сказать, что Зухуршо в наше ущелье мы не пустим. В узких проходах завалы, засады устроим, он не пройдет.

Додихудо покачал головой:

— Даже если враг с муху, считай, что он больше слона.

Шер не ответил, лишь сказал:

— Завтра, — и двинулся со двора.

Молодежь потянулась за ним, но престарелый Додихудо встал у выхода и раскинул руки, преграждая путь:

— Мы, старики, запрещаем! Не даем разрешения начать войну.

В недавние времена ни одна душа не осмелилась бы молвить хоть слово поперек. Сейчас толпа на улице взорвалась криками:

— Война!

— Сдурели? Против стариков идете!

— Война всех погубит!

— Сколько терпеть можно?! Война!

— Прав Додихудо!

И послышалась уже в общем гомоне возня, предвещающая начало драки. Тогда мулло Раззак, отошедший прежде в сторону, вышел на свет и поднял руку.

— Мулло! Мулло дайте сказать! — крикнул кто-то.

Не сразу, но народ затих. Мулло сказал:

— Коли нет меж вами согласия и даже стариков не слушаете, то спросим у ишана Мошарифа. Как они решат, так и поступим.

Все загомонили, соглашаясь.

— Уважаемых людей пошлем, — сказал мулло.

— К ишану! — завопил Горох, вырвал из рук Джава фонарь и вознес над головой. — Если для народа, я на все готов. Почтенным людям путь освещать буду.

И усмехнулся хитро — ловко, мол, примазался к делегации.

В народе заворчали:

— Не дело это — Шокира к святому ишану допускать.

Однако из уважения к мертвому Ибоду не стали затевать свару над его телом.

Отправились мы в путь — раис, престарелый Додихудо, Гиёз-парторг, Шер и я. Шокир ковылял впереди, как легендарный герой с факелом, ведущий за собой народ. И я, выплыв на миг из глубины своего горя, невольно усмехнулся: наш Шокир — к каждой чашке ложка, к каждой лепешке шкварки. Да только ложка кривая, а шкварки прогоркшие. То ли родился таким, то ли судьба искривила после того давнего случая...

Шокир в то время учился в Душанбе, приехал домой на каникулы. Мать сварила похлебку из гороха, его любимую, он наелся до отвала, пошел на вечерний намаз. Мечети в Талхаке не было, но люди собирались в алоу-хоне, доме огня. Шокир, как все, расстелил молитвенный коврик, стал совершать ракаты. Только согнетса, как сзади кто-то шепчет: пу-у-у-уф. Коснется пола лбом, а сзади: фу-у-у-уф. Сначала тихо, потом все громче. Уже ворчит: хрррр. Потом рычит: дррр, дррррррр! Соседи подальше отодвигаются, да отодвинуться некуда. Ни дыхнуть, ни захохотать. В мечети смеяться — грех. А бедняга Шокир до конца намаза наружу выбежать не мог. И зловонное рычание сдержать был не в силах. С тех пор и прозвали его Горохом.

От позора сбежал он из Талхака и пропал. Даже на похороны отца, а затем матери не приезжал. Никто не знал, где он жил, чем занимался. Когда война началась, как щепка с крыши упала: Шокир вернулся. Хромой, без чемодана, без узелка, в том же старом костюме, в котором и по сей день ходит. Что с ним приключилось, от какой беды прятался — кто ведаёт? Наверное, совсем некуда было скрыться, раз в Талхак приехал. На пустое место. Сестры замужем, в доме отца дальние родичи-бедняки живут. Они его и приютили. Кривой, злобный, он желчность свою вначале не выказывал. Гордый человек, нищеты стыдился и искося, с опаской в людей вглядывался — помнят ли?

Сейчас он ковылял по тропе впереди меня. Мы к тому времени миновали верхний мост через Оби-Санг и поднимались к мазору. Я спросил:

— Шокир, зачем людей будоражил?

Как ни удивительно, он ответил искренне:

— Увлёкся я, брат...

— Если так поступать, никакого авторитета среди народа не будет. Никакого уважения.

Он остановился, опустил фонарь.

— Это вы, уважаемые, богатые, за свой авторитет дрожите. Шокиру терять нечего. Думаешь, сладко мне у вас? Живу как на зоне. Старики — как вертухаи. За каждым шагом следят. Куда идешь? Что несешь? Почему то сказал? Почему так сделал? А я эком быть не желаю. Я, может, сам вертухаем стать хочу.

Удивили меня не мысли его, а жаргон.

— Ты разве и в тюрьме побывал?

— Сейчас срок тяну. Здесь, у вас...

Я поднял голову и указал на низкие звезды, крупные как слезы счастья.

— Посмотри. Разве над тюрьмой может быть такое небо?

В это время спутники нагнали нас, Шер закричал снизу:

— Почтенные, отчего пробка на трассе?

Шокир поднял фонарь, заковылял дальше, вверх по тропе.

Мазор возвышается над кишлаком на склоне хребта Хазрати-Хусейн. Поднимаясь к нему, чувствуешь, что приближаешься к святому месту. Здесь и деревья словно из другого мира прорастают — не такие, как повсюду. И в воздухе словно волшебная мелодия постоянно звучит.

Гробница святого Ходжи, предка нынешнего ишана, невысока, в мой рост. Над кубом из обтесанного камня высится купол. И как всегда по ночам, поставлен на гробнице горящий светильник, древний чирог — плошка с фитилем, опущенным в масло. В жилище ишана, чуть поодаль от мавзолея, окна темны.

— Почивают, — молвил престарелый Додихудо нерешительно. — Для дневных забот сил набираются. Дозволено ли сон святого человека нарушать?

— Зачем тогда ноги понапрасну били!? — хмыкнул Шокир и закричал: — Ишан Мошариф, о, ишан Мошариф!

Ответил ему голос из темноты словами из Корана:

— О вы, которые уверовали! Будьте стойкими пред Аллахом, исповедниками по справедливости. Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, что вы нарушите справедливость.

И святой ишан Мошариф вышли из-за гробницы, где стояли, нами не замеченные.

— Вы ведь не за советом явились, — сказали ишан. — Пришли просить, чтобы я приказал людям из Дехаи-Боло вернуть вам пастбище.

Мы удивились их проницательности. Престарелый Додихудо сказал:

— Ваше слово — закон для мюридов. Возражать они не осмелятся.

Ишан спросили:

— Понимаете ли, о чем просите?

— Хотим справедливость восстановить! — крикнул Шер.

— А знаешь ли, что есть справедливость? — спросили ишан. — Просишь отнять у одних и передать другим. Какое у вас, людей Талхака, право требовать для себя большую долю?

— Вазиронцы всегда отнимали силой, — сказал Шер. — Или обманом, как Торба.

Ишан усмехнулись:

— Однако когда Саид-ревком своей властью отобрал у них и отдал вам, вы к справедливости не взывали.

Раис сказал:

— У вазиронцев много земли. А наши овцы не доживут до поры, когда сойдет снег на верхнем пастбище Сари-об.

— Этот мир непостоянен, — сказали ишан Мошариф. — Все переменится гораздо быстрее, чем ты ожидаешь. Как бы вам не пожалеть о переменах.

Мудрой была их речь, но мы на другое надеялись — на совет или защиту.

Возвращались ни с чем. Гиёз-парторг проворчал:

— Политик. Демагог...

— Святого человека осуждать грешно, — осадил его престарелый Додихудо.

— Начальству надо жаловаться, — сказал раис.

— А где оно? — сказал Шер. — Из Калаи-Хумба начальство до нас не дотянется. Руки коротки. Слава Богу, лишились начальники власти.

— Теперь вообще никакой власти нет, — вздохнул парторг.

— Зачем нам власть? — спросил Шер. — Хорошо живем. Трудно, зато сами по себе.

— Зухуршо нынче власть, — сказал раис.

— Завтра утром поеду в нижний кишлак, в Ходжигон, — сказал парторг. — За справедливостью. Пусть Зухуршо нас с вазиронцами рассудит.

Шокир сказал:

— О какой справедливости говорите? Не знаете разве: если бы не было носа, один глаз выклевал бы другой...

4. Карим Тыква

Иду по нашей стороне, лепешки в узелке несу, а навстречу Шокир хромает.

Я когда маленький был, думал, Шокир — какой-то великан. Рассказывали, Шокир ветры пустит — ураган поднимается. Один раз корову позади себя не заметил, присел по нужде, корову в небо унесло. Говорили, в верхнем кишлаке Вазирон опустилась. Хозяин прослышал, забрать пришел, но вазиронцы: «Наша корова, не твоя. Нам ее Аллах свыше послал», — сказали. Так и не отдали...

А недавно Шокир в кишлак вернулся. Я удивился: хилый человек, оказалось. Ударишь его тюбетейкой — свалится. За нос потянешь — из него душа вон. Но очень, оказалось, язвительный.

Вот и сейчас усмехается:

— А, солдат! Почему не на службе?

— С заданием прибыл, — говорю.

— Оха! Большой человек, — говорит. — Как воюешь? Много врагов убил?

— Пока не воевал, — говорю. — Еще никого не убил.

В армию меня наши старики отправили. Когда Зухуршо в Ходжигон прибыл, он нашего раиса к себе вызвал, приказал: «Из Талхака ко мне молодых парней служить пришлите». Уважаемые люди собрались, стали решать, кого в армию послать. Выбрали Кутбеддина, Хилола, Барфака, других ребят. И меня. Отец рассердился: почему из бедной семьи забираете? У нас и так работников не хватает. Отец разгневался, я обрадовался. Мир узнаю. Из Талхака никогда еще не уезжал. Теперь повсюду побываю. Деньги получу. Зухуршо жалованье обещал...

А Шокир допытывается:

— С заданием прибыл, говоришь? Сам Зухуршо, наверное, задание дал. Ты теперь такой человек, что с большими людьми беседы ведешь.

Я сдуру и признаюсь:

— С Зухуршо еще не говорил.

— Да хоть видел-то его?

— Ребят расспрашивал, — говорю. — Они смеялись, разное рассказывали...

Они вокруг столпились, меня как малого ребенка пугали. «Э, братишка, у Зухура туловище человека, а голова дикого кабана». Другой говорил: «Он не человек — джинн... Тыква, ты, небось, джиннов боишься?» «Он тыкву любит. Завтра из тебя, Карим, кашу варить будут». И разное другое, что и пересказывать не хочется.

А Шокир уязвить старается:

— Потешаются? Хорошо, только смеются, не измываются. А может, мутузят тебя или еще что, а?

— Нет, — говорю. — Не измываются.

Хотели, Даврон не позволил. Но зачем об этом Шокиру рассказывать?

— Живу хорошо, — говорю. — Военную форму дали, автомат дали, все дали. Еда хорошая. Там внизу, в Ходжигоне, люди богаче, чем у нас, живут. Ожидают, Зухуршо будет муку и сахар бесплатно раздавать...

Шокир удивляется.

— Кому раздавать? — спрашивает.

— Народу. Людям Ходжигона.

— А про нас не слышал? — Шокир волнуется. — Нам-то как?

— Точно не знаю, — говорю. — Может, и нам тоже.

Шокир поближе придвигается:

— Ты, Карим-джон, разузнай. Точно выясни, потом приди, мне расскажи.

— Как приду? — отвечаю. — Кто меня отпустит?

Он сладкие глаза строит, будто халвы наелся:

— Ты парень умный. Придумаешь.

Сам прикидывает, чем бы мне еще польстить.

— Теперь, когда ты жизнь повидал, ума набрался, тебе жениться надо.

Смеется что ли? Прознал, наверное, что у нас денег на калинг недостает, чтоб за невесту заплатить. А война началась, табак сажать перестали — теперь никогда, наверное, такую сумму, что для свадьбы нужна, не соберем.

— Мне не к спеху, — говорю.

Шокир меня за плечи обнимает, не то насмехается, не то сочувствует притворно:

— Э-э, кошка до подвешенного сала не допрыгнула, «Фу, прогоркло, воняет», — сказала... Я тебе, Карим-джон, совет хороший дам.

Зачем мне лживые советы? Хочу его руку скинуть, не решаюсь.

— Внучку деда Мирбобо, дочь покойного Умара, видел? — Шокир спрашивает. — Красивая девушка. Однако городская, образованная. Сам понимаешь... За такую невесту большой калинг не запросят. К тому же, ты нынче в большую силу вошел, у самого Зухуршо в солдатах служишь. Отказать не посмеют.

«Правильно, — думаю, радуюсь. — Почему сам прежде не сообразил?»

— Спасибо, муаллим, — говорю. — Маму попрошу, чтоб пошла посваталась.

— Ты сначала сам с девушкой поговори, — Шокир советует.

А меня не то смущение, не то сомнение разбирает. Как, думаю, с ней поговорю? Что ей скажу?

Шокир смеется:

— Эх, парень, вижу, ты девок боишься. Не робей, у них между ног зубы не растут. Найди момент, когда она из дома выйдет, за водой или еще куда... Подходи смело. Да что тебя учить! Ты солдат, сам лучше знаешь. Прямо сейчас иди, времени не теряй.

Так хорошо сказал, что мне радостно стало.

— Спасибо, муаллим, — говорю. — Тысячу раз спасибо! Если это дело получится, вашим должником буду. Что захотите, все для вас сделаю.

Руки к сердцу прикладываю, иду. Шокир окликает:

— Эй, Карим, раз жениться собрался, надо кер немножко подправить.

Я удивляюсь:

— Зачем подправлять? Не маленький, не кривой. Хороший кер, большой.

Он говорит:

— Не о том речь. Надо, чтобы длинным, как у осла, сделался. Иначе жена любить не будет. Э-э, сынок, женщин не знаешь... Я тебе, Карим-джон, второй

хороший совет дам. Способ есть, мой дед покойный Мирзорахматшо меня научил. Траву забонсузак сумеешь отыскать?

— Смогу. Возле воды растет.

Он советует:

— Листьев забонсузака нарви, курдючное сало растопи, с травой разотри, немного соли добавь и в кер втирай. А потом за конец посильней тяни, вытягивай...

— Жечь, наверное, будет.

— Терпи, — говорит. — Все наши мужчины так делают.

Я опять спасибо говорю, иду, Шокир опять окликает:

— Постой! В узелке что?

— Ребятам лепешки несусь.

— Одну мне давай, — говорит. — Плата за советы.

Не хочется, но приходится развязать.

— Два совета — две лепешки, — Шокир говорит и три ухватывает.

Хорошо, что в узелке еще много хлеба остается. Я про военное задание соврал. Домой, в Талхак, наши ребята меня послали. Я похвалился: моя мама вкусные лепешки печет — так, как она, никто не умеет, — а Рембо сказал:

«Иди, Тыква, нам принеси».

Я хотел ребятам уважение выказать, но командира боялся. «Даврон узнает, что в я самоволку ушел, накажет».

Гург-волк засмеялся, железные зубы по-волчьи оскалил: «Э, какая, биять, самоволка?! Про армию рассказов наслушался? Тут не армия».

У него все зубы — стальные, блестящие. Потому волком и прозвали.

«У нас другие порядки, — Рембо сказал. — Кто без лепешек возвращается, того к стенке ставят».

«Зачем?» — я спросил.

«Расстреливают», — Рембо объяснил.

Пошутил, наверное.

Теперь в Ходжигон вернуться бы поскорей. Но в казарму не иду. Ноги сами меня к дому старого Мирбобо несут. Иду, думаю, с дедом-покойником Абдукаримом разговариваю. Я маленький был — дедушка меня любил. Всему учил. Лук-камон, из которого камешками стреляют, для меня смастерил и меткости научил... Теперь дедушка мертвый. Говорю: «Дедушка, очень на этой девушке жениться хочу. Помогите, пожалуйста, чтоб это дело сладилось. Очень вас прошу». Дедушка Абдукарим обязательно поможет. Наши арвохи, деды-покойники, хотя и строгие, но добрые, нам всегда помогают.

Иду, мечтаю, к дому деда Мирбобо подхожу. Калитка, как в сказке, открывается, Зарина с ведрами на улицу выходит, мне навстречу идет. Я, как в счастливом сне, по воздуху к ней подплываю, к ведрам тянусь:

— Давай помогу.

Она отскакивает, кричит сердито:

— Отвали! Руки убери! Тебе чего надо?!

Будто палкой ото сна разбудила. С коня мечтаний на землю свалился. Понять не могу, что случилось? Она кричит:

— Шагай, шагай отсюда, ишак! Чего встал? Шел своей дорогой, вот и иди. Не то брата позову...

Нос вздергивает, прочь идет. Я стою, простоквашу во рту жую. «Почему так? Что я неправильно сказал?» Обманул меня Шокир. Эта девушка — ведьма,

оджина... За такую все, что имеешь, отдашь, лишь бы от нее отвязаться. Лучше вообще не жениться, чем с такой злыдней жить.

Вижу, Зарина останавливается, назад поворачивает. Наверное, еще не все злые слова мне в лицо бросила. Зачем я Шокиру доверился?!

Она подходит, говорит:

— Парень, ты меня извини, пожалуйста. Понимаешь, привыкла, что у нас в Ватане националы к русским девушкам цепляются. Ну, автоматом и вырвалось, боевая готовность сработала. Глупо, конечно... Самой совестно стало. У вас тут совсем по-другому...

Я молчу. Все слова забыл. Она спрашивает:

— Тебя как зовут?

— Карим.

— Ну, пока, Карим. Не обижайся. Хорошо?

И вверх по улице бежит, ведрами размахивая.

Я вслед смотрю, радуюсь. Все, как в мечтах, сбылось! «Спасибо, дедушка Абдукарим, — думаю. — Тысячу раз спасибо». Теперь, наверное, деды-покойники меня похвалят. «Баракалло, молодец, Карим, — скажут. — Хорошую девушку в наш каун привел».

Теперь маму попрошу, чтобы сватов к деду Мирбобо засылала.

5. Джоруб

На наш Талхак будто лавина с грохотом рухнула. Вернулись посланники, ездившие к Зухуршо за справедливостью. Никто не ожидал, что она окажется столь страшной. Весь народ загудел и зароптал, потрясенный. Престарелый Додихудо сказал:

— Тушили пожар, побежали за водой — принесли огонь.

Мы в это время сидели у раиса в мехмонхоне, и раис, указав на керосиновую лампу, возразил:

— Огонь тоже свою пользу имеет. Но я хочу знать, как эта беда случилась. Расскажите нам, уважаемый.

Престарелый Додихудо отказался степенно:

— Я рассказывать не мастер. Ёдгора просите.

Все мы — мулло Раззак, сельсовет Бахрулло, счетовод, Сухбат-механик и даже Шокир (он тоже туда пробрался — пришлось, конечно, примоститься ниже всех, у самой двери, но он и тому был рад, что сидит с уважаемыми людьми) — все мы, конечно, знали талант Ёдгора, но сначала следовало оказать уважение старому Додихудо. И теперь, когда уважение было оказано, Ёдгор начал рассказ:

— Едем мы, ручей Оби-бузак переехали, Шер говорит:

«Стучит. Слышите?»

«Где?» — покойный Гиёз спрашивает.

«В двигателе. Что неладно, не пойму».

«До места доедем? — покойный Гиёз спрашивает.

«Как Бог захочет, — Шер отвечает. — Стук — знак недобрый, зловещий. Наверное, дело наше не выйдет».

Покойный Гиёз смеется:

«Э-э, не бойтесь, Зухуршо мне не откажет. Мы в восемьдесят пятом году, в сентябре, в Душанбе в партшколе вместе учились».

В Ходжигон приезжаем. Покойный Гиёз предлагает:

«Времени терять не станем. Сразу зайдем к Зухуршо, расскажем о нашем деле».

Почтенный Додихудо, ныне здесь, в этой мехмонхоне, сидящий, возражает:

«Нет, друг, так не пойдет. Надо сначала разузнать, какие теперь порядки. Поедем к мулло Гирдаку, расспросим. Мулло — мудрый человек, он нам хороший совет даст».

Шер радуется:

«Хорошо. Заодно попросим мулло посмотреть, что в двигателе стучит».

К мулло Гирдаку в механическую мастерскую едем. Ворота гаража распахнуты. Над ямой «газон» стоит, в гараже ни души. Кричим:

«Эй, мулло Гирдак!»

Мулло Гирдак из смотровой ямы выглядывает:

«Какие люди приехали!»

Из ямы вылезает, рубаха и штаны в масле измазаны.

«Ас салом», — а рук нам подать не может: обе до локтя черным маслом измазаны. Здравуемся, о семье-здоровье расспрашиваем, зачем приехали, рассказываем. Мулло Гирдак говорит:

«Так просто к Зухуршо не попадете. Сначала бумагу подать надо. Заявление написать, дело изложить».

Гиёз возмущается:

«Почему бюрократизм такой?! Раньше в Калаи-Хумбе меня в райкоме сразу принимали. Если заняты были, час-два просили подождать».

«Другие времена, брат, — мулло Гирдак вздыхает. — Сейчас извините, вас одних оставляю».

Уходит. Возвращается в чистом чапане, рубахе, белой как снег. И руки чистые, только под ногтями черно. Наверное, вообще отмыть невозможно. В нашу машину садится, едем. Дома мулло нас в мехмонхону заводит. Пока обед готовят, покойный Гиёз заявление пишет. Поели, мулло Гирдак совет дает:

«Заявление либо Занбуру, либо Гафуру отдайте».

Гиёз-покойник спрашивает:

«Это какому же Занбуру? Зоотехнику?»

«Нет, телохранителю, что с Зухуршо прибыл. Другой, Гафур, тоже Зухуршо охраняет. Люди их джондорами прозвали. Дэвами, которые в нечистых местах живут, людей убивают и едят».

«Э! Нас не съедят?» — покойный Гиёз шутит.

«Не бойтесь, — мулло Гирдак смеется. — Денег дадите, живыми отпустят. Бахшиш надо дать».

Дом Зухуршо издали видим. Выше всех домов в кишлаке стоит. Давно начали строить. Люди думали, для матери Зухуршо. Еще не знали, что он сам в нем поселится. Очень большой дом, дворец. Вокруг забор. Железные ворота в Калаи-Хумбе сварили, золотой краской покрасили. Я вблизи смотрю: дешевка — латунь... В золотую калитку стучим. Мальчишка в камуфляже, с «калашниковым» на плече открывает.

«Чего?»

«Заявление принесли, сынок».

«Сейчас».

Калитку захлопывает.

Ждем. Наконец входит высоченный мужик, широкий как бульдозер, но какой-то корявый, косолапый. Словно горный дэв, которого в военную форму нарядили, а на пояс кобуру с пистолетом повесили.

«Чего надо?»

«Уважаемый, прошение хотим Зухуршо передать».

«Мне давай».

Почтенный Додихудо заявление подает. Дэв бумагу разворачивает, читает, потом на нас смотрит, ничего не говорит. Молчит.

«Уважаемый, небольшим подарком не побрезгуйте», — Додихудо говорит.

Пачку денег, в румол завернутую, протягивает. Дэв платок разматывает, пересчитывает.

«Завтра скажу, когда приходить».

Гиёз просит:

«Уважаемый, за труд не сочтите Зухуршо сказать, что заявление Гиёз из Талхака привез. Зухуршо меня хорошо знает».

Дэв, не попрощавшись, калитку захлопывает.

Назавтра опять ко дворцу являемся. Мальчишку с автоматом просим Занбура или Гафура вызвать. Не знаем, с кем из них вчера говорили.

«Сейчас».

Выходит дэв, такой же, как вчерашний, только страшнее. Лицо и руки белыми пятнами покрыты. Болезнь у него, знать, такая: песи-махоу. Додихудо к нему обращается:

«Уважаемый, вчера бумагу отдали товарищу вашему. Хотим результат узнать. Насчет сроков».

Молчит. Почтенный Додихудо из-за пазухи сверток с деньгами достает, пятнистому дэву протягивает. Тот поворачивается, уходит. Калитку открытой оставляет. Заглянули. Эха, братцы! У Зухуршо весь передний двор асфальтом покрыт. Это он в городе, наверное, на такое насмотрелся. Как человек может в таком дворе жить? Смотрим, мальчишка бежит:

«Он сказал, вам на послезавтра назначено».

«А время какое?» — покойный Гиёз спрашивает.

«Про время ничего не сказал».

«Ничего, придем с утра пораньше, подождем, — почтенный Додихудо решает. — А если время уточнять, опять платить придется».

В дом мулло Гирдака возвращаемся. Чай пьем. Мулло рассказывает: у Зухуршо молодая жена умерла. А мы не знаем, печалиться или радоваться.

Шер говорит:

«Это Бог нам помогает. Теперь у Зухуршо в верхнем селении родни нет. Может, он дело в нашу пользу решит».

Мулло Гирдак его укоряет:

«За Бога не решай! Что Аллах думает, какие у него планы, какие намерения, никому знать не дано. Даже ангелы не знают».

«Зухуршо обязательно нашу сторону возьмет, — покойный Гиёз говорит. — Мы с ним друзьями были. В партшколе учились, в одной комнате жили. Оба земляки, оба санговарские. В Душанбе дарвазских ребят из Калаи-Хумба нашли. Время свободное выдавалось, с ребятами на Варзобском озере плов делали. Мясо, рис, морковь купим, у повара в кафе "Ором" казан возьмем, потом на берегу реки из камней печку сложим... Один из ребят очень хорошо готовил. Вот он плов сварит, мы сядем, покушаем. Водку тоже немного пили. Так отдыхали. Шутили, смеялись. Зухуршо много плова съесть мог. Правду сказать, очень жадным был. Я его чемпионом по скоростному пожиранию плова прозвал...»

Шер удивляется:

«Не обижался?»

«Нет, никакой обиды не было, — Гиёз говорит. — Зухуршо веселый парень. Вместе со всеми смеялся».

Рано утром к воротам являемся. В полдень дэв из калитки выходит:

«Эй, талхакские, заходите».

Во двор входим, перед дворцом черная «Волга» припаркована. Справа еще один дом, небольшой. Наверное, мехмонхона, думаю. Входим. Небольшая комнатка коврами увешана, у стены курпача расстелена, на ней пятнистый дэв возлежит.

«Проверил их?» — у первого спрашивает.

Первый приказывает:

«Руки подними».

По всему телу меня охлопывает, будто подушку взбивает. Оружие ищет. Потом Гиёза с Додихудо обшаривает.

«Чисто, — говорит. — Заходите».

На резную дверь указывает. Скидываем обувь. Покойный Гиёз, бедняга, долго возится, пока сапоги стягивает. На одном чулке дырка, он и чулки снимает, приличия ради к Зухуршо босиком входит.

Эха-а-а! Это не мехмонхона, оказалось. Кабинет как в райкоме... нет, чем в райкоме, даже еще богаче. В глубине — письменный стол полированный. К нему другой длинный стол со стульями приставлен. Для заседаний. Зухуршо встает, навстречу идет.

«Гиёз, дорогой, наконец свиделись! Давно я этой встречи ждал».

В глазах счастье светится. Повторяет:

«Гиёз, ох, Гиёз...»

Будто долгожданный подарок получил. Удивительно мне: коли так, почему прежде Гиёза к себе не призвал? Почему к нему в Талхак не приехал? Вижу: даже покойный Гиёз удивляется. Хоть дружбой с Зухуршо хвалился, но подобной ласки не ожидал. Зухуршо за длинный стол нас усаживает, чай наливает, Гиёзу подает.

«Давно не виделись, дорогой. С тех времен...»

«Веселое время было», — покойный Гиёз говорит.

«Да, веселое, — Зухуршо соглашается. — И ты веселым парнем был».

Покойный Гиёз смеется:

«Э, брат, я и сейчас не совсем еще грустный...»

«Шутил много», — Зухуршо продолжает.

Вижу, нет в его глазах ни веселья, ни радости. Но покойный Гиёз того не замечает.

«Все шутили, смеялись», — говорит.

«Над кем смеялись?» — Зухуршо спрашивает.

«Просто так смеялись», — Гиёз говорит.

«Нет, — Зухуршо говорит. — Надо мной смеялись. Как ты меня называл, помнишь?»

Покойный Гиёз смеется:

«Чемпионом прозвал».

«А слова какие прибавлял? — Зухуршо ласково спрашивает. — Забыл?»

Я в душе Бога молю, чтоб надоумил Гиёза злосчастное прозвище вслух не произносить. Однако он сам догадывается, о чем речь идет.

«То шутка была, — оправдывается. — Если обидел, извини по старой дружбе».

«Шутка...» — Зухуршо повторяет.

Мрачнеет, в лице меняется, будто на мгновение какой-то джинн из него выглядывает. Мне страшно становится, думаю: «В своем ли Зухуршо уме?» Потому что представляется мне, что бросится он сейчас на несчастного Гиёза, кусать и грызть зубами начнет.

Гиёз того будто не замечает, повторяет:

«Просто дружеская шутка».

Зухуршо смеется сердечно, весело:

«Эх, Гиёз, Гиёз...»

Думаю: «Не почудилось ли?» А Зухуршо продолжает ласково:

«Веселый ты мужик, Гиёз, только шутить не умеешь. Не огорчайся, урок тебе дам, покажу, как надо».

«Хуш, хорошо, — Гиёз говорит. — За науку спасибо скажу».

Зухуршо кричит:

«Гафур, принеси!»

Пятнистый дэв входит, на стол веревку из шерсти, чилбур, кладет. Чилбур кольцом свернут, наружу лишь петля торчит.

«Надевай», — Зухуршо покойному Гиёзу приказывает.

Гиёз не понимает:

«Что надеть?»

«Петлю. Себе на шею».

Я думаю: «Зачем веревка, зачем петля? Фокус какой-нибудь? Нет, наверное, Гиёза в глупое положение поставить, унижить желает».

Наверное, Гиёз о том же думает. Спрашивает:

«Зачем?»

«Э-э, глупый вопрос задаешь. Повешу тебя».

«Друг, пожалуйста, другую шутку придумай, — Гиёз просит. — Эта очень опасная. Если что-нибудь не так выйдет, ненароком задохнуться могу».

«Обязательно задохнешься, — Зухуршо смеется. — Иначе зачем вешать?»

Гиёз тоже улыбается:

«Эх, друг, ты всегда...»

Из Зухуршо вновь ужасный джинн вырывается:

«Не смей "ты" говорить! — шипит. — Вежливости тебя не учили? Культуре не учили? Ты ко мне "джаноб", господин, обращаться должен. "Таксиром" должен величать».

И вдруг опять весело смеется:

«Вот так-то, Гиёз. — И добавляет дружески: — Ну, чего сидишь? Надевай».

Покойный Гиёз в лицо ему прямо смотрит, говорит:

«Товарищ Мухамадшоев, я в такие игры не играю».

Тогда Зухуршо пятнистому Гафуру приказывает:

«Подержи его».

Гафур стол огибает, позади покойного Гиёза встает, лапами его обхватывает. Зухуршо на почтенного Додихудо пальцем указывает, приказывает:

«Ты ему надень».

Почтенный Додихудо говорит:

«Таксир, воля ваша, но я такой грех на себя не возьму».

Тогда Зухуршо кричит:

«Занбур!»

Второй дэв входит.

«Принеси».

Дэв уходит. Мы сидим, молчим. Веревка на столе лежит. Пятнистый дэв

Гафур покойного Гиёза держит. Почтенного Додихудо дрожь бьет, но держится он, страха не показывает, гордо сидит. Я думаю: «Что делать? Что делать?» Мысли в голову не идут.

Занбур входит, вторую веревку с петлей на стол кладет. Зухуршо на почтенного Додихудо указывает:

«Подержи его».

Занбур стол обходит, сзади обеими руками почтенного Додихудо обхватывает, к спинке стула прижимает.

Зухуршо в меня пальцем тычет:

«Ты, — на почтенного Додихудо указывает, — ему надень».

Понимаю, что последний мой час пришел. Ничего не отвечаю, только о том думаю, чтобы с силами собраться, достоинства не уронить.

Тогда покойный Гиёз говорит громко:

«Эй, Гафур, руки убери! Отпусти меня».

Дэв, который его держит, на Зухуршо смотрит.

«Отпусти», — Зухуршо приказывает.

Гафур руки убирает, покойного Гиёза отпускает и, как статуя, позади стула встает. Покойный Гиёз веревку берет, петлю пошире расправляет, на шею надевает. Все сидят, молчат. Второй дэв, Занбур, почтенного Додихудо держит, не отпускает. Потом Зухуршо дэвам приказывает:

«Соберите народ».

«Люди сейчас в поле», — Гафур говорит.

«Соберите тех, кто остался в кишлаке».

Занбур почтенного Додихудо отпускает, оба выходят.

До этого мига я себя ложной надеждой успокаивал. Думал, Зухуршо напугать Гиёза задумал. Злой шуткой отомстить. Теперь понимаю: раз народ собирает, исполнит, что пообещал. Вид у него довольный, будто хорошее дело сделал, своей работой гордится и тихо радуется. Опять в пиалу чай наливает, покойному Гиёзу подает:

«Возьми, пожалуйста».

Гиёз словно во сне чай принимает. Будто не понимает, что делает. Пиалу берет, отхлебывает... Мне вдруг смешно становится — как наша жизнь нелепа. Один человек другого лишит жизни собирается, чаем угощает, а тот пиалу принимает вежливо, как положено. Смех из меня наружу рвется, удержать сил нет. Сам себя слышу, сам себе удивляюсь, ничего поделать не могу — хохочу как деревенский девона-дурачок при виде осла, вскочившего на ослицу.

Зухуршо хмурится:

«Над кем смеешься?»

Я ни слова оправдания сказать не могу, ни смех остановить. Тогда почтенный Додихудо, тысячу раз спасибо, вмешивается:

«Не гневайтесь, таксир. Это из него страх смерти со смехом выходит».

Зухуршо усмехается:

«Не рано ли? Чилбур перед ним лежит».

Странная усмешка. Беззлобная и оттого страшная. Человек, который так усмехается, что угодно сотворить может. Почтенный Додихудо говорит:

«Извините нас, таксир. Мы люди простые, деревенские. Грубые горцы. Нас и впрямь, как вы сказали, никто учтивости не учил. Этот человек, Гиёз, хоть и коммунист, тоже очень темный...»

«Темнота не оправдание», — Зухуршо отвечает.

Тогда Додихудо, здесь с нами сидящий, говорит:

«Гиёз, друг, хоть и давно ты этого уважаемого человека обидел, но лучше сейчас прощения попроси. Сам знаешь, как говорится: "Если забор сто лет назад покосился, лучше сейчас поправить, чем оставить кривым стоять". Иной раз гордость смирять приходится».

Покойный Гиёз гордость свою смирить не желает. Смелый человек... Тогда Зухуршо внезапно встает, выходит, ничего не сказав. Смех мой сам собой проходит, слабость меня одолевает, подобная той, что охватывает, говорят, человека в смертный час.

Почтенный Додихудо говорит:

«Мы не знаем, что с нами будет. Этот человек способен мстить за любую мелочь. Может, еще решит нас с Ёдгором казнить. Сейчас время намаза. Давайте помолимся. Возможно, в последний раз».

И тогда Гиёз отчаяние выказывает. Конец веревки, которая на его шее висит, хватает, дергает яростно, выкрикивает:

«Зачем мне молиться?! Мне только в ад дорога. В рай никогда не попаду...»

Голову на стол роняет, в голос плачет...

На этом месте Ёдгор рассказ прервал и сам заплакал. Все тоже молчали. Наконец мулло Раззак сказал:

— Да, страшна такая смерть. Мало того, что позорная, для души губительная. Когда человек умирает, душа выходит через ноздри и поднимается к Богу. Но если смерть наступает в петле, естественный выход закрыт, и душа оскверняется, потому что вырывается через задний проход вместе с нечистотами. Она уже не может попасть в рай, а идет прямо в ад.

Ёдгор утер слезы:

— Чем мы могли несчастному Гиёзу помочь, как утешить? Тогда, в кабинете Зухуршо, он плачет, я к нему подхожу, руку ему на плечо кладу:

«Надежды не теряй, брат. Будет так, как Бог решит. Иншалло...»

С шеи Гиёза петлю снимаю, на стол бросаю. Молитвенные коврики в доме у мулло Гирдака оставлены. Расстилаем платки — у кого какой имеется. Молиться начинаем. Потом дверь открывается, Занбур кричит:

«Эй, талхакские, выходите».

Мы не откликаемся, начатый ракат до конца доводим. Занбур в кабинет заходит.

«Э, перед смертью не намолитесь. Скоро там будете. На месте Богу что надо, скажете. Идем быстрее, Зухуршо ждать не любит».

Выходим из кабинета, обувь надеваем. Почтенный Додихудо — в ичигах: ноги в калоши сует. Я кое-как, шнурки не развязывая, ступни в туфли вбиваю. Покойный Гиёз на пол садится, чулки не надевает — до того ли ему! — сапог за голенище тянет, никак натянуть не может...

Занбур говорит грубо:

«Зухуршо ждать не любит. Зачем тебе теперь сапоги? — Гиёза за шиворот хватает, рывком на ноги поднимает. — Так иди!»

Покойный Гиёз во двор босым вылетает. С дэвом из-за сапог драться — честь ронять. За золотые ворота выходим. На улице народ толпится. Женщины и старики. Видят нас, волнуются, вздыхают. Позади народа аскеры стоят, боевики. С автоматами.

«Здесь стойте», — Занбур командует, нас к забору пихает.

Потом золотые ворота открываются, Зухуршо выходит. Вах! Я глазам не верю. Зухуршо в камуфляж одет, на плечах у него огромная змея лежит. Как шарф, который афганцы на себя накидывают. Змея голову вытягивает, вперед

смотрит. Хвостом шевелит. Змея в серых и черных пятнах, и камуфляж у Зухуршо тоже серо-черный, пятнистый. И кажется, что змея из плеч у него растет. Стоит Зухуршо, перед народом красуется. Ноги широко расставлены, голова высоко поднята. Змей на плечах шевелится. Потом смотрю, военный мужик со стороны подходит. Впереди всех встает, подбоченившись...

В этом месте рассказ Ёдгора раис перебил:

— Это, конечно, Даврон был. Говорят, он у Зухуршо военный начальник. Говорят, Зухуршо воевать не умеет. Вместо него Даврон воюет.

— Не знаю, — ответил Ёдгор. — Наверное, он. Другой не посмел бы на Зухуршо дерзко смотреть. Но тогда я о том не думаю. Гадаю, что с нами будет. Зухуршо кричит:

«Эй, люди! Надо зиерат совершить. Святой мазор Хазарати-Арчо посетить, подношение сделать».

Тогда военный мужик плюет и уходит. А Зухуршо словно того не замечает, большими шагами налево вверх по улице направляется. Дэв покойного Гиёза толкает:

«Коммунисты, вперед!»

За нами весь народ тянется. Боевики посмеиваются, позади держатся. Чтобы люди не разбегались, наверное. За кишлак выходим, вверх по тропе подниматься начинаем. Покойный Гиёз впереди меня идет, босыми ногами по острым камням ступает. Ноги медленно, с усилием переставляет, будто бурлящий горный поток — незримый, беззвучный — вброд пересекает. Будто по колено в смерти бредет.

Достигаем наконец мазора, где огромная арча, священное дерево, стоит. Все нижние ветки цветными тряпочками увешаны, как новогодняя елка в русских домах на Новый год.

Останавливаемся. Народ позади толпится. Бабы, ребятишки да старики. Еще там один русский был. Сказали: корреспондент из Москвы. Говорят, вместе с Зухуршо приехал.

Зухуршо приосанивается, змея на себе поправляет, вперед выходит.

«Люди Ходжигона, на этого человека, на коммуниста посмотрите. Он хочет, чтобы старые времена вернулись. Желает, чтобы народ от зулма, от угнетения, вновь страдал. Новой жизни помешать задумал. Но я на вашу защиту встал. Все его планы нарушил. И на ваших глазах его казни предам, чтобы на народное счастье не посягал».

Затем пятнистому Гафуру кивает, тот покойного Гиёза выводит, возле священной арчи ставит.

Почтенный Додихудо к Зухуршо подходит:

«Старые люди рассказывали, что в прежние времена в Бухаре когда человека на виселице казнили, то прежде на шее надрез делали, чтобы душа могла через горло выйти. Окажите Гиёзу милость, таксир. Прикажите, чтобы ему горло надрезали».

Зухуршо усмехается:

«Теперь не старые времена...» — и Гафуру кивает.

Гафур веревку с плеча снимает, расправляет, на шею Гиёзу петлю надевает. Покойный Гиёз выпрямляется гордо, голову высоко поднимает, кричит громким голосом:

«Люди Ходжигона! Лжет Зухуршо. Я к нему за справедливостью пришел. За защитой пришел...»

«Пусть замолчит», — Зухуршо приказывает.

Гафур шею Гиёза, как борец, в захват берет, горло сдавливая. Гиёз хрипит, замолкает.

Зухуршо кричит:

«Эй, осторожнее! Не удави его...»

Гафур захват ослабляет. Тогда Зухуршо второму дэву командует:

«Занбур, иди помоги».

Второй дэв к Гиёзу подходит, свободный конец веревки принимает, вверх смотрит, в затылке чешет, веревку измерять начинает — к плечу и вытянутой руке прикладывает, перехватывает, опять прикладывает. То на веревку смотрит, то на дерево, будто что-то прикидывает.

«Эй, мудрецы, о чем задумались?» — Зухуршо сердится.

«Зухуршо, как быть? — второй дэв, Занбур, в ответ кричит. — На нижней ветке вешать, у него ноги до земли достают. Если на той, что повыше, веревка коротка».

«Еще одну подвяжи».

«Другие веревки в конторе на столе остались».

«Эй, Занбур, ты что, в школе не учился? Геометрии не знаешь? Пусть он на нижнюю ветку залезет, а ты заберись повыше и там веревку привяжи».

Занбур конец веревки в зубы берет, подтягивается, брюхом на ветку ложится, а потом садится кое-как, ноги свесив.

Пятнистый Гафур захват отпускает, Гиёза кулаком в бок тычет:

«К нему лезь».

Гиёз на него смотрит, отворачивается. Гафур опять кулак заносит, но Зухуршо опять кричит:

«Пусть стоит, где стоит! На нижней вешайте».

«Как это?»

«А ты мозгами пошевели, если есть, чем шевелить».

Понимаю вдруг, что Зухуршо задумал. Желает, чтобы Гиёз себя унизил. Чтoб за жизнь цепляться стал, о достоинстве и чести забыв.

Тем временем Гафур приказывает:

«Эй, Занбур, слезай».

Занбур с ветки спрыгивает. Гафур конец веревки у него берет, через нижнюю ветку перекидывает. Потом петлю на покойном Гиёзе слегка затягивает, чтобы плотно охватывала, но не душила. Чилбур за свободный конец подтягивает, длину веревки выбирает, несколько раз вокруг ветки обматывает. Вдумчиво работает, неспешно, деловито. Узел на ветке завязывает, конец закрепляет.

«Готово!»

Смелый человек, Гиёз, но сейчас смотрит как ребенок, робко, растерянно. Однако страх пересиливает. Кричит громко:

«Эй, люди!...»

Я думаю: «Кому говорит, зачем? Старые люди, женщины, что они могут? Их удел — подчиняться, терпеть. Это он ко мне обращается. Я мужчина, я сильный...» А потом себя спрашиваю: «Почему молчишь, Ёдгор? Человека на твоих глазах убивают. Односельчанина. Ты стоишь, смотришь... Почему вступить за него боишься?»

Здесь Ёдгор замолчал, рассказ прервал. Затем сказал:

— Это в моей жизни самый страшный миг был. Не потому, что казнь страшна. Потому что слабость свою ощутил. Как буду себя уважать? Последний час Гиёза наступил, а я и смотреть не могу, и отвернуться не в силах. Гиёз к

людям обращается. Пятнистый дэв с ним рядом, сигнала ждет. Занбур в сторону смотрит — туда, где женщины стоят. Наверное, молодых разглядывает.

Потом Зухуршо говорит:

«Во имя Бога... Омин».

Гафур головой согласно кивает: «Хоп», Гиёза по ногам с силой бьет. Подсечку как борец проводит. Гиёз опору теряет, на веревке повисает. Женщины разом: «Ох! Вайдод!» — кричат. Плачут, отворачиваются. Глаза рукавом закрывают. Вижу, корреспондент из Москвы тоже, бедный, плачет. Тоже Гиёза жалеет.

«Эй, бабы! — Зухуршо кричит. — Всем смотреть! Кто смотреть не станет, тому плохо будет...»

Кое-как женщины опять к дереву поворачиваются, искоса, робея, на несчастного Гиёза, повисшего, смотрят. Сильный человек, Гиёз, упорный. На ноги встать пытается. Руки поднимает, за веревку хватается. Ноги подтягивает... Встает! Лицо от натуги красное. Пальцы под петлю запускает, распустили силится.

Тогда Гафур опять мощную подножку ему дает. Ноги из-под Гиёза опять вылетают, он на веревке повисает, пальцы петель прижаты. Очень сильный человек, Гиёз. Опять ноги под себя подбирает, опять на ноги встает.

«Зухуршо, надо ему руки связать», — Гафур предлагает.

«Не надо, — Зухуршо смеется. — Какой ты палвон, если с деревенщиной справиться не можешь? Может, в гуштин¹ с ним поиграешь? Поберегись, Гафур, он ведь тебя поборет».

Сердится Гафур. Злится. Из всех сил Гиёза по ногам пинает. Но Гиёз опять встать силы находит. Не удастся Зухуршо его сломать, мужественно Гиёз за жизнь борется. До последнего вздоха. И вздохов уже не осталось, дышать нечем, но борется.

Тогда Гафур второго дэва, Занбура, окликает:

«Кончай на баб глазеть. Помоги».

Занбур не понимает, смотрит тупо.

«Что делать?»

«Что делать, что делать! Ноги ему подними».

Занбур нагибается, правую босую ногу Гиёза подхватывает, вверх поднимает. Гиёз на одной ноге удерживается. Гафур по ноге бьет. Несчастный Гиёз повисает, свободной ногой в воздухе шарит, опору найти не может. Руками за веревку ухватиться пытается, веревку найти не может. Трепыхается, бьется, как рыба на берегу.

Я больше смотреть не могу. Глаза закрываю. Слышу, почтенный Додихудо шепчет суру Ёсин, которую умирающим читают. И еще слышу — не то хрип, не то стон. Слышу, Гафур кричит:

«Крепче держи! Не отпускай».

Потом тишина. Я глаза открываю, на арчу не смотрю. Зухуршо к нам оборачивается:

— Суд мой суров, но справедлив. Каждый по своим делам получает. Этот человек передо мной провинился, я его наказал. И ваше дело решу по справедливости. Отниму у Ёра пастбище. Вазионы не будут им владеть...

И мы опять не знаем, печалиться нам или радоваться. Кровью сердец оплакиваем несчастного Гиёза, а души ликуют из-за обретенного пастбища.

¹ Таджикская национальная борьба.

Зухуршо приказывает:

«Не снимать! Пусть висит. Старик из Талхака, ты понял? Не снимать. Это мое мазору подношение».

Здесь Ёдгор вновь замолчал, а вместо него закончил престарелый Додихудо:

— Потом разрешил. Передали нам его слова: «Повисел и хватит с него чести. Смердеть начнет, святой мазор зловонием осквернять. Пусть талхакцы своего протухшего парторга забирают». Мы сняли, домой повезли...

Ёдгор спохватился и, не желая уступать роли рассказчика, продолжил:

— Да, домой везем. Едем, печалимся, Шер говорит:

«Двигатель не зря стучал. Войны испугались, теперь покойника везем. Потому и говорят: коли смел — обретешь, если трус — пропадешь».

И тут Шокир из темноты свое слово вернул:

— Говорят и по-другому: «Когда теленок умирает, корова дойной становится».

Поморщились мы, но никто Гороха не одернул, чтоб даже намек не возникло, что неуместная эта поговорка может относиться к покойному Гиёзу.

Престарелый Додихудо сказал:

— Гиёз пастбище кишлаку вернул.

— Да, — согласился счетовод, — покойный Гиёз за всех жертвой стал.

— Не мы его в жертву принесли, — уточнил мулло Раззак.

Раис сказал:

— Скота уже нет. Поздно, поздно мы свое пастбище назад заполучили.

— Нужно его вазиронцам в аренду на год отдать, — предложил счетовод. — Все равно их скот половину травы объел. Пусть за пользование нашим пастбищем часть нового приплода нам отдадут. Или деньгами можно взять.

— Приплодом лучше, — решил раис. — Да и маток бы несколько в придачу.

— Считать надо, калькуляцию составить надо, — сказал счетовод.

Начали спорить, судить да обсуждать, как вновь обретенным пастбищем распорядиться. И только я выкрикнул бессмысленный вопрос, заранее зная, какой получу ответ:

— Почему?!

Все замолчали, удивившись. Я спросил:

— Мулло, скажите, как такое может быть? Почему один человек — злой, плохой человек, недостойный — может рая лишить другого человека? Хорошего, достойного...

Мулло Раззак сказал:

— Злой человек — тоже Божье орудие.

— Значит, тот человек, которого он рая лишил, не воскреснет? Не оживет в Судный день, когда все правоверные встанут из могил?

— Увы, — сказал мулло.

— Но почему?! Почему?

— Не нам то знать.

И я зарыдал. Рыдал громко как ребенок. Помимо моей воли вырывались эти слезы.

— Эх, Джоруб, Джоруб, — сказал мулло. — Не плачь, успокойся. Грех сокрушаться, смиришься. Такова судьба.

Но я не хотел успокаиваться. Я не мог смириться. Я образованный человек. Я анатомию, физиологию, высшую нервную деятельность человека изучал и знаю, что души не существует. Но я горько плакал о том, что душа моего брата Умара в момент смерти вышла не через нос, а улетучилась через неподобающее отверстие, и теперь мой бедный покойный брат никогда не достигнет рая.

6. Олег

Странное двойственное чувство...

Никогда прежде мне не доводилось столь обостренно чувствовать материальность мира. Ярко освещенные горные вершины врезались в опрокинутый ультрафиолетовый аквариум неистово синего неба. Холодный воздух сгустился в прозрачный ледяной коллоид. Под ногами незыблемо покоилась базальтовая плоскость, на которой высилась священная арча. Вещественность субстанции достигала максимального предела и, тем не менее, ее плотность, казалось, многократно возрастала в центральной зоне — там, где с ветки дерева свисал, касаясь ногами земли, труп повешенного.

И вместе с тем, окружающее казалось абсолютно нереальным. Стоя в одиночестве на опустевшей поляне, я слышал вдали смех боевиков, спускающихся по тропе. Я видел, как солнце будто обезумевший гиперреалист обрисовывает узкими черными тенями каждый выступ, каждую трещину, каждый бугорок на каменных склонах. Студеный ветер холодил лицо и горло. Однако меня здесь словно не было. Я видел, слышал, осязал, сознавал, но сам отсутствовал. Мне чудилось, что я заглядываю в ущелье откуда-то из иной реальности...

В каком-то смысле, это иллюзорное ощущение соответствовало действительности. Мое присутствие ничего не меняло. Ни на йоту не повлияло на произошедшее. Более того, я будто был отделен от здешних людей другим измерением. Они смотрели на меня и будто не видели. Как в фильме «Призрак». Мне даже не приходилось напоминать себе: это чужая страна, и я — посторонний...

Нелегко считать чужой землю, где родился, провел детство, отрочество и... Нет, юность пришлась на Ленинград. После смерти отца мама переехала к бабушке и утащила меня из солнечного края в туманную северную Пальмиру. Пришлось нехотя вращаться в холодную почву, заводить новых друзей и скучать по старым. Я тосковал по свету, теплу, ярким краскам, пряным родным запахам, душевным людским отношениям. Катастрофически недоставало солнца. Особенно зимой. Четыре часа дня, а на улице темень глухая, как в полночь, фонари, слякоть...

Из-за ностальгии я после школы поступил на Восточный факультет и придумал утешительную формулу: «Таджикистан — родина, отечество — Россия». Правда, несколько лет спустя родина и отечество разбежались в разные стороны, а я оказался в роли дитяти из распавшегося семейства.

Так что ныне я здесь чужак. На мне нет ответственности за то, что происходит. В этом мире я только прохожий. Мое дело — наблюдать и не вмешиваться. Но сколько себя ни убеждал, на душе было по-прежнему мерзко. Казнь потрясла меня. Я снимал машинально, почти не глядя в видеоискатель, и все же снимал. Съемка была моим оправданием. Я не мог остановить казнь, а фотокамера как бы подтверждала мое право не вмешиваться, оправдывала мое невмешательство. Мы, репортеры, — всего лишь свидетели, мы не участвуем в событиях, мы всего лишь фиксируем... Очень удобно этим «мы» причислять себя к сообществу, в котором такая позиция не просто правило, но закон, и, стало быть, мне лично не в чем себя винить. Такова, мол, профессия, и не прихоти ради я здесь...

Лукавлю лишь отчасти. Я действительно стал репортером. Еще до начала

войны переехал из Питера в Москву и чудом устроился в газету «Совершенно секретно». Редакция послала меня в Таджикистан, а я был рад возможности побывать на родине и хоть как-то соприкоснуться с ее судьбой в страшное время гражданской войны.

Война вспыхнула около года назад, в конце июня девяносто второго года. Именно *вспыхнула* — клише, несмотря на его банальность, точно передает скорость, с какой разворачивались события. Война назревала исподволь на многотысячных митингах, и вдруг наведенное коллективное безумие в один миг выхлестнулось с душанбинских площадей и хлынуло в Вахшскую и Гиссарскую долины. Трудно описать, что тогда началось. Бились между собой отряды полевых командиров и попутно уничтожали всех «соплеменников» противника. Боевые действия более всего походили на этнические чистки, несмотря на то, что и чистильщики, и жертвы принадлежат к одному этносу. Вырезались целые кишлаки, людей убивали с изуверской изобретательностью — заживо варили, разрубали на части, пробивали ломом грудину и заливали внутрь авиационный керосин...

Из кровавой круговерти выросла фигура народного вождя — вора в законе деда Сангака. По тому, что о нем известно, — фантастическая личность. Шесть судимостей и двадцать три года в заключении. Лет пятнадцать назад, выйдя в очередной раз на свободу, он встал за буфетный прилавок, и всяк уважительно звал его дядей Сашей. Буфетчика из ресторана «Лаззат» знали все в Кулябе. В начале войны о нем узнал весь Таджикистан, а после того, как кулябцы одержали верх, он стал первым человеком в стране.

Меня командировали взять интервью у этого экзотического персонажа, рецидивиста и национального героя в одном лице. Я прилетел в Душанбе, договорился с Сангаком по телефону и приехал в Курган-тюбе. До войны я бывал в этом древнем городе, который не выглядит ни древним, ни восточным. Обычный советский областной центр, зеленый и очень уютный, как большинство городов в Таджикистане. Осенью прошлого, девяносто второго года от уюта не осталось и следа. По описаниям очевидцев, Курган-Тюбе отдаленно напоминал Сталинград: дымящиеся, разрушенные дома, безлюдные улицы, кучи мусора, покосившиеся столбы электропередач, сожженные автомобили... Город несколько раз переходил из рук в руки, и наконец в конце сентября кулябцы из Народного фронта разгромили отряды оппозиции и взяли контроль над Вахшской долиной.

Разрухи я не застал. В центре города мостовые и тротуары были относительно чистыми, а о войне напоминали лишь отдельные, покалеченные войной здания. По улицам брели редкие прохожие с тревожными и озабоченными лицами. У закрытых хлебных магазинов дожидались открытия толпы горожан.

В вестибюле гостиницы за стойкой восседала восточная красавица средних лет, полнотелая, густо набеленная, ярко нарумяненная. Мое удостоверение не произвело на нее впечатления. О знаменитой газете в Курган-Тюбе даже не слыхивали. Я любезничал с красавицей, когда в гостиницу ввалилась команда телевизионщиков. Я узнал одного из них — высокого парня в куртке «сафари». Это был Джахонгир Каримов. Знакомы мы не были, я лишь следил за его военными репортажами в «Новостях» по российскому телевидению.

С улицы донесся выстрел. Стреляли совсем рядом, напротив входа. Восточная красавица даже не дрогнула. Я обернулся. Телевизионщики спокойно возились со своим хозяйством. Джахонгир поймал мой встревоженный взгляд.

— Выхлоп. Грузовик проехал.

Пока я придумывал шутку, чтобы скрыть смущение, он понимающе улыбнулся и кивнул на мой кофр:

— Коллега?

— Вроде того.

Я шагнул к нему и назвался. Подошли два спутника Джахонгира.

— Ахмад, — представился долговязый. Оператор, судя по камере в руках.

— Он наш Би-би-си, — пояснил, ухмыляясь, второй.

И без объяснений было понятно, что он шофер съемочной группы. Я давно заметил (а в Таджикистане это проявляется особенно ярко), что всех водителей окружает особый ореол значительности. Кого бы ни возил шофер, он всегда держится немного в стороне, словно бессознательно подчеркивая свою второстепенность, социальную подчиненность и, вместе с тем, превосходство над пассажирами. Но эти трое были сплоченной, дружной командой.

Мы пожали друг другу руки, Джахонгир спросил:

— Бывал прежде в Таджикистане?

— Приходилось. Сейчас приехал к Сангаку, взять интервью.

— Олег, оказывается, вы наш конкурент, — сказал Би-би-си. — Мы тоже Сангака снимать будем. Завтра утром он в Пяндже с беженцами встречается.

— Мне на сегодня назначил, — сказал я. — На два часа.

— Я подброшу тебя в штаб, — сказал Джахонгир. — Надо туда заглянуть, разведать, что и как. Подожди меня. Только аппаратуру в номер закинем.

Штаб Народного фронта размещался в здании бывшего обкома партии. Мы вошли в просторную приемную, обставленную с провинциальной обкомовской роскошью. Слева — дверь, обитая, как принято, стеганной кожей. Рядом стол, а за ним — молодой человек в аккуратно отглаженном камуфляже. Адьютант или секретарь. Поодаль ждали приема просители: крестьяне окрестных сел, горожане, старухи... Народный фронт — единственная реальная власть в городе.

Мы подошли к столу адъютанта. Он встал и не без энтузиазма, но с достоинством пожал руку Джахонгиру. Репортера здесь хорошо знали. Я протянул редакционное удостоверение. Адьютант внимательно его изучил, вышел из-за стола и скрылся за кожаной дверью. Вскоре вернулся:

— Подождите. Только с Сангаком долго не говорите. Сегодня его японское телевидение снимает.

— Ишь ты! — присвистнул Джахонгир. — Какой канал?

— Не помню, трудное слово. У меня записано.

— Будь другом, глянь.

Адьютант замялся:

— Я тебе потом скажу.

— Государственная тайна?

— Э, секрета нет. Просто, понимаешь... — промямлил адъютант, потом махнул рукой: — А, ладно. Сейчас посмотрю.

Перед ним на столе лежал поверх бумаг короткий автомат. Должно быть, «УЗИ». Адьютант покосился на закрытую дверь Сангакова кабинета и осторожно потянул листок, придавленный ствольной коробкой.

Джахонгир засмеялся:

— Заминирован он у тебя что ли? Убери, неудобно же.

— Файзали оставил, — неловко проговорил адъютант.

Он извлек наконец бумажку и прочитал название телеканала, которое мне ничего не говорило, да и Джахонгиру, кажется, тоже. Мы отошли в сторону.

— Это он о Файзали Саидове? — спросил я.

— Ну да. Слышал о нашем герое?

Кто же о нем не слышал? Файзали — полевой командир, фигура, почти столь же легендарная, как Сангак. Прославился не только своей безумной храбростью, но и жестокостью. Не подчиняется никому, в том числе Сангаку.

Пока мы говорили, из кабинета Сангака вышел невысокий парень в черной робе. Приемная разом затихла, я понял, что это Файзали. Ни на кого не глядя, он подхватил со стола автомат и был уже у выхода, когда снаружи кто-то рванул дверь. В проеме возник плотный человек в камуфляже. Файзали, будто в упор его не видя, шел навстречу как в пустоту...

События разворачивались словно на киноэкране в замедленной съемке. Старуха, стоящая рядом со мной, бормотала, отгоняя беду, ее голос глухо рокотал и тянулся, как в магнитофоне на пониженной скорости:

— Э-э-э, то-о-о-о-в-ба-а-а-а, то-о-о-о-в-ба-а-а-а-а-а...

Под этот растянутый бубнящий аккомпанемент Файзали напрягся в полушаге от соперника, готовясь к столкновению. Человек в камуфляже шагнул к нему, медленно поднимая руки. Файзали, продолжая движение, уперся грудью в человека в камуфляже. Человек в камуфляже крепко обхватил Файзали.

Я успел подумать, что... Но время сорвалось обратно, в нормальную скорость, я услышал, как человек в камуфляже кричит радостно:

— Файзали, брат! Рад тебя видеть! Как дела? Как живешь?! Сколько лет, сколько зим...

Продолжая обнимать Файзали, он ладным, неуловимым движением повернулся вместе с ним вокруг оси в дверном проеме. Теперь человек в камуфляже оказался в приемной, а Файзали в коридоре.

— Рад был тебя встретить, — сказал человек в камуфляже, разжимая объятие. — Будь здоров. Увидимся.

Файзали медленно растянул губы, изображая улыбку:

— Увидимся. Готовься...

Оба не тронулись с места.

— До свидания, — сказал человек в камуфляже.

Файзали не шелохнулся.

Человек в камуфляже резко развернулся и пробормотал негромко:

— Черт с тобой! Хочешь играть, играй в одиночку.

У меня от души отлегло. Однако человек в камуфляже оглядел приемную, остановил взгляд на Джахонгире и закричал зло и весело:

— Ну чего уставился? Давно не видел?!

— Давно, — ответил Джахонгир спокойно.

Человек решительно направился к нему, на ходу поправляя ремень с кобурой. Жест мне очень не понравился. Этот тип полагает, что дал слабину с Файзали, и выбрал жертву, чтоб отыграться. Он встал перед Джахонгиром, глядя ему в глаза. Смелый парень этот тележурналист — не дрогнул, взгляда не опустил. Человек в камуфляже сказал:

— Здорово, дружище.

И с размаху впечатал ладонь в пятерню Джахонгира, вылетевшую навстречу:

— Сто лет не виделись.

— Тысячу, — поправил Джахонгир. — Давно ты у Сангака? Я думал, по-прежнему в Краснознаменной небо коптишь.

— Не слышал, как меня подставили?

— Что стряслось-то?

— Проехали. Не слышал, значит, не слышал.

— А если без загадок?

Человек в камуфляже глянул на меня.

— А-а-а-а, — сказал Джахонгир. — Это Олег. Коллега, репортер.

Мы обменялись рукопожатиями. Человека в камуфляже звали Давроном.

— Так что случилось-то? — спросил Джахонгир.

— Игры начальства...

И тут некто адъютант крикнул:

— Эй, журналист из Москвы! Заходите.

Я протянул руку Даврону:

— Надеюсь, увидимся.

Мне хотелось поближе узнать этого человека, раззадорившего мое любопытство.

— Увидитесь, увидите, — пообещал Джахонгир. — Даврон, приходи вечером в гостиницу. Посидим, поговорим, выпьем, по старой памяти.

— Как покатит. В зависимости от ситуации.

— Ну вот, опять зависимость. Зачем ждать ситуации? Так приходи.

Я направился к Сангакову святилищу. Открывая дверь, обтянутую кожей, я старался угадать, кого увижу. В Душанбе пришлось наслушаться разного. «Народный защитник, — говорили одни. — Мудрый, справедливый. Только на него вся надежда». Другие рассказывали страшные истории о кровожадном монстре: «Этот Сангак даже родного брата убил». Худой, изможденный школьный учитель убеждал меня страстным шепотом: «Мясник, изувер. Мясницким топориком разделяет взятых в плен исламистов...»

Кто он на самом деле?

Человек в просторном обкомовском кабинете не походил ни на бывшего буфетчика, ни на бывшего рецидивиста. Народный вождь словно высечен из каменного монолита. Плотное телосложение. Широкое смуглое лицо. Короткая полуседевая бородка. Слегка глуховатый голос. Низкий тембр. Чистый и грамотный русский язык. Распознать в нем многолетнего сидельца смог бы, вероятно, только чрезвычайно зоркий и знающий наблюдатель. Да и в том я не уверен.

Сангак вышел из-за стола мне навстречу. В моем лице он приветствовал всю прессу России. Пожав руку, уселся в обкомовское кресло. Я расположился напротив — за столом, приставленным перпендикулярно к его полированному прилавку со стопками папок и бумаг, и включил диктофон. Сангак заговорил, не дожидаясь вопросов:

— Я никогда не скрывал и не собираюсь скрывать, что не раз был лишен свободы. Народ знает, за что я находился в заключении, за что был репрессирован мой отец, и не только он, но и почти весь мой род. Я — простой смертный и никогда раньше не занимался политикой. Жизнь заставила меня встать во главе моего народа...

Развивал он тему довольно долго, прервал его телефонный звонок. Сангак поднял палец и указал на диктофон. Я выключил. Сангак взял трубку, послушал, рыкнул сердито:

— Найди его. Пусть ко мне зайдет.

Бросив трубку, проворчал:

— Таких людей давить надо. Как тараканов. Это настоящий враг народа... — и продолжил монолог.

Минут через пять в дверь постучали. Думаю, вошедший был тем самым врагом народа, которого надо давить как таракана. Я с первого взгляда опознал

в нем начальника — по кожным покровам особой выделки. Не грубый кирзач, который пускают на физиономии рядовых граждан, а высококачественный, «командирский» хром. Да и черный костюмец был не из дерюги.

Сангак пригнулся к столу, как лев перед прыжком. Однако враг народа шел с уверенностью человека, привыкшего к вызовам на ковер.

— Ты что задумал?! — грозно спросил Сангак. — В городе хлеба не хватает. Люди голодают.

Враг народа сказал вкрадчиво:

— Дядя Саша... — так он подчеркнул, что обращается не к руководителю, а к человеку: — Дядя Саша, у меня на родине, в Дарвазе, люди не голодают. От голода умирают...

— Хочешь и городских уморить?!

Враг народа выразительно покосился в мою сторону. Сангак сказал:

— Нам поговорить надо.

Я взял диктофон и вышел. В приемной команда японских телевизионщиков готовилась к съемке, возилась с аппаратурой. Джахонгир уже ушел. Даврон беседовал с адъютантом. Я дождался паузы и отбуксировал его в уголок.

— Даврон, что за человек этот... враг народа? Тот, что сейчас у Сангака.

— Партиец какой-то. Был секретарем райкома, вторым или третьим. Где-то в Восе или Московском... Сейчас возле Народного фронта болтается...

— За что его Сангак распекает?

— Без понятия.

Хотелось расспросить о многом, но я решил не гнать коней, вечером будет попоспособнее. Разговор перешел на общие темы: недавние зверства исламистов в окрестностях Курган-Тюбе, возвращение таджикских беженцев из Афганистана... Наконец дверь святилища открылась, враг народа вышел с листком в руке. Бумажку он бережно сложил, спрятал во внутренний карман пиджака и удалился с удовлетворенным видом.

Японцы обрадованно засуетились, но адъютант крикнул:

— Даврон, зайди к Сангаку.

Японцы обиженно загалдели. Еще сильнее, думаю, они оскорбились, когда после Даврона вновь позвали меня. Я спросил Сангака:

— Человек, который к вам заходил, кто он? — имея в виду: «Что он натворил?»

Сангак ответил недовольно:

— Дела. Мы теперь власть. Приходится решать много вопросов.

Понимать следовало так: «Впустили тебя с парадного входа? Знай место и на кухню не лезь». Без перехода он продолжил:

— Во всем, что случилось с нами, я обвиняю Горбачева и всех этих прогневших карьеристов, генералов-адмиралов. Это они довели нас до нынешнего состояния. Из России зараза потихоньку проникла и сюда, в Среднюю Азию...

Трибун и оратор, говорил он долго, и его, видимо, мало волновало, что в приемной томятся японцы. Важнее было через московскую газету высказаться перед российской аудиторией. У меня создалось впечатление, что он говорит то, что думает...

Вечером я взял бутылку водки, припасенную для такого случая, и пошел к телевизионщикам. Водка пришлась ко двору. Ребята установили тумбочку меж двух незастеленных кроватей, выложили полбуханки хлеба, пучок редиски и

зелень. С провизией в Курган-Тюбе не густо... Долговязый телеоператор Би-би-си сразу же взялся опекать меня.

— Олег, садитесь, пожалуйста... Нет-нет, не на койку! В кресло садитесь. Вы гость.

Разлили.

— Не чокаясь, — скомандовал Джахонгир. — За Мирзо.

— Да, за покойного Мирзо, — откликнулся Би-би-си, а мне пояснил: — Тоже с нашей студии... Два дня назад на съемке погиб.

— Двадцать наших ребят погибли.

— Э, война кончилась, — сказал Би-би-си, ставя стакан. — Мы в каких местах побывали — не убили. Теперь, наверное, уже не убьют...

— Меня, кстати, однажды Даврон от смерти спас, — сказал Джахонгир. — Тот парень, с которым я тебя днем познакомил. Ты бы его в Афгане видел, о нем легенды ходили.

— А как он с Файзали лихо управился, — сказал я.

— Вы правильно поняли, — откликнулся Би-би-си. — С Файзали надо как с ядовитой змеей обращаться.

— Правда ли, что его Палачом прозвали?

— Разное говорят, — сказал Джахонгир. — Неоднозначный персонаж. Свою банду называет бригадой, а себя — полковником. Бронетехника: танки, несколько БТРов... Представь, какая сила. Сходу выбивает из поселков противника, ну, а затем — грабежи, мародерство, насилие...

— Жуть, — сказал я. — А Даврон? Знаю, твой приятель, но... Он-то шибко люзует?

Джахонгир засмеялся.

— Слуга царю, отец солдатам. Образцовый советский офицер. Даже слишком образцовый.

— С Афганистана знаком?

— С малолетства, с детского дома. Друзьями не были, он и в ту пору особняком держался. А в Афгане как-то сошлись.

Он на глаз прикинул мой возраст.

— Ты с какого года? С семьдесят пятого? Тогда, конечно, не мог слышать о Чорбогском землетрясении. В газетах не писали, мало кто о нем знает...

Я не стал его разубеждать.

— Даврон из того кишлака, из Чорбога. Ты может, слышал... Да нет, вряд ли — давняя трагедия. Целый кишлак погиб. Землетрясение, сошел сель и накрыл все село. Глина залила дома выше крыш. Спасатели нашли живым только одного мальчишку крохотного. Каким чудом он спасся, никто понять не мог...

— Судьба, — прокомментировал водитель. — Бог спас.

Я сказал:

— Первое марта тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

— Откуда знаешь? — удивился Джахонгир.

— Я в этот день родился.

Родители не раз рассказывали, что за пару дней до моего рождения где-то далеко в горах произошло страшное землетрясение. Отца отправили на спасательные работы, его не было в городе, когда я появился на свет, и даже позже, когда мама со мной, новорожденным, выходила из родильного дома. Чорбогское землетрясение стало нашим семейным событием и вошло в семейное предание. Я много раз слышал папин рассказ про то, как он нашел маленького мальчонку...

В детстве я часто гадал, что с ним случилось, но представить не мог, что когда-нибудь его встречу...

— Сам-то он как объясняет? — спросил я.

— Наверное, вообще не помнит, что произошло. Дети забывают страшное. Я и сам узнал случайно, много лет спустя, когда навещал директора детдома. Хороший был мужик...

Даврона ждали допоздна, и он наконец явился. Подтянутый и ладный, как идеально вычищенный и смазанный автомат Калашникова с патроном в стволе, до поры до времени поставленный на предохранитель. Разумеется, с бутылкой. Наша к тому времени опустела.

— Здравия желаю, господа журналисты. Вольно. Можете сесть...

Его усадили, разлили водку по стаканам.

— За победу.

Поговорили о том о сем, но вскоре Даврон поднялся:

— Простите, мужики, ухожу. Забежал на минуту.

— Еще посидите, — попросил Би-би-си.

— Завтра рано вставать. Еду на Дарваз. Кстати, — повернулся он ко мне, — с тем деятелем, о котором ты спрашивал. С Хушкадамовым. Муку повезет. Сангак меня с ним послал. Проводка и сопровождение колонны.

— А давай-ка я тоже поеду. Возьмешь? — вырвалось вдруг у меня.

Он тоже среагировал мгновенно:

— Нет.

Я даже слегка растерялся, так грубо и резко это прозвучало.

— Даврон, я не шпион. Обычный репортер.

— И что с того? Хули ты там забыл?

— Ну... скажем, утраченное время...

Он усмехнулся:

— Часы потерял? На, возьми мои, — Даврон начал расстегивать браслет.

Я и себе-то толком не мог объяснить, почему меня внезапно потянуло в горы. Может, водка осветила реальность волшебным светом, и что-то такое вдруг почудилось... Словно приоткрылась какая-то дверца, и я сунулся в нее, не рассуждая и толком не зная, зачем. Может, сработала репортерская интуиция. А может, того проще, — до смерти захотелось вновь окунуться в атмосферу горного селения... Запах дыма и навоза. Ледяной ветер и жаркое солнце. Близкие вершины в разреженном воздухе... Совершенно неважно, куда ведет дверца — в волшебный сад или на задний двор крестьянского дома, где нет ничего, кроме сараев, загончика для овец и нужника, занавешенного дырявой мешковиной. Что ж, и такой вариант неплох. А главное, хотелось ближе разглядеть Даврона, мальчика из семейного предания...

Рядом с моим стаканом, в который Би-би-си только что подлил немного водки, легли командирские часы. Я отодвинул их к Даврону.

— Не совсем то. Понимаешь, с Дарвазом у меня многое связано... Хочу побывать в тех местах, коли уж случай подворачивается.

— Гнилое время для туризма, — отрезал Даврон.

Би-би-си пришел мне на подмогу:

— Даврон, возьмите его, пожалуйста.

Уговаривать пришлось долго. В конце концов Даврон достал из кармана камуфляжной робы игральную кость.

— Загадай число.

— Три.

Даврон бросил кость. Выпала тройка.

— Одно условие, — сказал он. — Едешь на свой страх и риск. Я за тебя не отвечаю. Ты сам по себе, я сам по себе.

7. Джоруб

С невеселыми думами я вернулся домой. Встретила меня Дильбар, умыться подала, чистую домашнюю одежду достала, потом расстелила в нашей комнатке дастархон, принесла еду, а сама примостилась у двери. Я сказал:

— Иди, рядом садись. Поешь со мной.

Присела на курпачу. Ей ничего объяснять не надо, сама поняла.

— Сколько? Наших-то сколько осталось?

— Три барана. Джав с Гулом их сюда гонят, вместе с остальными.

Дильбар вздохнула.

— Ничего, как-нибудь проживем. Картошку посадили, горох посадили. Верхнее поле скоро расчистят. Как-нибудь проживем. Говорят, Зухуршо будет народу муку и сахар раздавать.

Я сказал:

— Нельзя брать. Это нечистое. У него нельзя ничего брать.

Дильбар опять вздохнула, ничего не ответила. Потом сказала:

— Хорошо, что наконец-то приехали. В доме опять разлад. Только на вас вся надежда...

Шутя, должно быть, сказала. С Бахшандой только она умеет справляться. Сам не пойму, как. Тихая, молчаливая, безответная, а всегда добивается того, что правильным считает. Ключи от кладовых у Бахшанды, и если кто-то посмотрит со стороны, то скажет: Дильбар — только прислуга. На самом же деле, домом управляет она. Я усмехнулся:

— Неужели есть в мире разлад, который ты не уладишь?

Она улыбнулась застенчиво.

— Ладно, — кивнул я, — расскажи, что случилось.

— Вчера утром Марьям явилась... — начала Дильбар. — Я по лицу поняла, зачем пришла. Что-то особенное появляется, когда женщины за такие дела берутся. Поболтала о том о сем, а потом говорит: «Уважаемая Бахшанда, у нас есть мальчик...»

Бахшанда разгневалась, бровь изогнула. Кто они такие, чтобы к нам свататься! Раньше им бы это и в голову не пришло. Но сейчас, видно, такие времена, что никто уже не помнит, где верх, где низ. Где у кувшина дно, а где горло. Где в бадье масло, а где пахтанье. Но мы-то помним, что масло с водой не смешивается... Вижу, не сдержится она, бросит что-то резкое, неучтивое. Я поспешила опередить:

«Раз такой разговор зашел, надо мать девочки, Веру, тоже позвать».

Бахшанда глянула на меня, как слегой огрела, но при гостье смолчала. Только чай в пиалу плеснула, Марьям подала. С таким почтением, будто мать шахиншаха чествовала. Насмешку свою выражала, возмущение прятала. Но я видела — пронесло. Можно их наедине оставить.

«Извините, — говорю, — сейчас приведу. Сидите, сидите, пожалуйста, не вставайте».

Думаю, Бахшанда успеет остыть и тогда уже вежливо откажет. Чтобы и

Марьям не унижить, и нашу честь грубостью не запятнать. Вошли мы с Верой. Бахшанда чай налила, Вере подала. Достоинно, с уважением — не стала при чужом человеке семейной вражды обнаруживать. Потом Вере что-то по-русски сказала. Я плохо слова поняла, но о смысле догадалась:

«Вера-джон, эта особа спрашивает, не отдадим ли мы твою дочь замуж за ее сына».

Вера пиалу на дастархон поставила, головой покачала и сказала:

«Нет».

Мне очень неловко за нее стало. Разве можно так грубо отвечать?! Мне Веру очень жаль стало. Неужели никто никогда ее хорошим манерам не учил?

Бахшанда ей опять что-то сказала. Наверное, за невежливость укорила. А Вера опять головой покачала и опять сказала:

«Нет».

Стала я прикидывать, как, приличий не нарушая, Веру из мехмонхоны вызвать, через Зарину объяснить, чтоб просто сидела бы и молчала, а мы с Бахшандой вежливо и достойно Марьям откажем.

Не успела. Бахшанда из терпения вышла, взорвалась. Сами знаете, когда она в ярость приходит, обо всем забывает. Никого не щадит, ни себя, ни других. Что угодно может сказать, что угодно сделать. Только вдруг она сделалась спокойна и холодна как лед. К Марьям с преувеличенной любезностью обратилась:

«Уважаемая Марьям, вы нас извините. Наша невестка еще не очень хорошо по-таджикски понимает. Мы с ней посоветались, обсудили и вместе решили, что для нашей девочки лучшего жениха, чем ваш сын, трудно найти».

Марьям все, конечно, поняла, но виду не подала. Цели-то своей достигла. А уж как мы между собой спор уладим, ей безразлично было.

«Слава Богу! — воскликнула. — А девочку вашу будем холить и лелеять как цветок».

Вера на меня беспомощно посмотрела.

«Что она сказала?»

Я ей незаметно знаком показала: молчи, потом поговорим. А Марьям радостный тон на смиренный сменила:

«Одна беда — мы большой калинг заплатить не в силах».

Но Бахшанда даже дом бы свой спалила, лишь бы Веру побольней обжечь.

«Это не беда, — сказала. — Мы много не запросим. Сколько сумеете, дадите».

Я про себя ахнула: как это она, женщина, на такое осмелилась! Сама важный вопрос без деда решила. Ваш отец должен был калинг назначить. Как теперь отказаться? Как слово назад забрать?

— Ничего, — я сказал. — Уверен, ты что-нибудь придумаешь. Ты уж постарайся.

Дильбар улыбнулась:

— Вы-то не хотите, чтобы девочка так скоро ушла из дома...

Не хочу. Бог не дал мне своих детей, а когда сын и дочь покойного брата поселились в нашем доме, то стали словно моими собственными.

8. Карим Тыква

У хлеба — вкус Зарины. У похлебки тоже. Сажусь похлебку есть, Зарину вспоминаю. Чай пью, а Зарина будто рядом. У чая — аромат, как у Зарины. Утром в тени продрогну, от счастья дрожь берет — скоро на Зарине женюсь. Днем на солнышке согреюсь, в жар бросает — Зарину обнимать, целовать буду... Коровью лепешку на земле увижу — радуюсь, вспоминаю: Зарина в нашем доме корову доить будет. Автомат чищу, запах масла напоминает: «Долго ждать придется». Потом думаю: «За делом время быстрее пройдет». Три раза автомат разбираю-собираю. Пусть Зарина узнает, какой я умелый, ловкий... Куда ни иду — к Зарине иду. Все дороги к ней ведут. В любую сторону пойду, обязательно к Зарине приду, но очень долго идти. Печалюсь: «Почему так далеко?»

Утром Даврон говорит: «В Талхак поедешь. Ты местный, кишлак знаешь, понадобится — за гида сойдешь».

Кто такой гид, не знаю, но радуюсь. Наконец с Зариной встречу. Едем. Шуки-шутник рядом сидит. Спрашиваю:

— У тебя жена есть?

По-хорошему спрашиваю. Он:

— Зачем интересуешься? — спрашивает. — Не сам ли жениться задумал?

Нет, братишка, не женюсь.

— Почему?

— Очень опасно, — Шуки говорит. — Жены разные попадают.

— У меня хорошая будет, — говорю.

— Откуда знаешь? — говорит. — В нашем кишлаке одна девочка была. Совсем некрасивая, зато сильная. Как бык. Отец-мать откуда-то из других мест к нам переселились. Наш сосед эту девочку своему сыну в жены взял. А сын — Пустак его звали — худой был, слабосильный... Сосед радовался: «Хорошую сноху нашел. Вместо Пустака на поле отправлю». Хай, ладно. После свадьбы неделя прошла, мимо кладбища иду, на камне кто-то сидит, худой, страшный. Голова опущена, лица не видно. Я испугался, подумал — злой дух, оджина, хотел назад вернуться. Оджина голову поднял, говорит: «А, это ты, Шуки...» Смотрю: Пустак. Я подошел, спросил: «Что такое, брат? Заболел? Наверное, все силы на жену истратил?» Он, бедный, чуть не заплакал: «Э, жена! Я б могилу отца этой жены сжег». Я удивился, спросил: «Не любит? Играть не хочет?» Пустак: «Еще хуже — хочет. Играет. Любит, очень сильно любит», — сказал. «Хорошо тебе, — я сказал. — Почему не радуешься?» Он заплакал: «Задний проход мне как плугом распахала». Мне смешно стало, я Пустака обижать не хотел, смех скрыл, виду не подал. Спросил: «Что же, у твоей супруги и плуг имеется?» Ответил: «Имеется, пребоьшой». Я спросил: «А женское что-нибудь есть?» Пустак слезы вытер, сказал: «Женское тоже есть, но она до него не допускает». Эта девочка не девочка, а хунсо оказалась.

Ребята гогочут, ругаются, на пол плюют...

— Хунсо кто такой? — спрашиваю.

— Универсал, — Шуки объясняет. — И поршнем, и цилиндром укомплектован. Не слышал никогда?

— Нет, — говорю, — не слышал.

— Э, деревня, — Шуки укоряет. — Знать надо, или тоже впросак попадешь. Такие есть, которые разом и мужик, и баба. Потому их хунсо называют...

Короче, дальше как было. «Никому не говори, — Пустак попросил. — Стыдно. Только тебе, другу, рассказал». Сосед все равно как-то узнал, рассердился, палку схватил, к отцу хунсо прибежал: «Девочка ваша кер имеет, оказалось! Зачем нас опозорили? Почему изъян скрыли? Почему обманули? Калинг назад отдавайте». Этот приезжий мужик спорить стал: «Не было обмана. Изъяна тоже нет. У нашей Гулджахон все, что девочке иметь надо, все есть. А если что-нибудь дополнительное нашлось, то это разве вам в убыток? Наоборот, нас благодарите, что цену не надбавили, а невесту с походом отдали». Наглый, да? Сосед приезжего мужика палкой побил, хунсо из дома прогнал. Люди смеялись: «Абдуманон, зачем прогнал? У тебя дочери есть, одну девочку хунсо в жены отдай, на свадьбу деньги тратить не придется. Впридачу к снохе зятя получишь».

— Калинг отдали? — Рембо спрашивает.

Шухи сердится:

— Тебе какое дело? Ты что ли платил? Э, глупые вопросы не задавай, слушай... Потом время прошло, я один раз ночью домой возвращался, на нашей улице человека встретил. Он мимо пройти хотел, я узнал, окликнул: «Эй, Пустак, куда?» Он: «Свежим воздухом дышим, гуляем», — сказал, убежать попытался. Я за руку удержал: «Узелок кому несешь?» Он туда-сюда, крутил, потом признался: «Жену проведать иду». Я удивился: «Э, ты же развелся». Пустак что ответил? «Отец когда выгонял, я даже развод дать не успел, "се талок" не сказал. Выходит, если по закону, то все-таки жена. А мы хороший калинг дали — корову, баранов, шара-бара... Они назад не отдают. Не пропадать же добру зазря».

Ребята хохочут, Рембо говорит:

— Тыква, ты понял? Сначала между ног пощупай, потом женись.

Ребята смеются:

— Нет, Тыкве хунсо не страшен. У него теперь такой кер, что с любым хунсо сладит.

Они меня после того дразнить стали, как я совету Шокира поверил, свой кер травой талхуган с курдючным салом натер... Оха!.. Распух, притронуться больно. Никому не рассказал, но как-то прознали. Ребята смотреть приходили.

— Эй, Тыква, покажи.

Я не показывал — грех показывать, — но они все равно смеялись. Другое прозвище мне дали — Кери-хар, Ослиный хер. Так и звали. Даврон услышал, сказал: «Если кто этого бойца еще раз "кери-хар" назовет, сильно пожалеет». Испугались, перестали. Потом опухоль ушла, кер, каким прежде был, таким и остался, а ребята до сих пор насмеваются.

В Талхак приезжаем, возле нижнего моста останавливаемся, к мечети поднимаемся. На площади народа совсем мало. Даврон приказывает: «Здесь стоять. По кишлаку не шастать. Население не обижать. Тронете кого — голову сниму». Я думаю: «Жаль, что такой приказ. Пока народ собирается, я бы сбежать успел».

Потом этот шакал приходит. Зову:

— Эй, Шокир!

Подходить к нему не хочу. Хоть он и старший, приказываю:

— Сюда иди!

Думаю: сейчас как-нибудь его перед ребятами опозорю. За нос дерну или еще как-нибудь. Он к нам ковыляет. Мы, пять наших ребят, кружком стоим. Шокир со всеми за руку здоровается.

— А, Карим, как дела, солдат? Кер вырос?

Шухи-шутник говорит:

— Тыква теперь его в казарме оставляет. Такой большой стал, что в машину не влезает.

— Ничего, — Шокир ухмыляется, — куда надо влезет... А вот вы, ребята, скажите, — на грузовики с мешками кивает, — сколько муки на одного человека положено?

Мы не знаем, нам не сказали, но Шухи-шутник серьезное лицо делает:

— Дадут, сколько кто на плечи поднимет. Вы, муаллим, я вижу, человек очень сильный. Так что вам и три мешка достанутся...

Ребята исподтишка перемигиваются — хорошо Шухи слабосильного калеку поддел, а я стою, будто рот толчком набил. Не получилось. Разговор так повернулся, что теперь Шокира ни с того ни с сего за нос не дернешь. Может, еще что-нибудь придумаю... В это время за рекой, на нашей стороне, в нашем гузаре — выстрелы. Автоматные. Та-та-та. Та-та.

Даврон кричит, командует:

— Гург, разберись! Возьми людей. Карима прихвати, он местный. И смотри: действуй осторожно! Ты понял?!

— Яволь! — Гург-волк отвечает, меня спрашивает: — Тыква, присек, откуда выстрелы?

— На этой стороне стреляли, — говорю.

— Ты че, пацан, глухой? — Гург-волк сердится. — Почему на «этой»? За речкой шмаляли, я слышал.

Объяснить хочу:

— Там, за рекой, — наша сторона, на которой мы живем. Потому она и называется «эта». Здесь же — где ты сейчас стоишь, где мечеть, — здесь люди с другой стороны живут. Потому ее и называем — «та» сторона.

Не понимает.

— Мудаки талхакские. Как здесь может быть та сторона, если мы на ней находимся?

Еще раз объясняю:

— Это которые здесь живут называют свою сторону этой, а нашу — той. Мы-то про здешнюю всегда говорим «та сторона».

Гург-волк сердится, железные зубы скалит:

— Ты, кери-хар, голову мне не морочь! Та, эта — какая разница?! Вперед, пацан! Шевели коленями. Беги, дорогу показывай.

Бежим. По мосту проносимся. Наверх, к нашему гузару, подниматься начинаем.

— Где искать?! — Гург сердится. — Ни хрена тут у вас не поймешь...

— Эй, смотри, Рембо идет! — Шухи кричит.

Действительно, навстречу по улице Рембо спускается.

— Брат-джон, что такое? — Гург спрашивает.

— Э, биять... — Рембо говорит, на землю сплевывает.

— Покажи, — Гург приказывает.

Идем, мне страшно. Не к нашему ли дому ведет? Прошу: «Дедушка Абдукарим, отведите беду. Сделайте так, чтобы наши не пострадали». Сам думаю, если что плохое случилось, поздно уже просить. Раньше надо было умолять. Но заранее как попросишь? Никогда не знаешь, что будет. Конечно, мы наших дедов-духов всегда почитали, никогда не забывали, всегда им уважение оказывали, вчером накануне пятницы вместе собирались — для них

молитвы читали, их имена вспоминали... Мы повода не давали, чтоб на нас гневаться. Неужели нас оставят, в помощи откажут?

Рембо ребят к дому Салима, соседа, что ниже нас живет, приводит. Когда подходим, сразу замечаю — там, выше Салимова двора, на крыше нашего дома отец стоит. Будто камень с души падает. Я радуюсь. Спасибо дедам-духам! Богу тоже спасибо... Потом через калитку к Салиму во двор входим, мне опять страшно становится. Во дворе убитые Салим и Зухро на земле лежат.

Рембо говорит:

— Эти горцы совсем дикие. Как звери. Никакой культуры у них нет. Их женщины не понимают, как с мужчиной себя вести.

Гург-волк говорит:

— Кончай философию. Скажи, что делать будешь?

Рембо говорит:

— Раз баба не дала, ослицу поймаю.

Ребята смеются. Шухи-шутник говорит:

— Тебе только ослиц и охаживать.

Рембо злится:

— Ослицу для тебя приведу. Себе другую бабу найду.

Ребята опять смеются. Шухи опять говорит:

— Даврон шутить не любит. Приказал никого не обижать.

— Э, Даврон кто такой?! — Рембо говорит. — Что он сделает?

Потом говорит:

— Я сам Даврон.

Говорит:

— Обиженных нет. Был один, — на мертвого Салима, нашего соседа, кивает, — уже не обижается.

Ребята смеются.

— Ладно, — Рембо говорит, — что-нибудь придумаем. Скажу, он первым начал стрелять — я защищался.

— Где автомат лишний возьмешь?

— Пистолет ему положим.

— Выстрелы все слышали. Пистолетных не было. Лучше кетмень подложить. Ну, а бабенка?

— Она на меня с ножом бросилась.

— А где нож? — Хасан-Шухер спрашивает.

Рембо на веранду-кухню идет — там большой нож, каким овощи крошат, берет.

— Вот нож, — говорит и рядом с мертвой Зухро кладет.

Потом Шухи-шутник говорит:

— Там на крыше какой-то мужик стоит... На нас смотрит.

Все ребята разом головы вверх поднимают.

— Эх, биять! — Рембо ругается.

Гург ко мне поворачивается:

— Кто такой?

— Мой отец.

— Скажи, пусть сюда придет.

Страшно мне. Очень страшно. Ничего придумать не могу. Спрашиваю:

— Зачем?

— Э-э, не бойся, пацан. Просто поговорить... Что стоишь, мнешься? Давай, давай, кричи ему.

Я кричу:

— Отец, пожалуйста, сюда спуститесь.

Отец с крыши спускается, из нашего двора выходит, к Салиму во двор калитку распахивает. Лицо — как мука белое. Никогда я отца таким бледным не видел. Но шагом твердым идет.

Гург-волк ему обе руки с уважением протягивает.

— А, отец, ас-салому... Как ваше здоровье? Как семья?

У отца руки дрожат, но как должно здороваются. С достоинством.

Гург говорит — вежливо говорит, уважительно:

— Отец, вы сами видели, что произошло... Вот этот человек, Рембо, пить захотел, во двор к вашим соседям зашел, воды попросил. А эти ваши соседи, наверное, что-нибудь плохое подумали и на Рембо с ножом, с кетменем бросились, убить хотели. Рембо что было делать? Рембо защищался. Свою жизнь спасал. Пришлось их застрелить... Таких людей убивать надо. Хорошо, что вы свидетелем были. Все своими глазами видели. Можете всем сказать, что Рембо не виноват. Соседи ваши виноваты...

Отец говорит:

— Я другое видел. Этот ваш человек, Рембо...

Гург-волк сердится, железные зубы скалит:

— Вы, отец, наверное, плохо разглядели. Сосед на Рембо первым напал.

Шухи-шутник смеется:

— Покойник-бедняга, наверное, кетмень где-то по дороге потерял.

— Шухи, найди, — Гург приказывает.

— Рембо пусть ищет. Он здесь все знает.

Гург сердится:

— Э, падарналат, не огрызайся. Иди выполняй!

Шухи на задний двор кетмень искать уходит. Гург-волк отцу говорит:

— Уважаемый, вас, оказывается, еще учить надо. Рядом с такими злыми соседями живете, наверное, сами от них заразились. Разве не знаете пословицу: «С дурным поведешься — дурным станешь, с добрым — сам расцветешь»? Зачем плохих людей выгораживаете? Надо всегда честно поступать. Надо правду говорить! Если неправду скажете... Ваш сын у нас служит. Сына пожалейте. Вот тут рядом его товарищи стоят. Если вы обманывать станете, ему перед ними стыдно за вас будет. Как потом с товарищами жить? Не сможет он жить...

Отец стоит, молчит. Вниз, на землю смотрит, даже на меня глаза не поднимает. Я будто на две половины разрываюсь: отцу помочь хочу — что сделать, что сказать, не знаю.

Гург-волк отцу:

— Ну, все! — говорит. — Короче, мужик, ты понял. Здесь стой. Командир придет, правду скажешь. Ребята подтвердят.

Отец, голову опустив, молчит. Даврон приходит. Спрашивает:

— Кто?

Ребята молчат. Отец тоже молчит. Гург говорит:

— Даврон, мы пришли, они уже мертвые были. Вот этот мужик, — на отца указывает, — все видел. Мужик говорит, Рембо во двор зашел, воды попросить, а эти, — на мертвых Зухро и Салима указывает, — точно, что-нибудь нехорошее подумали и на него с ножом, с кетменем набросились... Мужик говорит, Рембо убивать не хотел. Рембо жизнь свою защищал...

Даврон отца спрашивает:

— Так было?

Отец головы не поднимает.

— Да. Так было, — с трудом, едва слышно выговаривает.

Даврон:

— Пон-я-я-я-я-тно, — говорит.

В это время Шухи-шутник с заднего двора выскакивает, кетмень тащит, ухмыляется.

— Вот оружие, — кричит, — с которым убитый мужик на Рембо напал!

Ребята смеются. Рембо:

— Э, Шухи, пидарас! Я твою маму таскал! — кричит. — Даврон, пусть меня Бог убьет, я просто воды попросить зашел. Ничего плохого не хотел. Так получилось...

Даврон кивает.

— Ладно, — говорит. — Бывает... Автомат ему отдай, — говорит, на Шухи кивает.

Пистолет на ремне поправляет, говорит:

— Иди за мной.

Уходит. Ребята за ним следом со двора выходят. Я чуть не плачу, отцу говорю:

— Дадо...

Он головы не поднимает.

— Уходи, Карим... Здесь не задерживайся... Иди...

9. Даврон

Пятнадцать тридцать четыре. Вывожу Рембо на край здешней площади.

Площадь — небольшая продолговатая терраса на окраине кишлака. С северо-восточной, длинной стороны — крутой обрыв к реке. С юго-запада — отвесный горный склон. Почти вертикальная стена. У подножия стены — мечеть из грубого камня.

Троим бойцам приказываю:

— Вы — туда.

То есть к северной стене мечети, где кучкуется охрана Зухура, десять человек. Охранять пока не от кого. Далее — поглядим. Сейчас Зухур таскает «гвардию» с собой ради престижа.

Останавливаю Рембо:

— Стой здесь.

Гургу:

— Останешься с ним.

Перед началом митинга поставлю обоих перед строем и прикажу Гургу расстрелять Рембо. За нарушение приказа. Пусть выбирает: или завязывает мутить воду, или — пуля... Пора кончать с бардаком в отряде, блатной контингент нагнет с каждым днем. Не факт, но Гург, возможно, откажется. Корчить из себя пахана не позволю. Охотников уложить его заодно с Рембо — немало. Если прогнется и расстреляет, его авторитету среди блатных конец. Даст малый повод, ликвидирую. Без Гурга духи притихнут как зайчики.

Зухур стоит у северо-восточного угла мечети. Красуется при полном параде: в камуфляже и со змеей. Позади — амбалы-телохранители, Гафур и Занбур. У стенки жмутся местные власти: раис и какой-то старик. Гадо, младший Зухуров братец, — как всегда, в стороне. Слева. Демонстрирует, что он сам по себе.

Подхожу к Зухуру, информирую:
— Соберется народ — расстреляю. Вон того, в бронежилетке.
Он, недовольно:
— Этого?! Не надо. Зачем? Солдат и так мало. Зачем людей тратить?
Объясняю:
— Нарушил приказ. Убил двоих местных.
Он, важно:
— Не спеши, Даврон. Разобраться надо.
Кричит Рембо:
— Иди сюда!
Рембо подходит по-блатному развязно.
— Что такое? — спрашивает Зухур. — Что натворил?
Рембо усмехается нагло:
— Ничего не натворил. Все нормально. Пусть Даврон скажет. Он там был...
Разворачиваюсь, засаживаю ему в рыло. Он:
— За что?!
— За все. Это аванс. Распишись. А пулю получишь... — сверяюсь с часами, — ровно через двадцать минут. В пятнадцать пятьдесят шесть.
Рембо вопит:
— Почему через двадцать? Почему пулю?! Я в тот двор просто так зашел.
Зухур, скажи ему, да...
Зухур:
— Зачем в людей стрелял? Если дехкан убивать, кто работать будет?
— Кого я убил?! Не убивал я никого!
— Даврон сказал, ты двоих застрелил.
— Они первыми напали. Что делать?! Ждать, пока меня кончат? Ребят спроси. Все знают, как было...
Зухур задумывается. Я не вмешиваюсь. Хочет в судью играть, пусть поиграет. В любом случае, Рембо — не жилец.
— Ладно, на первый раз прощаю, — решает Зухур. — Иди. Провинишься — больше не прощу.
Рембо отходит. По направлению к мечети. Я ему вслед:
— Не туда! Стой с Гургом, в стороне.
— Понимаешь, — говорит Зухур, — это политика. Расстреляем его — наши люди обидятся...
— Хочешь сказать, твои люди...
— Почему так говоришь? Никаких «твоих»-«моих» нет. Все одинаковые.
Врет, как обычно. Сам упросил меня взять в отряд его личную «гвардию». Я поставил условие: будут подчиняться мне как прочие бойцы. Позже обнаружилось, что половина его гвардейцев — блатные. Мне плевать, кто они. Но соблюдать дисциплину заставлю. Говорю спокойно, без нажима:
— Значит, так, Зухур. Твои дела — это твои дела. Но в командование отрядом не лезь. За меня не решай. Будет, как я сказал...
Он вскидывается:
— В этом ущелье я хозяин.
Соглашаюсь:
— Хорошо, бери командование на себя. Следи только, чтоб твои басмачи друг друга не сожрали. И тебя заодно...
Он, недоверчиво:
— А ты?

— Заберу своих бойцов и вернусь в Курган.

— Э, нет! Сангак тебе приказал меня охранять.

— Не было такого приказа. Сангак не приказывал. Сангак попросил меня охранять и поддерживать порядок. Заметь: попросил. И еще: охранять, но не тебя лично...

На самом деле, вернуться в Курган-тюбе я не могу, потому что дал Сангаку обещание оставаться здесь, пока он сам меня не отзовет. Зухуру это знать ни к чему, но сегодня вечером я кое-что ему объясню. Практически. Он меня достал. Рембо — последняя капля. Таких, как Зухур, надо учить. На людях — нельзя, а наедине, в укромном уголке, разобью морду в кровь. И так теперь будет всегда. Днем рыпнулся — вечером урок.

Он пытается маневрировать:

— Даврон, я шутил...

— Я не шучу.

Зухур гладит змея. Размышляет. И дает задний ход:

— Знаешь, как я тебя уважаю. Пусть будет, как ты сказал. Ты военный человек, командир...

Улыбается лживо:

— Нам враждовать нельзя. Надо консенсуса добиваться. Я, чтобы тебе приятное сделать, готов сам его расстрелять...

Консенсус так консенсус. До вечера.

— Ладно, — говорю, — мир и дружба. А расстрелять поручи Гургу.

Он опять заводится с полоборота. Зухур любой глагол в повелительном наклонении воспринимает как приказание. Приказов не терпит. Для такой важной персоны это оскорбление.

— Учить не надо! Сказал — сделаю.

Козел упертый, весь сценарий мне ломает! Надо не только Рембо ликвидировать, но и Гурга к расстрелу припахать. Но ему не объяснишь. Придется как с ребенком...

— Какой тебе смысл марать руки?

— Сам рас-стре-ля-ю...

На морде — мечтательное выражение. Нашел новую игрушку. Новый способ ловить кайф от власти. Крови захотелось. Царь-дракон, мать его... Спрашиваю:

— Ты убивал когда-нибудь человека? Это не так просто, как думаешь.

Он, оскорбленно:

— Ты меня еще не знаешь...

Уперся. Теперь затаит обиду и постарается отыграться. Плевать. На худой конец и Зухур в палачи сгодится. Сверяюсь с часами. Шестнадцать ноль-ноль. Пора начинать.

Местное население выстроилось на противоположном краю площадки. Вдоль обрыва к реке. Впереди — мужчины. Женщины сгрудились позади. Слева — каменная глыба высотой метра три. На глыбе — стайка девушек.

Глаза помимо воли находят среди них ту самую. Зарину. Девочка накрепко засела у меня в мозгу. С того момента, когда три дня назад, двадцать четвертого марта, на дороге около поворота на Талхак я увидел, как Шухер силком затаскивает в «скорую» какую-то девушку со светлыми волосами. У меня в черепе точно граната взорвалась. Это была Надя! Первая мысль: «Вернулась». Но мертвые не возвращаются. Надя умерла девять лет и семь месяцев назад. Предохранительные клапаны в мозгу начали срываться один за другим. Рухнули

защитные заслонки, что-то опасно накренилось, еще несколько миллиметров — опрокинется к чертовой матери, и я свалюсь в полную шизу... Спас навык. Остановил, выровнял, захлопнул, наглухо задвинул запоры. Надо разобраться, что происходит. Сказал спокойно Ахадову: «Тормози». Подошел. Факт, это была не Надя. Девушка, до сумасшествия на нее похожая. Зеркальное отражение. С поправкой на то, что зеркало еле заметно исказило оригинал. У этой другое выражение лица. Глаза смотрят по-другому. Но издали от Нади не отличить... Проблема: как поступить с Рембо и Шухером? Оба нарушили мой приказ не притеснять местных. Руки чесались ликвидировать их на месте. Я сдержался. Слишком опасно. Фактически сволочи были бы наказаны не за посягательство на именно эту конкретную девушку, Надину копию, а за нарушение дисциплины. Однако подключились мои личные мотивы, а потому невозможно предугадать, какие последствия грозят самой девушке. Я побоялся рисковать. Выдал всей троице — третьим был парень из местных — последнее предупреждение. Нарушил свой принцип карать немедленно, но по-иному не мог. В итоге Рембо обнаглел, вторично пошел на нарушение. На этот раз получит по полной.

Приказываю себе не смотреть на Зарину, но глаза то и дело возвращаются к ней.

— Нравится девчонка?

Зухур. Смотрит хитро: застучал, мол. Отбрехиваюсь:

— Тебе что, повсюду бабы мерещатся?

— Меня не обманешь. Ты на ту, беленькую, глаз положил.

— Вот я и говорю: кто о чем, а ты о бабах.

Поглаживает змея, величественно:

— Ты меня еще не знаешь. Я все вижу. Та девушка, на камне...

— Ну, стоит девушка... И что?

— Хочу тебе ее подарить. Приятное сделать.

— Зухур, уймись. Женский контингент меня не интересует.

— Э-э-э, погляди, какая... Ромашка.

— Обойдусь без цветов.

Вздыхает притворно:

— Жаль. От подарка отказываешься...

— Завязывай. С Рембо пора решать.

Он приосанивается, гладит змея:

— Чего волнуешься? Сейчас решу.

Рембо, скот, опять нарушил приказ. Отошел к мечети. К зухуровой охране. Забрал у Шуки свой автомат. Гург там же. Чешут языки с бойцами. Факт, обсуждают, как Рембо обул командира. Идиот Зухур! Нельзя давать подчиненным такие поводы.

— Эй, ты! Иди сюда, — кричит Зухур.

Рембо оглядывается, бросает какую-то фразу — бойцы хохочут — отчаливает. Неспешно, вразвалку. Строит из себя киношного спецназовца в бронежилете на голое тело. Насмотрелся видео. Броник носит, как Зухур змею, — из пижонства. Приказываю:

— Оставь оружие.

Рембо перебрасывает автомат Гургу. Подваливает.

— Че такое?

Зухур резко берет его в оборот:

— Приказ почему не слушаешь?

— Какой приказ? Ты че, Зухур?!

- Тебе где велено было стоять? Ты где встал?
- Э, какая разница...
- Помнишь, я сказал: еще раз нарушишь — больше не прошу. Рембо озирается. Бросает косяка на своих. Наглеет, с ухмылкой:
- Меня уже Бог простил... Вон у ребят спроси.
- Зухуршо звереет:
- Я здесь Бог! А ты кто?! Отребье безродное! Как со мной говоришь? Кто тебе право дал?!.. Эй, Гафур, туда его отведи, — машет на место метрах в пяти перед собой, — на колени поставь.
- Рембо отскакивает от Гафура.
- Отвали, обезьян! Зухур, бля буду, прости. Я же не всерьез. Че, пошутить нельзя?!
- Гафур ловит его за руку, тащит, куда приказано. Поворачивает лицом к Зухуру. Рембо хорохорится:
- Ну че? Может, еще раком встать?
- Гафур хватает его за плечи, силой опускает на колени. Рембо вскакивает:
- Зухур! Скажи обезьяну, чтоб не борзел!
- Гафур бьет его в морду. Рембо падает. Возится, поднимаясь на ноги. Бледный, с разбитой харей кричит:
- Гург, братан, скажи ему! Че он творит?!
- Гург воровской развинченной походочкой подгребает к Зухуру.
- Зухур, что за канкаты? Хорошего человека на карачки ставят. Рожу ему чистят...
- Твоя ли забота?
- Моя не моя, а люди в непонятках, беспокоятся.
- Пусть не беспокоятся. Лучше пусть готовятся по нему джанозу читать.
- Гург скалит стальные клыки:
- Каюм узнает, ему не понравится...
- С Каюмом сам разберусь.
- Ребятам тоже не понравится.
- А с ними ты разберись. Понял?!
- Сильно Зухура заклинило, факт. Аж на самого Гурга голос повысил... И что там еще за Каюм? Впервые о нем слышу.
- Гург в ответ, задушевым, хриплым шепотом:
- Я понял, а ты-то въезжаешь? Кто тебя защищать будет? Думаешь, Даврон? Это мы защищаем. Сам знаешь, в горах опасно...
- Угрожаешь?
- Гург не отвечает. Отваливает. Зухур с беспокойством смотрит вслед. Говорю:
- Зухур, я прикажу: он и расстреляет.
- Я сам!
- Сам так сам, пускай тешится. Советую:
- Скажи Гафуру, чтоб снял с Рембо бронежилет.
- Зачем? Голова есть...
- На твоём месте я бы целил наверняка. В грудь.
- Попаду куда надо.
- Комедия! Неуклюже тащит пистолет из кобуры. Стрелял он не часто — это факт. Если вообще когда-нибудь стрелял.
- Зухур, зайди к нему со стороны. Слева или справа...
- Зачем?

— Если отсюда, то на линии выстрела — люди. Мало ли чего...

— Неважно. Я попаду.

Опять уперся. Иду на хитрость:

— Кто б сомневался! Попадешь. Но так тебя Рембо заслонит. А станешь сбоку — целая панорама. Как в кино. На широком экране.

Хлопает меня по спине.

— Молодец! Хорошо предложил. Слушай, а если пуля в жилет угодит — пробьет?

— Покажи пистолет.

Протягивает какой-то изукрашенный дамский пистолетик. Пожимаю плечами:

— Смотря с какой дистанции стрелять. А тебе-то что?

— Интересно.

— По ГОСТу броник должен останавливать пулю из макарова с пяти метров. Знал я двух орлов, которые затеяли дуэль в жилетах. Не знаю, из лихости или на спор — проверить, пробьет или не пробьет. Стрелялись метров с двадцати. Один попал. Пуля бронепластину не пробила.

— Двадцать метров... Далеко.

— У того орла, что принял пулю, были сломаны четыре ребра. И легкие ему разможило. Умер на третьи сутки... Но то был пээм. Насчет твоей пукалки ничего сказать не могу. Пуля легкая, скорость маленькая... Вернее всего, броник не пробьет и ребра не сломает.

— Пукалка! Слова выбирай.

— Ладно: твое благородное оружие. А ты что, хочешь в броник выстрелить?

— Нет! Зачем?!

— В любом случае, бей с близкой дистанции. Метров с двух. Еще лучше — в упор.

— Сам знаю.

Я, безразлично, в пустоту:

— Некоторые еще оружие с предохранителя снимают...

— Где?! Покажи, как.

Показываю. Он поглаживает змея, шепчет: «бисмилло».

— Гафур, опусти его.

Телохранитель с силой давит Рембо на плечи. Рембо бухается на колени. Вскрикивает от боли. Разбил коленные чашечки, факт. Не беда, ему теперь не в футбол играть.

Зухур подходит, встает рядом с Рембо, лицом к толпе.

— Люди Талхака! Я приехал не затем, чтобы вас притеснять. Не затем, чтобы нарушать обычаи. Я ваш земляк. Всех вас знаю. А вы меня знаете...

Из толпы кричат:

— Знаем! Гиёза зачем убил?!

— Пастбище почему отнял? Все овцы погибли.

— Этих двух несчастных почему застрелили?!

Зухур:

— Да, товарищи, произошел такой инцидент. Сейчас решим этот вопрос... Кладет на макушку Рембо руку. Левую. В правой — пистолет.

— Вот этот человек... Его обвиняют, говорят: он убил ваших односельчан. Он говорит, что защищался. Говорит, ваши люди на него напали. Правда или не правда, пусть Бог судит. Если этот человек виновен в смерти тех несчастных, он погибнет. Если не виновен, пуля не причинит ему вреда...

Поня-я-я-ятно. Решил всех ублажить — и блатных, и местных. Затем и расспрашивал про бронежилет. Напугали-таки его духи. Ладно, пусть целит куда хочет. Без разницы. В любом случае выйдет по-моему. Зухур схитрит, так Гург дострелит.

Зухур отходит на пять метров вправо. Гафур разворачивает Рембо к нему грудью. Отходит в сторону. Зухур топчется на месте. Шаг назад, вперед. Сначала не врубаюсь, к чему эти танцы с бубном. Потом соображаю: он сам еще не знает, как поступит. И крови хочется, и боязно. Да и вообще страшно: Рембо смотрит в упор. Трудно убить человека, глядя ему в глаза.

Зухур наконец решается. Становится в стойку. Вытягивает руку с пистолетом. Застывает. Позирует. Растягивает удовольствие. Змей изгибается, кладет голову ему на предплечье. Плакат! Зухур целится. Судя по углу, в грудь. Значит, пошел у духов на поводу. Струсил.

Выстрел.

Отдача подбрасывает ствол вверх. У Рембо выносит затылок. Порядок! Гург может отдыхать. До поры. Фиксирую время. Шестнадцать пятнадцать.

Басмачи гомонят. Наблюдаю. Нет, не посмеют. Однако подзываю своего бойца:

— Одил, сюда! Что там у вас?

— Блатные обижаются...

— Знаешь, что делать в случае чего?

— Знаю.

— Вас там семеро. Ты — за главного. Если что — не раздумывай. Командуй. Бейте на поражение.

Ко мне подходит Зухур. Тычет стволом в кобуру, не попадает, руки трясутся. Реакция. Адреналин.

— Ты видел?!

Глаза светятся как у кота.

— Нет, скажи, ты видел?! Как я...

Чего ждешь? Поздравлений?

— Для первого раза неплохо, — говорю. — Промазал всего сантиметров на тридцать.

— Почему обижаешь? Вон, смотри — лежит. Мертвый...

— Ты целил в грудь. В следующий раз держи рукоятку крепче. И пистолет пристреляй.

Вижу по роже: опять оскорбил. Испортил праздник. Но мне обрыдло щадить его нежную натуру. Взгляд Зухура уходит в глубину... По опыту знаю — что-то замышляет... И в ту же секунду выдает:

— Спасибо, Даврон. Ты помог, хорошие советы давал. Я тебе тоже что-нибудь хорошее сделать хочу. Та девочка, что тебе понравилась... Ромашка. Скажу Занбуру, чтоб сюда привел. Себе ее возьмешь. Хочешь — женись, хочешь — так...

Грубо подкалывает. Слишком грубо. Считает, что нащупал слабое место. Рублю напрямую:

— Кончай докапываться. Все! Закрывай тему.

Он кивает: ставлю точку. Фактически, я уверен, приберегает тему на будущее... Неужто резонанс?! Черт, как я ни берегся, а затащил девочку в хреновую ситуацию. Самое паскудное — защитить не могу. Боюсь еще больше навредить.

Зухур идет к труп. Достает из кармана и обмакивает в кровь белый платок. Кричит:

— Есть здесь родичи убитых?

Население волнуется:

— Икром, выходи.

Из задних рядов вперед пробивается старик. За ним — заплаканная пожилая женщина. Сбоку выходит мужик средних лет.

— Подойдите, — командует Зухур.

Приближаются. Зухур протягивает платок старику:

— Возвращаю кровь за вашу кровь.

Старик принимает осторожно, чтоб не замараться. Явно не знает, что делать с окровавленной тряпкой.

Зухур, величаво:

— Положишь на могилу своей дочери.

— Сын. Мой сын был убит, — по лицу старика катятся слезы.

— Я за него отомстил.

Зухур идет назад. Раздувается от гордости:

— Вот как надо! Это справедливо. А ты надо мной смеялся. Совсем меня не уважаешь?

Надоел. Вечером объясню, что такое уважение.

— Зухур, ты своих гвардейцев, басмачей спроси. Эти тебя почитают сильнее некуда. Каюмом грозят...

Он осекается. Потом:

— Каюм! Плевал я на него.

— Ну-ну... А кто он таков?

— Один мой родич, ничтожный человек. Маленький человек...

— Поня-я-я-тно.

Зухур мрачнеет. Смотрит на меня, будто прицеливается.

— Ты не думай, я про уважение просто так говорил. Проверял. Я знаю, ты меня уважаешь. Я тебя тоже уважаю. Потому про ту беленькую девочку спрашивал. Думал, может, она тебе понравилась. Не хотел у тебя женщину отнимать. Но ты сказал, тебе не нужна. Хорошо, тебе не нужна — себе возьму.

— Уточни: как это «возьмешь»?

— А-а-а, как-нибудь...

Я почти чувствую, как вспыхивают силовые линии, тянутся от меня к девушке на камне. Линии множатся, переплетаются, окутывают ее невидимым раскаленным клубком. Боюсь шевельнуться, ляпнуть что-нибудь не то, иначе разразится какая-то немыслимая беда. Надо успокоиться. Делаю глубокий вдох, медленный выдох. Порядок! Говорю абсолютно спокойно:

— Как-нибудь не выйдет. Я не позволю. Нравится — женись... Только так. Если она согласится.

Это самое большее, на что я решился. Зухур на мое «не позволю» — ноль внимания. Ему не до того. Нашупал уязвимую точку, расковырял и с наслаждением копается в ране:

— Ты меня не знаешь. Если согласится?! Побежит. Я только позову — все эти девушки меж собой драться будут. Как думаешь, эта беленькая, ромашка, побежит или не побежит?

Замолкает. Всматривается: как реагирую? Усиливает нажим:

— Ты сказал, мне на ней жениться надо. Спасибо, хорошо посоветовал. Я немного сомневался, теперь не сомневаюсь. Тебя как друга попросить хочу...

Еще одну услугу окажи — сватом моим будь. Поговори с ней. Не захочет, уговори, чтоб согласилась. Ты сам сказал: надо, чтоб согласилась.

Приказываю себе успокоиться. Глубокий вдох, выдох. Порядок. Говорю холодно:

— Найди кого другого.

Он считает, что одержал надо мной главную победу — берет себе женщину, которая мне нравится. Пытаюсь перебороть чувство вины. Девушка попала в зону контакта, любое мое вмешательство только усилит напряжение поля. Так что отныне не могу тронуть Зухура даже пальцем. Повезло гаду...

Он удовлетворен. Отворачивается, зовет:

— Гадо!

Зухуров младший братец ошивается рядом. В полуметре позади. Наблюдает. Маскируется безразличием. Подвалил минуту назад. Засек напряженность меж мной и Зухуром и тут же — поближе к очагу конфликта. Разведка не дремлет.

Зухур указывает:

— Девчонка на камне. Беленькая...

Гадо, с готовностью:

— Сюда привести?

— Нет, узнай, кто родители, и посватайся. Жениться хочу.

Засаеаю время. Шестнадцать двадцать одна.

10. Джсруб

Вчера к нам прибыл курьер от Зухуршо. Вошел в кишлак, остановил первого встречного — простодушного Зирака — и велел привести к нему главного. Зирак побежал к раису, по дороге разнося новость по кишлаку.

Посланца окружили мужики, живущие по соседству с мечетью. А сам он... Вот тебе на! Оказалось, это всего лишь прыщавый и худосочный мальчишка из Верхнего селения — Теша, сын немого Малаха. Того самого, что убил моего племянника Ибода. Тьфу! В ветхой, застиранной гимнастерке, с автоматом на плече, мальчишка походил на тощего теленка, который лениво отмахивается хвостом от облепивших его мух. Едва слушал, паршивец, расспросы старших:

— Эй, парень, Зухуршо зачем тебя послал? Какой приказ ты принес?

Отвечал небрежно:

— Главный придет, ему скажу.

Наконец прибыл раис, Теша развязно протянул ему руку. Не две с почтением, как старшему или равному, а одну — как низшему. Мужики заворчали неодобрительно, раис потемнел от гнева, но сдержался, руку пожал.

— Ну, рассказывай.

Теша осведомился высокомерно:

— Где? Здесь что ли?

Наш грозный раис впервые в жизни настолько растерялся, что не нашел достойного ответа. Промолчать — зазорно, а рыкнуть — опасно: мальчишка-то ничтожный, но ведь сам Зухуршо его прислал...

— Важное сообщение, — соизволил вымолвить Теша. — При народе нельзя. Где у вас тут укромное место?

Понятно было и без слов, что малец желает высосать из своего поручения, как из бараньей кости, весь сладкий мозг. Выручил раиса мудрый Додихудо:

— Ко мне пожалуйте. Тут рядом совсем...

И повел, старый лис, Тешу-наглеца с почтением в свою мехмонхону. Раис и уважаемые люди — следом за ними. Я с места не тронулся, хотя, как и всем, не терпелось услышать, какое распоряжение прислал нам Зухуршо. Никогда в жизни не сяду за дастархон ни с немым, ни с его отродьем!

Ёдгор потом рассказал, что мальчишка наелся, напился, насладился почтением старейшин и затем лишь сообщил, с чем прибыл. Завтра нас посетит Зухуршо. Народ должен собраться и ждать. Ничего больше Теша не знал. Как бы то ни было, проводили его с почестями и принялись гадать, зачем едет Зухуршо.

Простодушный Зирак ляпнул:

— Муку раздавать.

Шокир сказал загадочно:

— Шмон наводить.

Смысла мы не поняли, однако расспрашивать Гороха не решились, никому не хотелось выказать незнание. Лишь Зирак, простая душа, не утерпел:

— Это что же такое?

Шокир ухмыльнулся:

— Шмон это когда тебе в задний проход палец суют — ищут, не прячешь ли чего. А потом, чтоб руки не мыть, палец тебе же облизать дают.

Поморщились мы, но Шокиру выговора за непристойное слово не сделали, только переглянулись — что, мол, с него, Гороха, взять? Не зря сказано: «Из дурного рта — дурной запах». Но по правде говоря, я давно заметил, что даже умные и уважаемые люди слушают Шокира внимательно и на ус мотают. Словно он, Горох, знает что-то такое, что им неведомо...

Как ни удивительно, верно угадал не он, а Зирак. Муку и сахар привез нам Зухуршо, однако продукты оказались осквернены кровью несчастных Салима и Зухро. Мрачные и угрюмые, собрались мы на площади. Никого не радовали мешки с мукой на грузовиках, выставленные напоказ. Каждый думал о том, какую еще страшную цену потребует Зухуршо за свою «гуманитарную помощь».

Тем временем он, играя в справедливость, поставил убийцу на колени и достал пистолет.

— В грудь целит! — воскликнул Шер, смело, не таясь. — При чем тут Божий суд?! У мужика бронжилет. Кого обмануть хотят?! Я служил, я знаю...

Зухуршо отошел на несколько шагов и поднял пистолет. Все замерли. Наши люди как дети словно на миг забыли о гибели односельчан и о тех несчастьях, что сулил приезд Зухуршо. Представление увлекло их до самозабвения. Народ гудел, тихо переговариваясь:

— Навыка стрельбы не имеет...

— Оружие нетвердо держит.

— Лучше бы свою змею на него пустил.

Вдруг, как по приказу, все замолчали, ожидая... Выстрел грянул в тишине. И я услышал, как негромко и глухо ударилось о каменистую землю тело убийцы. Словно кто-то приподнял тяжелый мешок и уронил, не осилив.

— О-ха! — воскликнули мужики разом. Не от удивления или неожиданно-сти, а как бы подтверждая состоявшуюся казнь. Женщины, стоящие позади, вскрикнули и забормотали:

— Товба, товба...

Так говорят, отводя порчу или преодолевая страх. Мужчины молчали. Не обрадовала нас казнь, поскольку творилось что-то нам непонятное. Только Зирак, простая душа, воскликнул:

— Справедливость! Кровь кровью смывается.

Мы с тревогой ожидали, что будет. Солнце уже пересекло небо над ущельем и опускалось к вершинам хребта Хазрати-Хусейн, отвесная стена которой высилась перед нами. Уже легла у подножия склона узкая тень, перекрыла крышу мечети и медленно поползла к нам.

Народ затих, и внезапно я услышал, как сзади, внизу под обрывом, ревет и грохочет вода Оби-Талх. Я с ранних лет привык к вечному шуму реки и перестал различать его среди прочих звуков. Сейчас поток гремел оглушительно, словно камнедробилка. Рокот, прежде родной, был страшен, звучал как грозное пророчество: ждите беды.

Беда не заставила ждать. Гадо, брат Зухуршо, отбрасывая влево длинную косую тень, двинулся к нам. Тень пересекала площадь и вонзалась в толпу, словно стрелка солнечных часов, возвещающая приближение страшного времени. По пути Гадо перешагнул через труп убийцы, ступив ногой в лужу крови, и за ним потянулся багряный след, блекнувший с каждым шагом. Гадо словно шел в одиночестве по пустынной дороге — люди расступались, теснились, а он хмуро шествовал по живому коридору, направляясь к камню, на котором сбились в кучку девушки. Оттуда, с возвышения, как с театрального балкона, глупые девчонки с восторженным любопытством следили за статным красавцем, перешептывались и пересмеивались. Когда он приблизился, девушки притихли и уставились на него сверху.

— Эй, ты! — закричал Гадо, указывая на какую-то из них пальцем. — Кто твой отец?

Сердце мое сжалось от тревоги. Не к Зарине ли он обращается? Кто, как не она, выделяется в девичьей стайке! Бахшанда велела повязать платок, но Зарина наперекор мачехе даже от тюбетейки отказалась, ее золотистая головка светилась в пестрой девичьей толпе. Стоя на краю каменной глыбы, она дерзко и смело глядела на Гадо с высоты. Затем отвернулась и устремила взгляд на противоположную сторону реки, на вершину Хазрати-Хасан.

— Эй, ты, беленькая! Тебя спрашиваю...

Андрей бросился к камню, но я схватил его за рукав:

— Куда?! Он просто спрашивает... Стой здесь, с дедом.

А сам поспешил туда, где, заглушая одна другую, галдели женщины:

— Сирота она. Нет отца...

— Отец умер...

Гадо бесстрастно обводил их взглядом. Я раздвинул женщин и встал с ним рядом:

— Ас салом...

Он, не повернув головы, прервал:

— Ты кто?

— Дядя этой девушки, брат ее покойного отца.

Гадо перевел на меня невыразительный взор:

— Ладно, сойдешь и ты. Значит, слушай: Зухуршо пожелал взять... Как ее имя? А, неважно... Пожелал в жены. Как это у вас, по обычаю, говорят? «Я пришел, чтобы ты взял нас в родственники...» Или вроде того...

— Вах! — восторженно ахнули женщины.

— Счастлива ты, девочка, да буду я жертвой за тебя...

— Командир-красавчик, меня замуж не позовешь? — крикнула вдова Шамамо, разбитная бабенка.

Зарина с высоты камня смотрела на меня в упор. Взгляд говорил: «Ну что, дядюшка, опять струсил?»

Я опустил глаза и сказал:

— Большая честь для нас... Мы очень сожалеем...

— Что ты бормочешь?! — холодно осведомился Гадо. — О чем сожалеете?

— Она просватана. Обещана одной почтенной семье. Мы бы и рады отменить сговор, но невозможно...

В этот момент из-за женского круга вдруг вынырнул Шокир, словно таракан в кувшине с шербетом всплыл:

— Что-то не слышали мы о каком-нибудь сговоре. А, Джоруб? Поделись с нами — кто жених?

Будь он проклят, Горох! Я растерялся. Скажу, не таясь, испугался. Однако Гадо неожиданно для меня отрезал:

— Если этот человек, брат покойного отца, говорит, что обещана, значит, так и есть. Кому, как не ему, знать.

Он повернулся ко мне:

— А ты, брат покойного, коли столь крепок в слове, обещаю, что пригласишь на свадьбу.

Я забормотал приглашения, но Гадо хлопнул меня по плечу и пошел словно в пустоте сквозь расступавшийся народ. По пути аккуратно, как и прежде, перешагнул через труп... Только тогда я осознал, как тихо вокруг. Люди молчали и смотрели на меня. А я не мог опомниться, пораженный, что все разрешилось так быстро и просто.

Шокир громко сказал:

— Подносят девоне-дурачку сахарную халву, а он просит: «Дайте редьку».

Глупой этой насмешкой он словно какой-то сигнал подал — мужчины, оттеснивши женщин, разразились упреками:

— Что случилось, Джоруб?! Умный человек, а и впрямь как девона...

— О себе не печешься, почему об обществе не подумал?

— Сто лет такой удачи ждали, а ты ее по ветру развеял.

— На весь кишлак беду навлек...

Один Шер меня поддержал:

— Молодец, Джоруб. Смелый человек.

— Молчи! — прикрикнули на него. — Что ты, неженатый, бездетный, понимать можешь?

— Зато Джоруб — многодетный отец, — съязвил Шокир.

Не часто я слышу от односельчан попреки моей бездетностью, но в эту минуту издевка Гороха почти меня не задела, я был горд и доволен. Сделал, что мог, а будет так, как решит Аллах...

Слух «Джоруб отказал Зухуршо» в один миг охватил толпу, как огонь заросли сухой травы. Когда я вернулся к своим, старый Бехбуд, отец Бахшанды, сердито зашипел:

— Почему прежде старших выскочил? Почему самолично решил? Почему меня не спросил? Зачем отказал?..

Отец молчал сочувственно и только кивнул: правильно поступил. Но меня одолевали сомнения. Сердце говорило, что Зухуршо не отступится. Я лишь отсрочил неизбежное. Разумно ли было противиться тому, чего не можешь изменить? О чем они — Зухуршо и Гадо — теперь совещаются?

Мои опасения сбылись очень скоро.

— Гафур идет, Гафур... — зашептались вокруг.

К нам шагал человек-гора со следами вилиги на лице и могучих предплечьях. Одет он был в камуфляж, и это, впридачу к белым пятнам на

темной коже, делало его похожим на огромного пегого быка. Гафур остановился перед толпой, широко расставив ноги, и проревел:

— Кто?!

Бедные мои односельчане! По единому слову поняли, о чем он спрашивает, все как один повернулись в нашу сторону и закричали:

— Здесь они! Здесь!

Гафур надвинулся на нас.

— Кто?!

Старый Бехбуд, отец Бахшанды, указал:

— Он. Вот этот человек. Джоруб...

Мой отец — старший в нашем кауне, но он скуп на слова, говорить на людях от имени семьи обычно высылают Бехбуда. Правда, и тот не слишком речист, а сейчас вовсе заробел.

— Идем, — сказал Гафур. — Зухуршо к себе требует.

В этот миг я заметил краем глаза, что к народу направляется второй Зухуров телохранитель, Занбур. Мысленно продолжив линию его движения, я с ужасом вычислил, куда он идет. К Зарине!

Гафур ухватил меня за руку.

— погоди минутку, — взмолился я.

Он обернулся, увидел товарища и неожиданно отпустил меня. Усмехнулся:

— Ладно. Поглядим...

Занбур, пробуравив народ, остановился у высокого камня и пробурчал:

— Эй! Сюда, вниз, слезай.

Я услышал сзади себя пыхтение и звуки борьбы. Обернулся: Сангин и Курбон держали Андрея, а он отчаянно вырывался. Я отвернулся. Что я мог ему сказать?..

Тем временем Занбур повторил:

— Слезай! Чего смотришь?

Зарина ответила насмешливо:

— Сам поднимись!

Он в раздумье почесал шею.

— Как?!

— Лестницу возьми.

Занбур сообразил, что наверх взбираются где-то сзади, и пошел в обход глыбы. Как только он скрылся из виду, Зарина легко спрыгнула на землю. Будто пушинка полетела, подхваченная ветром.

— О-ха! — одобрительно вскричали мужики.

В это время наверху возник, растолкав девушек, Занбур.

— Где она?

Зарина — ему:

— Я слезла. Теперь — ты. Прыгай! Что, трусил?

И пока он раздумывал, скрылась в толпе.

Гафур вновь дернул меня за руку и проревел:

— Нагляделся? Идем.

Сопротивляться было бесполезно. Я произнес: «Йо бисмилло...» и пошел за ним. Мысленно я умолял о помощи наших арвохов, дедов-покойников, и собирался с силами, чтобы достойно выдержать новый экзамен судьбы. Оглянулся на народ и с ужасом увидел, что Зарина вышла из толпы и, наискосок пересекая площадь, тоже направляется к мечети. Я махнул рукой, приказывая повернуть назад. Зарина подмигнула мне и отвернулась. Проходя рядом с

мертвецом, она покосилась на труп, вздернула подбородок и остановилась в трех шагах от Зухуршо. Я встал с ней рядом...

Удав на плечах Зухуршо изогнулся, поднял голову и уставился на меня мертвым взглядом. Змеи видят плохо, днем они почти слепы. Но удавы имеют удивительный орган чувств — тепловое зрение, и обоняние у них неплохое. Рептилия чуяла запах моего страха.

Сколь ни удивительно, Зухуршо благодушно усмехался.

— Вы, значит, жених? — требовательно спросила Зарина. — Давайте я вам сразу объясню: я выходить замуж не собираюсь.

Зухуршо изумился:

— Эь! Даврон, гляди, какая решительная...

Даврон отвернулся и не сказал ни слова. Зарина немного смешалась:

— Это, наверное, обидно выглядит. Не обижайтесь, пожалуйста, и на свой счет не принимайте. Я вообще ни за кого выходить не хочу.

Зухуршо разглядывал Зарину как диковину.

— Смелая девочка. Только очень некультурная. Как думаешь, Даврон? Отец плохо воспитал. Девочка грубо разговаривает, а отец стоит и молчит...

— Дядюшка Джоруб мне не отец, — сказала Зарина. — Мой папа умер.

— Ц-ц-ц-ц, сирота, — притворно посочувствовал Зухуршо. — Это еще хуже. Сироте тем более надо вести себя скромнее.

Даврон сказал небрежно:

— Кончай издеваться, Зухур. Отпусти девчонку.

— От-пус-тить? Шутить?! Опозорить ее хочешь? Зухуршо посватался, а потом отказался... Ты людей из кишлака спроси. Что они скажут?

— Никак нельзя отказаться, товарищ Хушкадамов, — подтвердил раис.

В это время кто-то отчаянно вскрикнул у меня за спиной. Я обернулся: в нескольких шагах поодаль Андрей вырывался из рук Занбура.

— Что?! — спросил Зухуршо.

— К тебе бежал, — буркнул Занбур.

— Террорист? Разберись.

— Не обижайте его, пожалуйста, — быстро сказала Зарина. — Это мой брат.

— Брат? Ин-те-рес-но... Эй, веди сюда брата!

Занбур подтащил Андрея поближе.

— Зачем спешил? — спросил Зухуршо. — Вместо сестры себя в жены предложить?

Я услышал, как резко выдохнул Андрей, и меня охватил страх, что мальчик ответит каким-нибудь оскорблением. Я помнил, как ужасно наказал Зухуршо покойного Гиёза всего лишь за дружескую шутку, и попытался переключить гнев Андрея на себя.

— Эй, шенок, что себе позволяешь?! — крикнул я. — Кто тебя звал?! Зачем в дела старших лезешь?!

Андрей уставился мне в глаза бешеным взглядом, говорившим без слов: «Трус! Предатель...» Богу спасибо, я достиг своей цели.

Зухуршо захохотал:

— Теперь и наш дядюшка заговорил... Поздно, дядюшка. Раньше следовало воспитывать. Ты его, конечно, не наказывал, теперь исправлять придется. Придется мне наказать...

— Не надо. Не наказывайте, — прошептала Зарина.

— Занбур, уведи, — приказал Зухуршо.

Здоровенный детина ухватил Андрея, поволол к стоящим в отдалении машинам.

— Оставь его, скотина! — Зарина рванулась к ним, однако я успел поймать ее руку и с немалым трудом удержал девочку на месте.

Зухуршо наслаждался происходящим.

— Эй, Даврон, чего молчишь? Как его наказать? Знаю, ты расстреливать любишь, но сейчас хочется что-нибудь хорошее придумать. Я только старинные способы знаю, простые. Голову отрубить. Сжечь на костре. Утопить. Привязать к конскому хвосту... Раис, лошади в кишлаке есть? — крикнул он, не оборачиваясь.

Наш раис, который скромно топтался позади, у стены мечети, вышел вперед и отрапортовал:

— Лошади есть, товарищ Хушкадамов!

— Хотя что-то имеете, — насмешливо произнес Зухуршо. — И лошади, наверняка, полудохлые. Придется со скалы его сбросить. При вашей убогости ничего другого не остается.

Наш раис почтительно оскорбился.

— Товарищ Хушкадамов, у нас все есть...

— Что?! Что у вас есть? Камни?.. Камнями побить предлагаешь? Нищета! В масле сварить — у вас масла не хватит. Глотку свинцом залить — у вас свинца нет.

— Ваша правда, товарищ Хушкадамов, — подхватил раис. — Мы народ бедный, с нас нечего взять...

— Ошибаешься, — сказал Зухуршо. — У каждого есть что взять. А у вас в особенности. Но не о том сейчас разговор. Что делать будем? Подскажи, раис.

К чести раиса, на этот раз он промолчал. Хотя и забавлялся Зухуршо, шутил, играл с Зариной и нашим бедным раисом как кот с мышами, но мог в любой миг перекинуться от притворного благодушия к ярости.

Однако Зухуршо и не ждал от раиса ответа. Он погладил удава.

— Был в древности царь, который своих змей человеческим мозгом кормил... Даврон, как думаешь, Мор захочет мозг кушать?

— Не дури! — сказал Даврон.

— Я согласна! — отчаянно закричала Зарина.

— Есть еще один способ... — проговорил Зухуршо и внезапно замолчал. По его лицу я понял, что он всерьез замечтался: а не испытать ли на деле какую-то страшную казнь.

— Вы слышите?! Я согласна!

Зухуршо будто очнулся, заморгал и спросил рассеянно:

— Чего кричишь?.. С чем ты согласна? Сжечь или голову отрубить?

— Замуж за вас выйти согласна. Только брата отпустите.

Зухуршо словно окончательно проснулся.

— Как? Что ты сказала?

— Я согласна выйти за вас замуж, если не тронете моего брата, — раздельно и отчетливо проговорила Зарина.

Зухуршо усмехнулся:

— Просишь?

Зарина, поколебавшись, отчеканила:

— Прошу.

— Даврон, будь свидетелем, — сказал Зухуршо. — Девушка просит, чтобы я на ней женился.

Мое сердце замерло... Что ответит Даврон? Вмешается ли? Защитит ли? Тогда, в Ходжигоне, он не захотел спасти Гиёза, плюнул, ушел... Заступится ли сейчас за Зарину?

Даврон молчал, и Зухуршо повернулся к Зарине:

— Так ты обещаешь?

На этот раз Зарина не колебалась.

— Обещаю.

Я шагнул вперед и сказал:

— Она не имеет права обещать. Ее слово ничего не значит. Непорядок, если любая девчонка начнет выбирать, за кого ей выйти замуж... Дедовские обычаи нельзя нарушать. Вы таджик, мусульманин, вы знаете. Старшие в семье решают. Так по нашему закону...

С каждым моим словом лицо Зухуршо мрачнело. Добродушная усмешка сменилась злобным оскалом. Еще миг и...

Но тут наконец вмешался Даврон:

— Мужик прав, Зухур. У них свой устав, а уставы не обсуждаются. Пусть он решает.

Зухуршо обернулся, медленно осклабился:

— Это приказ или совет?

— Совет, — отрезал Даврон.

— Хуш, ладно. Пусть будет совет... Значит, Даврон свататься советует. Одна беда — где сватов найти, не знаю. Гадо уже один раз испортил дело. Неприлично его вновь назначать. Опять отказ получит. Может, Даврон согласится? Он мне не родня, но порой и чужих в сваты приглашают. Достойных людей...

Он прикидывался, будто рассуждает вслух, но я догадался: все же опасается обратиться прямо к Даврону. Знает, что получит резкий и оскорбительный ответ. Соблюдает границу. Он помолчал немного и продолжил:

— На Даврона, оказалось, тоже надеяться нельзя. Он дедовских обычаев не знает. Городской человек... Придется кишлячных спрашивать.

Возвысив голос, он закричал:

— Эй, люди! Хочу взять в жены девушку из вашего селения. Кого в сваты посоветуете? Кто у вас самый почтенный?

Толпа заволновалась. Но не успели мужчины выкрикнуть несколько имен, как откуда-то из задних рядов, растолкав всех, выскочил Горох и заковылял к Зухуршо, на ходу выкрикивая:

— Меня возьмите, меня! Я сватом быть готов!

Прошкандыбал несколько шагов, остановился. Смекнул, должно быть, что слишком зарываться не стоит.

Раис крикнул:

— Э, скотина! — и к Зухуршо обратился: — Товарищ Хушкадамов, извините...

Но Зухуршо от него отмахнулся и скомандовал:

— Подойди сюда, почтенный.

Горох приблизился, встал навытяжку почтительно, но вместе с тем и шутовски, с какой-то издевкой.

— Обычаи знаешь? — спросил Зухуршо.

Шокир потупил бесстыжие глаза:

— Под дождем побывал...

— Товарищ Хушкадамов, — осторожно вмешался раис, — это у нас, извините, один такой человек, знаете... Его у нас не слишком уважают. Совсем

не годится, чтоб вашим сватом стать. Вам бы, извините, лучше какого-нибудь достойного старика пригласить.

— И этот сойдет, — отрезал Зухуршо. — Не царевну сватаем. Какова невеста — таков и сват.

— Это всему нашему селению обида, — сказал престарелый Додихудо. — Соседи смеяться станут — в Талхаке, мол, ни одного уважаемого человека не нашлось. А главное — вам неподобающего свата брать зазорно.

— Обо мне, старик, не печалься. Пословицу слышал: «Солнце глиной не замажешь»?

Шокир спросил:

— Как прикажете свататься? На городской манер или по-нашему, по-деревенски? Мы, горцы, — люди простые, некультурные, обычаи у нас грубые. Вам могут не понравиться...

— Сватай по-вашему, — приказал Зухуршо.

Шокир медленно потер руки, словно готовился к работе. Отошел немного назад, переступил с ноги на ногу и мелкими ковыляющими шажками двинулся ко мне. Перекошенный, с тощей шеей, торчащей из воротника изношенного черного костюма, он походил на грифа, облезлого стервятника с обрубленными крыльями, который топчется в брачном танце. Подошел, открыл рот и...

В этот миг у стены мечети раздались крики. Дрались между собой боевики, которых привез с собой Зухуршо. Кучка дерущихся, как собачья свора, потянулась в сторону и скрылась за дальним углом. И там почти сразу же грянул выстрел.

— Всем остаться здесь! — приказал Даврон и побежал к мечети.

Вопли и брань, доносящиеся из-за угла, усилились, затем внезапно смолкли. Зухуршо бросил Гороху:

— Эй, почтенный, чего ждешь? Приступай.

Шокир вновь потер руки и изготавился к своему нелепому брачному танцу. Я не сомневался, что он замыслил какой-то длинный издевательский ритуал, однако Зухуршо не позволил ему разгуляться.

— Не тяни. Достаточно двух слов.

Шокир, насколько мог, вытянулся в струнку:

— Итоат! Слушаюсь!

От шутовства опять не удержался, но приказ выполнил буквально — уставил на меня палец и каркнул:

— Отдашь девушку?

Мне для ответа хватило одного слова. Я собрал все свое мужество, отбросил приличия и ответил:

— Нет.

— О-ха-а! — едва слышно ахнули раис и престарелый Додихудо.

Горох даже расцвел от удовольствия — опять намечалось представление. Он заговорил внятно, ласково, словно убеждал ребенка:

— Эх, Джоруб, Джоруб... Наверное, я тебя не понял. Или правильное сказать, ты меня, наверное, не понял. Вот они, — тут Шокир подобострастно перекопился в сторону Зухуршо, — в твоё семейство войти желают. Или правильное сказать, они желают девушку в их собственное семейство принять. В жены желают взять. Понимаешь? И они, по обычаю, спрашивают: согласен ли ты?

Я ответил твердо:

— Нет, не согласен.

Правда, не скрою, смотрел я при этом в землю — опасался, что не сумею

стерпеть гневный взор Зухуршо, но с изумлением услышал, как он произнес спокойно:

— Хорошо. Дело сделано. А вы, уважаемые, — в это время я поднял глаза и увидел, что он обернулся к раису и старому Додихудо, — вы будете свидетелями. Вы слышали, как этот человек дал согласие отдать эту девушку мне в жены. Готовы подтвердить?

Я не таю зла на моих боязливых и расчетливых односельчан.

— Да, товарищ Хушкадамов, мы слышали, — сказал раис. — Джоруб согласен.

— Мы подтвердим, — сказал престарелый Додихудо.

Гнев, возмущение, отчаяние разрывали сердце, но что я мог поделать?! Зарина шагнула к Зухуршо и потребовала:

— Теперь отпустите брата.

— Зачем? — удивился Зухуршо.

— Вы обещали!

— Э, нет, девочка. Ты просила брата не наказывать. Отпустить ты не просила, я не обещал. В солдаты его беру.

— Нет! Обещали!

— Опять грубо говоришь?! Ты, оказывается, не понимаешь... Наш уговор ничего не стоит. Своего дядюшку благодари — он тебя замуж выдает.

— Дядя Джоруб, зачем вы вмешались! — сквозь слезы выкрикнула Зарина. — Зачем?!

Зухуршо спросил с притворным сочувствием:

— Почему плачешь? Радоваться надо. Твоему брату повезло — солдатом станет, Даврон у него командиром будет... А, Даврон?! Что молчишь? Хоть спасибо скажи, тебя я тоже не обидел. Смелого бойца нашел...

11. Олег

Меня поразило, насколько реальный расстрел оказался не похож на то, чего я ожидал. Я-то воображал, что выстрел, как показывают в кино, отбросит Рембо назад. Ну, если не на пару шагов, то хотя бы опрокинет на спину... Ничего подобного. И вообще казнь произошла как-то ужасающе просто. Зухуршо подошел, наставил пистолет. Бух! Рембо словно бы осел и повалился наземь.

Нет, я его не жалею. Общался и отлично представляю, что за мразь. Но то была не казнь, а... не знаю даже, как назвать... что-то убийственно техническое. Единственное, что придало расстрелу намек на человечность, — это удовольствие, с каким Зухуршо провел экзекуцию. Думаю, он потому и тянул время перед выстрелом, что ощущал себя Богом, который держит в руке жизнь человека, и страшно смаковал это чувство...

Да нет, вздор! Так высоко он не взлетает. Его потолок — роль грозного падишаха, которую он исполняет с упоением. Разыгрывает ее, конечно, для себя и перед самим собой, но... Хотел бы я знать, сознает Зухуршо, насколько он зависим от зрителей? От крестьян, которых презирает. И опять-таки не совсем верно... Не презирает. Для него они нечто вроде сельскохозяйственной культуры. Он сказал мне как-то на днях: «Крестьяне как трава. Ты, конечно, не знаешь — есть у нас одна травка девзабон, спорыш. Повсюду растет. Незаметная, жилистая, низкая, по земле стелется. Но живучая: чем больше топчешь, тем шире разрастается...»

Тем временем Зухуршо прошествовал в центральную точку очередной мизансцены — к трупку Рембо — и спросил:

— Кто у вас староста, асакол?

Из толпы неспешно вышел человек. Плотный, кряжистый — такого хоть сейчас помещай в музей с табличкой «Сельский руководитель нижнего звена». Экспонат был выполнен с идеальной точностью, которую подчеркивал даже незначительный изъян: староста сильно косил на один глаз, что не мешало ему держаться с большим достоинством.

— Я асакол.

Но в тот же миг из-за кулис на сцену выскочил, как чертик из табакерки, кривой нескладный мужичонка — давешний сват Зухуршо. Я еще прежде наблюдал, как он, завершив свою миссию, юркнул к углу мечети, возле которого маялись представители кишлячного руководства, и примостился с ними рядом. Оба возмущенно воззрились на наглеца, но отогнать не осмелились. Сейчас он, прихрамывая, вылетел вперед и закричал во весь голос:

— Я асакол!!!

— Эй, Горох, куда лезешь?! — взволновался народ. — У нас уже есть асакол.

— Он не асакол, — возразил Горох. — Он сельсовет.

— Асакол — сельсовет, какая разница?

Горох пояснил:

— Сельсовета советская власть поставила. Умерли Советы, пропал и Сельсовет. Сейчас ихняя власть, — он скособочился в сторону Зухуршо. — Новые люди нужны. Теперь я старостой буду...

Зухуршо осклабился:

— Еще кто-нибудь есть? Кто еще староста? Выходи! У вас, талхакцев, все не по-людски. Даже старосты толпами ходят. Асаколов в кишляке больше чем людей. Может быть, вы все асаколы? Выходите, не бойтесь.

— Сами старосту выберем! — крикнули из толпы.

— Чем Гороха, лучше Милису!

На сцену выпихнули из массовки новое действующее лицо — дауна, будто грубо слепленного из необожженной глины. Лицо — кое-как сглаженный ком с дырами, обозначающими глаза, рот и ноздри. На голове у дурачка — измятая, насквозь пыльная милицейская фуражка. Из рта торчал большой глиняный свисток. Даун поправил фуражку, строго оглянулся на толпу и засвистал.

Зухуршо осклабился:

— Вот достойный вас асакол. Его и назначу. Хотите?.. Ладно, люди Талхака... Научу, как надо выбирать. Я на вас зла не таю. — Он махнул рукой Сельсовету: — Иди сюда, косой... И ты, хромой, подойди. Станьте один напротив другого... Драться будете. Кто победит, тот — староста.

Они, кряжистый Сельсовет и щуплый Горох, медленно и неохотно потащились на боевые позиции, а я отчетливо увидел, что немощный на вид хромец — опасный противник. Затаенная ярость отщепенца — против физической силы... Я не взялся бы предсказывать, кто одержит верх.

Аудитория взбурлила.

— Эй, Зухуршо, мужика не унижай! — кричали старики.

— Бахрулло сельсоветом оставь!

— Бахрулло хотим!..

Молодежь вопила радостно:

— Пусть дерутся!

— Эй, Бахрулло-сельсовет! Докажи, что мужик!..

— Бахрулло, вылущи его как горох!

— Берегись, сзади к Гороху не подходи...

— Бокс!!!

Горох косо глянул на зрителей и неуклюже запрыгал на месте, подражая боксеру перед поединком. Молодежь еще пуще возликовала:

— Горох чемпион!

Зухуршо величаво взмахнул рукой:

— Бой!

Горох согнулся в карикатурную боксерскую стойку и закрутил перед собой кулаками, предусмотрительно держась подальше от противника. Конечно, он работал на публику, но я невольно восхитился: по сути дела, убогий калека контролировал крайне невыгодную для него ситуацию, превращал будущую драку с минимальными для него шансами на победу в представление, в котором он при любом финале останется главным героем, центром внимания. Противнику придется довольствоваться ролью второстепенного персонажа и лишь подыгрывать протагонисту, к чему Сельсовет, впрочем, вовсе не стремился. Он лишь повел широкими плечами и мрачно произнес:

— Нет, драться не буду. Это позор.

Я оглянулся на Зухуршо, ожидая, что тот придет в ярость. Но и у него на темной физиономии читалось то же простодушное любопытство, с каким следили за зрелищем поселяне. Он явно не желал вмешиваться — вероятно, решил, что разворачивающийся сюжет интересней обычной грубой потасовки.

Однако деревенская молодежь жаждала именно мордобоя.

— Чего ждете?! Деритесь!

Горох повернулся к публике и картинно развел руками: я был, мол, рад, но что поделать, если противник отказывается... Громко, чтоб все слышали, он произнес:

— Ладно. Не хочешь, я тоже не хочу.

Кто-то из молодых крикнул:

— Эй, Шокир! Что, очко жим-жим делает?!

Горох ответил невозмутимо:

— А ты проверь. Длинным своим языком...

Он порывлся в кармане потрепанного пиджака, извлек небольшой полиэтиленовый пакетик и потряс им в воздухе:

— Бахрулло, может, миром разберемся? Давай пока насвай покурим, все обсудим.

Если кто не знает, насвай — это табак, истертый в пыль и смешанный с известью, куриным пометом и еще какой-то дрянью. Его не курят. Щепоть этой гадости забрасывают под язык, и забирает она почище махорки.

Горох раскрыл пакетик, начал сосредоточенно сыпать темно-зеленый порошок себе на правую ладонь. Натрусив небольшую кучку, позвал:

— Эй, Бахрулло, желаешь? Тебя тоже угощу...

Сельсовет не снизошел до ответа. Тем не менее, Горох заковылял к нему, на ходу приговаривая:

— Зря отказываешься, попробуй. Хороший насвай, андижанский...

Подошел, скорчил сладостную мину, как бы предвкушая удовольствие, слегка запрокинул голову, разинул рот и уже было забросил зелье под язык, как вдруг застыл, остановив руку на полпути и с удивлением вытаращившись на Сельсовета.

Тот купился:

— Что?

— Сапоги у тебя не блестят. Почему не надраил?

Обут был Сельсовет в серые парусиновые сапоги, какие здесь до сих пор еще в моде среди сельского начальства. Он машинально опустил взгляд.

— Зачем их...

Горох мгновенным движением вывалил из пакетика на ладонь всю зеленую дрянь и швырнул Сельсовету в глаза. Подлянка нехитрая, классическая... Меня однако удивило, как элегантно и технично Горох провел хлесткий выброс кисти.

— О-ха! — ахнули мужики.

Сельсовет схватился за глаза, а Горох, прихрамывая, забежал сзади, подпрыгнул и... неожиданно ловко дал ему пендаля. Когда-то, в стародавние времена, у нас в девятой школе такой пинок именовался «поджопником».

— Э! — неодобрительно вскричали мужики.

Сельсовет — лицо припорошено грязно-зеленой пылью, глаза зажмурены, слезы текут — крунулся назад, раскинув руки. Конечно, не поймал. Горох уже зашел ему в тыл, вновь подскочил и отоварил соперника новым поджопником. Шансов изловить Гороха было у Сельсовета не больше, чем у пса, который крутится волчком и пытается выгрызть блоху, впившуюся в кончик обрубленного хвоста. А Горох, пнув беднягу раз пять, принял утомленный вид, отошел в сторону и театральным жестом утер со лба пот.

— Эх, Бахрулло, Бахрулло... Со мной тягаться захотел? Нет, брат, не умеешь дерьмо хлебать, ложку не пачкай.

Зухуршо милостиво одобрил:

— Офарин! Молодец. Ты — асакол.

Народ загудел. Охрана сняла автоматы с плеча, подтянулась поближе к Зухуршо и приготовилась наводить порядок. Но обошлось без того. Ослепленного и опозоренного Бахрулло увели, дурачок Милиса строго оглядел народ и засвиристел в свой свисток. Выборы состоялись.

Нелепая была затея, но я потом уже вспомнил, что Зухуршо невольно проговорился одной фразой: «зла на вас не таю». Будто приоткрылась дверца, из шкафа вывалился один из его скелетов, и стало понятно, что, назначая старостой деревенского отщепенца, он попросту мстил кишлаку за какую-то давнюю обиду. Вероятно, в детстве один из здешних мужиков как-то его притеснил — надрал уши или что-нибудь в этом роде. Теперь он отыгрывается на всем селении.

Все же я спросил на вечерней аудиенции:

— Станный персонаж этот Горох. Почему вы выбрали именно его?

Он посмотрел на меня как на идиота.

— Не понимаешь? Он всех в кишлаке знает, про каждого полную информацию имеет. И всем чужой. В сговор ни с кем не войдет, никому поблажки не даст, никого не пожалеет. Мстить будет за то, что над ним смеялись.

Он явно рационализировал свой выбор, но и я продолжал играть в наивность:

— Судя по реакции односельчан, в кишлаке его не уважают. Ни малейшего авторитета. Наверняка, и навыка нет, опыта руководства.

— Зачем ему опыт? Приказ получит, следить будет, чтоб выполняли. Зачем авторитет? Ему авторитет не нужен. У меня — авторитет. В моей тени стоять будет.

Он помолчал и добавил:

— Ты не думай, потом настоящего человека поставлю.

Да, не позавидуешь Гороху. Не хочется загадывать, как Зухуршо отблагодарит разжалованного калеку. Ну а новоявленный администратор, еще не подозревая о своей судьбе калифа на час, сразу же поспешил использовать

преимущества высокого положения. К Зухуршо он обратился с должным подобострастием:

— Я вам, товарищ... извините, господин Хушкадамов, твердо обещаю: в кишлаке теперь полный порядок будет.

А толпу односельчан окинул хозяйским взглядом, на сей раз, как мне показалось, непритворным. Я подумал, что его обидчики еще пожалеют о своих издевках. Хотя могут, конечно, и пришибить потихоньку...

— Заползла вошь на царский трон, хвалится: «Я подшо», — крикнул из задних рядов невидимый насмешник.

Зухуршо свирепо заорал, обрывая смех:

— Этот человек — мой глаз и моя рука в вашем кишлаке. Выполняйте все, что он прикажет. Может, кто-нибудь из вас на него зло или обиду затаил... Может быть, кто-нибудь счесть с ним свести захочет... Помните: за это все наказаны будут. Весь кишлак...

Затем тон и даже тембр его голоса внезапно сменились будто по щелчку переключателя:

— Эй, люди Талхака, богачи, живущие в нищете! Не устали еще от своей бедности? Не наскучило вам пробавляться пустой похлебкой из травы? А рядом — золото, протяни руку и бери...

Люди Талхака заворчали:

— В наших горах золота нет...

— Геологи искали, не нашли.

— Не там искали, — сказал Зухуршо невозмутимо.

Любопытно, с какой легкостью он сменил маску и перевоплотился из грозного тирана в опытного партийного оратора. Начал издалека:

— Благо тем, кто живет внизу, в долинах. Там земли много, и тамошние люди выращивают хлеб и рис, картошку и помидоры... Все выращивают. А вы? У вас, людей гор, земли мало. Каковы ваши земли? На поле ногу поставишь — для другой места не хватит. На одной ноге стоять приходится. А теперь скажите, что можно на таком малоземелье сажать? Что выращивать?

— Горох! — ответил невидимый насмешник из заднего ряда. — Горох надо сажать.

Народ захохотал. Горох злобно прокричал:

— Это тебя надо! На кол сажать! В огонь сажать...

— Зато тебе-то огонь не страшен, — откликнулся невидимый. — Любое пламя выхлопом задует.

Зухуршо вновь рассвирепел:

— Молчать! Всем молчать, когда я говорю! Вы, талхакцы, потому в нищете живете, что мудрых советов слушать не хотите. Но я добрый. Зла не помню. Научу. По моим советам жить будете. А теперь еще раз спрошу: если земли мало, что сажать надо?

На сей раз насмешничать никто не решился.

— Золото, — сказал Зухуршо. — Когда земель мало, выращивать следует золото.

И замолчал, выжидающе глядя на неразумных талхакцев. Держал паузу.

— Вы спросите: как это сделать? Золото — не картошка, в земле не зреет. Но кто так скажет, тот не знает. Есть золото, которое выращивают в почве, — новый сорт. Вы скажете: нет, не получится. У нас, скажете, все равно земли не хватит. Но Бог сделал вам подарок, о котором вы умалчиваете, — пастбище. Засею его новым сортом, и золото к вам рекой хлынет...

От стены мечети отделился один из двух местных руководителей — статный старец — с достоинством прошествовал вперед и остановился рядом с Зухуршо.

— Я правильно ли понял — большое пастбище собираетесь распахать?

— Верно, старик, — сказал Зухуршо. — Огромная площадь, заросшая сорной травой, пользу приносить станет.

— Нельзя распахать, — твердо сказал старец. — Неправильно это, грешно. Пастбище — не земля. Разве вам наших совхозных земель недостаточно?

— О совхозных полях не вспоминай, — сказал Зухуршо. — Не ваши они, мои. Были государственными, теперь моими стали. Потому что теперь я — государство.

Народ загудел, автоматчики выступили вперед. Старец сказал:

— Прежде государство у нас сельхозпродукцию покупало, нам продукты завозило. Теперь с земли кормимся. Если поля отнимешь, как жить будем, чем питаться?

— О том, старик, не беспокойся, — сказал Зухуршо. — Все у вас будет. Все завезу: муку, сахар, крупы. Через несколько лет на Оби-Барф электростанцию поставлю. Электрический насос на вашей речушке установлю, чтобы воду наверх, в кишлак качать. В каждый двор водопровод проведу. Не хуже, чем в городе, жить будете. Ваши женщины как жены падишаха одеваться станут. В каждом дворе «нива» стоять будет. В самых бедных хозяйствах холодильники, стиральные машины появятся. А в каждом доме — пороги из золота...

— Новый сорт, это что такое? — осведомился старец. — Сорт чего?

— Новый сорт — это новый сорт. Вырастет, сами увидите. Радоваться будете. А сейчас...

Зухуршо толкнул в бок Гафура, пятнистого телохранителя. Тот дал знак водителю одной из стоящих в стороне машин, «КамАЗ» заскрежетал стартером, завелся, зачал черной диоксиновой вонью, выкатил на середину площади и встал рядом с трупом Рембо. Народ молча следил за грузовиком. Только безбородый старичок из первого ряда торжествующе воскликнул:

— А я что сказал?! Говорил я: муку раздавать будут!

Второй телохранитель, Занбур, ловко вскарабкался на борт, откинул брезент, запрыгнул в кузов на кладку мешков и швырнул один вниз. Мешок хлопнулся о землю и разодрался по шву.словно взорвалась мягкая бомба, начиненная мукой. Тонкая пыль взлетела, осела и широко прикрыла мертвеца как саваном, белой мучной пеленой. На краю, где землю едва припорошило, медленно проступило багровое пятно не успевшей еще застыть крови.

— Э, хайвон! — заорал Зухуршо. — Не бросай! Осторожно Гафуру подавай.

Второй мешок был опущен и уложен с должной бережностью. Зухуршо поставил на него ногу:

— Кому первый мешок?! — и сам же ответил: — Асаколу — первый мешок! Староста, иди сюда.

Горох приблизился.

— Ложись, — повелел Зухуршо. — Сначала — кнут, мешок получишь потом.

Если староста и растерялся, то лишь на мгновение. Сходу вписался в ситуацию и по-военному отрапортовал:

— Так точно!

Он достал из кармана цветастый носовой платочек, обшитый по краям бахромой с блестками, нагнулся, чтобы расстелить, но спохватился, искоса глянул на валяющийся рядом труп Рембо, присыпанный мукой, да так и застыл с вывернутой шеей.

— Извиняюсь... дозвольте вон там, поодаль, лечь... Я, извините, мертвецов боюсь... — и, не разгибаясь, боком, на крабий манер, засеменил в сторону.

По самому краю ходил Горох, жизнью, возможно, рисковал, но удержаться не мог... А может, имел какой-то хитрый расчет. Я потом думал, почему Зухуршо не разорвал его в клочья здесь же на месте? Почему позволил эти ужимки и прыжки? Видимо, актерство Гороха каким-то образом резонировало с его собственной игрой. Кривляние шута как бы подчеркивало величие владыки наподобие ритуального поношения цезаря в ходе триумфа. А может, чем черт не шутит, талхдарьинский цезарь просто засмотрелся на тамошо, в котором был режиссером, главным актером и одновременно зрителем, и увлекся спектаклем настолько, что начал даже подыгрывать Гороху, работать с ним в паре. А тот, хитрый манипулятор, ни разу не задел его прямой насмешкой.

Он отодвинулся шагов на пять, встряхнул платочек и разложил на земле. Затем сделал ныряющее движение, как если бы собирался лечь. Оглянулся на зрителей и всем телом дал понять, что платок слишком мал, чтоб на нем уместиться. Черт возьми, да у него талант!

Даврон шагнул к Зухуршо, на ходу поправляя кобуру. Я давно подметил у него этот жест, когда он сердит или раздражен.

— Зухур, кончай цирк.

Тот не сразу понял.

— А? Чего? — Потом включился: — Э, погоди минутку.

Горох тем временем принялся растягивать платок. Потянул. Не выходит. Он дернул что было сил и... разодрал надвое ветхую ткань. В руках остались два обрывка.

Мужики захохотали. Женщины захихикали. Оценили. Горох растерянно огляделся по сторонам, повернулся к Зухуршо:

— Товарищ... извиняюсь... господин Хушкадамов, мне бы брезент с машины... для подстилки...

Зухуршо поманил его пальчиком.

— Эй, артист, сюда иди. Мешок видишь? На него ложись.

Горох потупился:

— Я бы рад... Но извините... я один, без бабы, никогда не ложусь. Если бы мне, извините, какую-нибудь бабу сюда привели...

Из партера крикнули:

— Возмечтал Горох! Ты лучше задницу готовь. Тебе шмон делать будут.

Зухуршо кивнул телохранителю:

— Гафур, ремень.

Силач распахнул камуфляжную куртку, неторопливо расстегнул массивную пряжку брючного ремня и рывком выдернул его из шлевок. Так же неспешно растянул пояс во всю длину и с силой подергал, будто испытывая на прочность. Если б толстая кожаная лента лопнула, думаю, никто не удивился бы. А может, того и ждали, памятуя Горохов подвиг...

— Концом или пряжкой?

— Сам выбирай, — равнодушно бросил Зухуршо.

Гафур оглядел Гороха, оценивая. И что же? Пожалел убогого? Зажал пряжку в кулаке и взмахнул могучей десницей, камуфлированной белесыми пятнами вителиго. Ремень шелкнул. Конечно, не столь звонко, как бич, — шепотнул глухо, но весьма впечатляюще... Гафур проревел:

— Чего стоишь? Ложись!

И бесстрашный Горох наконец пал:

— За что?!!

Зухуршо усмехнулся:

— За притеснение односельчан. Я ведь знаю, ты сразу притеснять начнешь.

Гафур уложил Гороха поперек мешка и выпорол при злорадном одобрении аудитории и под свистки дурачка. Не стану описывать подробности этой безобразной сцены.

Не слишком-то дальновидно поступил Зухуршо, неизвестно еще, как ему это аукнется. Горох, даром что клоун и аутсайдер, но самолюбие у него, судя по всему, чудовищное. Он отныне ночами спать не будет, измышляя, как отблагодарить своего благодетеля. И ведь придумает, отблагодарит.

12. Андрей

Заколебал он меня.

— Брат, ты с козой играл?

Останавливаюсь:

— Отвяжись, да.

А Теша, альпинист колхозный, не замечает, что я отстал, прет в гору по тропе как луноход и бубнит:

— Камол в армии служил, рассказал, как надо с козой играть. Задние ноги в голенища сапог сунуть, а хвост под ремень заправить...

Просветитель! Настучать бы ему по тылке еще разок, но ведь от души знаниями делится. Дружбы ради. В первую же ночь, когда меня привезли, подружился.

Короче, по порядку — чтоб было понятно. После того, как отца убили, мне хотелось забиться в какую-нибудь дыру. Никого не видеть. Никого не слышать. Ни с кем не разговаривать. И чтоб вокруг вообще — никого. А тут дядька утащил нас в кишлак. Самое то. С раннего утра на поле — камни ворочать, вечером — с поля, утром — на поле... Уставал так, что ничего не помнил. Будто в земляную щель провалился. Темно, душно, зато боль, вроде, слегка притупилась. Только Бахша постоянно зудела. Вроде осы в погребе. Сядет, ужалит и опять летает, зудит. Мне-то — ничего, за матушку было обидно...

Потом в кишлак заявился Зухур. Будто крышка подвала откинулась, хочешь не хочешь — выходи. Пришлось вылезти наружу. И понеслось. А все из-за Зарины. Она когда с камня спрыгнула, надо было убежать. Спрятаться где-нибудь. Нет, пошла к Зухуру. Сама полезла в капкан. Гордость заела. А я что? Побежал на выручку. Честно, сам не знал, что скажу, что сделаю. Времени не было думать. Но этот гад Зухур даже слушать не стал. «Наказать! Занбур, уведи».

Занбур — его холуй. Здоровый как шкаф. Схватил меня за руку. Я вырвался. Он — борцовским захватом за шею сдавил горло и поволок. Я задыхаюсь, в глазах темнеет. Из последних сил дергаюсь, сопротивляюсь, а он знай тащит будто борцовскую куклу. Подтаранил к «скорой помощи» — грязной буханке, на которой зухуровские бесы приехали, — забросил вовнутрь и дверь захлопнул.

Я, чуть отдышался, — к окошкам. А там кабину водителя отделяла от салона перегородка с раздвижными стеклами. Одно разбито. Я сдвинул в сторону другое, заляпанное как в сортире, и стал смотреть, что происходит на воле. Буханка стояла передком к мечети, и через просторное ветровое стекло площадь видна как в широкоэкранном кино. Зарина по-прежнему стояла перед Зухуршо, а из толпы к ним зачем-то ковылял хромым урод Шокир. Хрен я буду сидеть в коробке как морская свинка! Надо на помощь. Я — наскоро взглядом по

боковым и задним оконцам: где холуй Занбур? Нигде! Не видно гада. Я даже удивился — как это он так шустро смылся? Заморачиваться не стал, открыл боковую дверцу... И вдруг слышу:

«Э!»

Занбур. Выглядывает из-за заднего бампера буханки. Он там на корточках сидел. Потому-то я его в задние окошки не присек. В прятки что ли играет? Он встал, вышел из-за угла, и я понял, что он там делал. Решил, придурок, что с площади не увидят, и присел по малой нужде. В старое время все националы так сикали — на бабий манер, чтоб не дай бог капля мочи на одежду не попала: страшный, мол, грех. На эту тему даже подковырка имеется. Когда кому-нибудь говорят: «Уезжай на свой Россия», он отвечает: «Мы вас научили ссать стоя, когда срать стоймя научим, тогда и уеду». Занбур, стало быть, эту науку еще не одолел. Меня поразило то, что он встал и не заправился. Подходит к двери. Из ширилки член торчит. Вроде как обрезок черного шланга. Негромко говорит:

«Больше не открывай. Тихо сиди. Дверь откроешь, в жопу тебя сделаю. Прямо здесь, в этой машине».

Я обмер. Он на член показывает:

«Может, примерить хочешь?»

Оттянул левой рукой, пару раз погонял шкурку туда-сюда и спрятал в штаны. А потом с силой захлопнул дверь. Я едва успел отпрянуть. Рухнул на лавку.

Что не берет на понт, поверил сразу. Наслушался в Ватане рассказов шпаны. А у этого рожа тупая, бессмысленная. Животное, не человек. И силища. Против такой мне не выстоять. Уже убедился. Ужасное чувство беспомощности охватило. Если он вернется, дверь закроет, никто даже не заметит, не услышит, не придет на помощь...

И злость накатила. «Да кто он, блин, такой, — думаю, — чтоб я его боялся». Пусть возвращается. Откроет дверь, отоварю по кумполу какой-нибудь железной. Стал искать. В салоне вся медицина срезана, выброшена, а вдоль двух сторон приварены железные лавки. Я под ними пошарил. Хоть шаром покати. «Ладно, — думаю, — камень возьму». Сколько через окна ни высматривал, а поблизости — ни одного подходящего. Выйти, поискать подальше, не рискнул. Все-таки зашугал он меня слегка. Самую малость. Что было, то было... В конце концов решил: если увижу, что идет, выскочу и убегу.

Перебрался опять к перегородке. На наблюдательный пункт. Опа на! Зарина с дядькой уходили от Зухуршо по направлению к толпе. От души отлегло. Потом опять стрем навалился. Зачем меня здесь держат? Что будет? И все такое. Каша в голове. Много всякого передумал, но это все, короче, неважно... Прошло. Тем временем на площади многое чего происходило, но это тоже неважно. Я особо не интересовался. Все равно ничего не понять. Кино было без звука. Потом на середину выехал «КамАЗ», из кузова начали мешки выбрасывать. Пока народ их разбирал, начало смеркаться.

Потом вижу: кто-то идет. В сумерках морду не распознать, но точно не Занбур. Ростом пониже, телом пожиже. Забрался в кабину, завел двигатель, включил фары. Типа врубил освещение на площади. Выбрался из кабины, обошел буханку спереди, открыл дверь.

«Идем».

Я даже обрадовался. Надоело мариноваться в жестянке. В случае чего буду защищаться. Зубами, рогами, копытами. Короче, иду вслед за шофером. Готов к чему угодно. Вышел на середину площади. Бесы стояли кружком. Водила им объявляет:

«"Скорую помощь" вызывали? Санитар пришел».

Бесы расступились. Один предлагает:

«Ну, че, санитар, давай лечи».

А там трупешник Рембо лежал в луже крови. Если точнее, то кровь растеклась со стороны головы. Я-то находился в ногах. Со стороны головы стоял Тыква. Тот самый. Вроде как мой несостоявшийся зятек.

Водила торопит:

«Э, санитары, кончайте диагноз ставить. Грузите в кузов».

Это они нас типа рабов припахали, самим западло мараться. А Тыкве, чтобы к голове подойти, придется в кровищу ступить. Подсохла немного, но все-таки... Я без лишних слов нагнулся, ухватил дохляка за ноги и потащил. Тяжелый. А ведь правду говорят: своя ноша рук не тянет. Честно скажу, с кайфом волок. Протащил метра три, кровь перестала размазываться. Бесы презент швырнули:

«Заверните».

Ну, опустили задний борт, я и Тыква кое-как забросили сверток в кузов «КамАЗа». Тыква наверху остался, я спрыгнул на землю. Бесы кричат:

«Куда?! Лезь обратно».

Один бес, веселый, в солдатской панаме, заломленной по-ковбойски, хлопнул меня по спине:

«Братан, не ссы. С нами поедешь. Весенний призыв. В спецназе служить будешь. Кино видел, да? Автомат дадут, будешь стрелять: пух-пух-пух...» — И опять меня по хребту: — «Ай, молодец!»

Что делать? Где наша не пропадала! Приедем на место, а то по дороге — как-нибудь да сбегу... Тыква сверху, из кузова, руку тянет — помощь предлагает. Я проигнорировал, вскарабкался сбоку, с колеса. Едем. Темно. Тыква в угол забился. Рожа мрачная — это я подметил, когда на спуске задняя машина фарами кузов осветила. Ему-то, овощу, с чего горевать? Спрашиваю:

«Слушай, что там было?»

«Ничего не было».

«Ну, а все же... Расскажи».

«На Зарине хочет жениться».

Я как дурак не врубился:

«Кто?!»

«Зухуршо».

Ни хера себе! «Так, да?! — думаю. — Ну, все! Мандец тебе, Зухуревич! Дадут автомат, сразу же пристрелю. Как тот бес сказал: пуф-пуф-пуф... Четыре сбоку, и бобик сдох. Женись себе на здоровье в могиле». Заодно и с Занбуром рассчитаюсь. Нет, теперь уж в бега не уйду. Как-то сразу спокойно стало. Тыкве я, конечно, ничего не сказал. Так и ехали молча.

Приехали. Дом какой-то длинный. Как я понял — казарма. Окна едва светятся. Потом уже узнал, что бывшая школа. Двор большой. В стороне — очаг из камней, казан громадный. Стол небольшой, на нем — стопка лепешек и лампа керосиновая, «летучая мышь». Другого освещения нет. Рядом мужик — повар, должно быть. Дождается запоздавших. Здесь же высокий титан-кипятильник дымит. Около титана пацаненок суетится, сует щепки в топку.

Тыква куда-то исчез. Бесы заскочили в казарму, вынесли свои чашки-плошки, уселись питаться за длинный стол с лавками. Перебрасываются шутками, ржут, гогочут. Я притулился в сторонке, у стены. Повар кричит: «Что стоишь? Иди».

Подхожу.

Он мне: «Чашка есть? Ладно, дам пока... Потом найди где-нибудь».

Плеснул варево, ложку сунул. Я присел с краю к длинному столу. Сижу, хлебаю. Подваливает пацан, что кипятильник топил:

«Вкусно?»

«Сойдет».

«Хочешь, вкуснее будет?»

Он руку в кармане держал. Я-то слуху подумал, что перец достанет или что-нибудь такое. А он, урод, нагнулся и харкнул в миску. Ах ты, гад! Я схватил миску и выплеснул варево ему в харю. Жаль, не слишком горячее.

«Добавки хочешь?» — спрашиваю.

В рожу бить не стал, чтоб кулак не пачкать. Засадил в тулбище что было сил. В поддых. Он руками за брюхо схватился, зажался, а я думаю: «Ну, все, — думаю, — сейчас махаловка начнется». Так всегда делают: подсылают кого послабее, а потом заступаются. И точняк! Из темноты кричат: «Э, э! Салага! На кого руку поднял?!»

Выходит амбал. Эдак, не спеша... Я стою, кулаки наготове. Потом различаю: еще двое подтягиваются.

Амбал подгребает вплотную: «Ты знаешь, кого ударил? Это у нас самый уважаемый человек. Главный командир. Пахан...»

И все в таком духе. Ежу ясно: зубы заговаривает. Прикалывается, заодно любопытствует — как отвечу, что отвечу, потом ударит неожиданно. Ну, я и ответил. Ткнул ему в будку. И понеслась душа в рай. Отмудохали меня будь здоров. Позже понял: испытывали на слабину. Убедились и потом уже особо не докапывались. Я сначала боялся, что присягу устроят. Спросил у Тыквы: «Ты у них присягу проходил? Ну, типа как у дедов в армии».

Он насупился.

Я не отставал: «Ну, так что было-то?»

Отмолчался. Точняк, уделали что-то мерзкое и унижительное.

Я ему: «Со мной почему-то тянут... Ты ничего не слышал?»

А он: «Даврон запретил. Они Даврона боятся».

Через день ко мне подкатывает тот член, что в миску харкнул. Имя — Теша — я потом узнал. Мнется.

Я ему: «Хуля надо?»

Он: «Извини, брат, я плохого не хотел».

Дебил! Что такому скажешь? «Раз не хотел — другое дело. Тогда спасибо».

Он лопочет жалобно: «Они сказали, иди плюнь».

Я к тому моменту слегка разобрался, что к чему. Бесы им помыкают как хотят.

«Ладно, проехали».

Теперь в друзья набивается. Жизненным опытом делится. Энциклопедист, блин! Корову надо загнать на рисовое поле, чтоб ноги увязли, а самому на земляной бортик встать, чтоб было повыше. Кошку — засунуть в сапог, чтобы не царапалась... Я ему:

— Кончай про ишаков и кошек... Противно.

Он, мутила, тряндит:

— Э-э-э, ты не понимаешь. У нас ребята говорят, если с ослицей играть, кер большой, как у осла, станет.

— Мне такой, какой есть, хорош. Пусть вообще отсохнет, к ослице не притронусь. Ты про женщин расскажи. С женщиной-то, точняк, лучше.

— Жениться денег нет. А так — какая согласится? Ты не думай, с ослицей тоже непросто. Только добром можно взять. Надо травой ее накормить. Травы есть, от нее ослицы в охоту приходят. Никто не знает, тебе как другу скажу...

— Ты, блин, сам этой травы не наелся?

Обиделся. Ничего, перетерпит. Мне не до него. Мысли в башке кипят. По наивняку думал: раз банда, то гуляй, где хочешь, шалай-валяй и все такое. На самом-то деле — дисциплина как на атомной подлодке, и переборок между отсеками не меньше. Меня сразу засунули к «колхозникам» — во взвод, где одни только кишлячные парни. Их, по-моему, единственно затем и захомутали, чтоб картошку чистили, котлы мыли, ну, и вообще, чтоб было на ком воду возить... А к Зухуревичу допускают только личную охрану. Сам он в казарму, натурально, ни ногой.

Я стал прикидывать, как к нему подобраться. Через день улучил момент, пошел на разведку. Дом у него в два этажа на самой горе и окружен забором. Вообще-то в кишляке заборы невысокие, чисто для видимости, чтобы территорию обозначить. Дом Зухуревича окружают крепостные стены. Высотой метра два с половиной. Подошел я к воротам. Гляжу — дверца. Ну, я возьми да стукни. Так, на всякий случай. Для прикола. Высунулся бес из охраны. Я ему: «Брат,пусти поглядеть». Он: «Кто послал?» Я валенком прикинулся: «Да никто,вроде. Просто посмотреть. Если пошлют, надо же знать, где тут чего, кудаидти...» Он дверь захлопнул. А вечером Фидель Кастро, командир отделения, привязался: «Зачем ходил?!» Я ему — ту же тюльку, что караульному бесу. Он принялся меня дербанить: «Больше сам не ходи. Никуда не ходи. Срать захочешь, меня предупреждай: "Срочно отбываю в сортир по большой нужде. Через восемь минут вернусь". На минуту удержишься — порву». Хохмит что ли? Гляжу, вроде, всерьез. И еще грозит: «Ты понял?» Я ему: «Да понял, понял...»

Две вещи понял: с налета не получится, а особо светиться ни к чему. Нужен план. Читал я одну книгу, там подробно описано, как надо готовить покушения. Следят, составляют график передвижения объекта и все такое. Но это же, блин, сколько времени уйдет!

Я прежде никогда не замечал времени. Оно вроде как воздух. Дыши, не хочу. А сейчас как будто замуровали в какой-то подвал без единой щели. С каждым вдохом все меньше и меньше воздуха остается. И уже в груди спирает. И главное — страшно, потому что не знаю, на сколько его еще хватит. От одного страха начинаешь задыхаться... Вот и начал задыхаться от одного страха, что не хватит времени... И оружие пока еще не выдали.

Теша — тот уже с калашом. Гордый как пингвин с морковкой. Автоматишко старенький, ободранный, но Теша, гаденыш, нет-нет да поглядывает на меня свысока. Старослужащий, блин. Остановился, кричит:

— Эй, не отставай!

А я сошел с тропы и поднялся по впадине, в которой лежал небольшой снежный язык. Ходить по нему — что по белому искрящемуся асфальту. Проломил каблуком спекшуюся корку и зачерпнул из рыхлой глубины жменю крупнозернистого снега. Будто горсть холодного, мелко битого стекла. Приложил ко лбу. Не помогает. Дыру бы в черпучке проломить, чтоб перегретый пар вышел. Спустился на тропу и потащился дальше.

Шли мы типа с инспекцией. Один из здешних, ходжигонских, стукнул на соседа: у того, мол, где-то на той стороне реки — неучтенная земля, и он на ней что-то неположенное посеял. Басмачам влом переться в гору проверять, перекинули на «колхозников», а Фидель послал кого поплоше, Тешу. Ну, и мне: «С ним иди. Он за старшего». Ништяк себе! Хотя, если по-честному, без Тешки я хрен бы разобрался, куда идти. Теша в горах реально ориентируется. Следопыт. Соколиный глаз.

Короче, дошли до места. Гляжу, действительно, поле — вроде того, что мы

с матушкой и Зариной расчищали, только побольше. На дальнем конце пожилой бородатый бабай ковыряется в земле кетменем. Остановились на краю, около низенькой ограды из камней. Говорю Теше:

— Проверили, убедились? Пошли обратно.

Он кричит бабаю:

— Дядя! Кончайте работу. Все равно потом перекапывать придется.

Бабай — ноль внимания. Машет кетменем, будто вокруг никого, и он один-одинешенек на белом свете. Мне-то что? Я в жандармы не нанимался. Говорю Теше:

— Бог с ним, оставь. Может, глухонемой.

А Теша вдруг как с цепи сорвался. Вот так, спроста, ни с херам... Скакнул через оградку, бегом через поле, подскочил к бабаю:

— Хайвон, падарналат! Ты слышал, что я сказал?! Ты глухой, да? — схватил бабая за плечо, дернул, развернул.

Чувствую, готов вмазать мужику в пятак. Он-то кишкарь, а бабай кряжистый, жилистый. Огреет кетменем, а то просто кулаком... и пошла гулять деревня. Мне-то за которого из них заступаться? Теша, конечно, неправ. Но он, вроде, свой. Вместе пришли. Я через заборчик и — к ним. А Тешу как заклинило:

— Ты глухой?! Почему не отвечаешь?

Бабай опустил кетмень, сложил руки на рукояти, стоит, смотрит как на пустое место. Теша уже наглухо озверел:

— Почему молчишь?!

Пихнул бабая в грудь, отскочил назад и потащил с плеча автомат. Честное слово, я ему чуть опять не врезал. Что-то удержало. Пацан хлипкий, жалкий. Оттащил в сторону:

— Оборзел? До власти что ли дорвался? А если б твоего отца так?

Его вдруг прорвало:

— Ты не знаешь... они злые... смеются... за человека не считают... Никогда больше так не говори, что как мой отец...

Бормочет, губы трясутся... Хотел, наверное, что-то объяснить. Махнул рукой, пошел к тропе. Я оглянулся — бабаю хоть бы хны. Трудится как ни в чем не бывало. Спускались в кишлак молча. Я сначала гадал, отчего Теша распсиховался, потом плюнул — своих проблем хватает.

Вернулись в казарму, доложили Фиделю. Он: «Ладно, отдыхайте». Я в натуре умаялся. Взял полотенце, пошел рожу сполоснуть. Позади казармы к двум столбам прибита длинная доска, на ней — с десяток алюминиевых бачков. Умывальники. По утрам-вечерам здесь не протолкнешься, а сейчас никого. Встал возле одного бачка, полощусь как воробей в луже, а в голове крутится: время уходит, день напрасно прошел, сколько еще ждать, пока оружие дадут и все такое.

Кто-то стучит по плечу.

— Русский, отойди. Хорош зря воду тратить. Я умоюсь.

А это тот бес из охраны, что меня во двор к Зухуру не пропустил. Хасан. По кликухе Шухер. Шустрый как таракан, заразный как тифозная вошь.

— Умывайся, — киваю на соседние бачки. — Вон сколько свободных.

Он:

— Я сказал: вали на хер.

Отвечаю спокойно, вежливо:

— Что хочешь проси — все твое. А этот бачок не могу. Семейная реликвия, дедушка завещал.

Он таких слов отродясь не слышал.

— Ты че гонишь? Умный, да? — и руку в карман сунул.

«Ну, блин, — думаю, — опять махаловка...» Ситуация паскудная. Таких, как этот Хасан, я знаю. Без подлянки не обойдется. Точняк, нож вынет... Хорошо, что я рубаху скинул. Намотаю на руку, может, и отобьюсь. Не поджимать же хвост...

Пока я прикидывал, из-за угла выгреб один из давронских, Одил-кадров с полотенцем на шее. Вообще-то зовут его Одил Кадиров. Но таджики любят прикалываться. А он, небось, в отделе кадров работал. Или просто по сходству слов прозвали. А произнести «отдел» — «тэ» и «дэ» подряд — мало кто из простых способен. Язык не поворачивается.

Одил подошел к соседнему умывальнику, тыркнул сосок, набрал воды в ладони и как бы между прочим, не глядя на Шухера:

— Отвали от пацана, — плеснул воду в лицо и тыркнул сосок по новой.

Шухер вынул руку из кармана:

— Э, разговариваем, да.

Одил-кадров плеснул воду в лицо, тыркнул сосок:

— Ключ свой укороти.

Давронские с блатными — как кошки с собаками. В открытую до столкновения не доходит. Рычат и зубы скалят. А хилому Шухеру переть против Одила даже с ножом — все равно, что пигмею выходить на мамонта с пиписькой. Он, понятно, припух:

— Одил, все путем. С салагой устав обсуждаем...

Одил-кадров выпрямился, правой горстью аккуратно согнал воду с левой кисти, типа конец мокрого полотенца выжал. Потом не спеша за правую кисть принялся. Следит, чтоб капли с кончиков пальцев стекали опрятно, не брызгали, не разлетались. На Шухера по-прежнему не смотрит. Хасан намек понял:

— Хоп, как-нибудь потом обсудим, — и похилил, небрежно, вразвалочку.

Да, приобрел я другана... Сначала не врубался, с чего он вдруг окрысился, а как-то ночью лежал без сна, прокручивал варианты, как до Зухуревича добраться, — дошло. Вспомнил. Это в один из первых дней было. Как-то так получилось, что сошлись давронские и блатные. Нас, пару колхозников, тоже допустили. Обсуждали, отчего умерла жена Зухура.

Один говорит:

«Зухур отлучился, змей к его жене подкатил. Приполз ночью, она не дала, он задушил».

Другие базарят:

«Не так было. Зухур пришел ночью, видит: жена со змеем в обнимку лежит. Змея пинками прогнал, бабу пристукнул. За блядство со змеей».

«Ты что, брат! У змей кера нет».

«Посмотри на Рахмона — тоже подумаешь: ничего нет. Чумчук как у ребенка. А встанет — как у осла. Не знаешь разве? Кер бывает внешний и внутренний. У змей — внутренний. Иначе откуда змееныши берутся?»

«А-а-а, какая разница — есть или нет... Змеи с бабами не паруются».

А этот самый Хасан, Шухер, трекает:

«Ты не знаешь, друг. У нас дома, в колхозе Жданова, одна девушка хлопок собирать пошла и пропала. Стали искать, нашли на краю поля. Огромный змей обвил ее и держит. Целый месяц никого не подпускал, люди подойти боялись. Наконец приготовили шир-равган, подмешали яду, отнесли змею. Поел и издох».

«А девчонка?»

«Тоже умерла. От тоски».

Они просто так трепались, а подумал про Зарину. Такой стрем навалился, что я со страху стал на них оттягивать. Не конкретно на Шухера, на всю толпу:

«Херня! Вы хоть анатомию в школе учили?»

Народ даже не возмутился. Так, слегка осадили:

«Тебе, пацан, слова не давали. Когда увидишь манду не в книжке, а между ног, тогда будешь вякать».

А Шухер, значит, решил, что я лично над ним стебаюсь. А после того случая возле умывальников вообще принялся пасти постоянно. Ни разу, скотина, вплотную не подошел. Всю дорогу издали следит тухлым глазом. Ждет случая как-нибудь подловить. Прыгнуть открыто он, конечно, побздехивает. Даврон завел порядки как в настоящей армии, а за стычки между своими карает беспощадно — ребята рассказывали. Я вообще удивляюсь, как он сумел настолько блатных придавить, — они только между собой духарятся: «Да мы, де, его и так и сяк...» При нем ни одна падла не пикнет. Включая Гурга, ихнего авторитета...

По идее, я Шухера уделаю на раз, если по-честному и один на один. Только он по-честному не рыпнется. Нож в темноте сунет, камень сверху сбросит или подстрелит где-нибудь в горах, когда никто не видит. В общем, пошел я к Фиделю:

— Когда мне оружие выдадут?

13. Олег

Статус журналиста — вроде защитного скафандра, в котором корреспондент спускается в иной мир. Так, во всяком случае, мне прежде казалось. Еще одна иллюзия, рожденная затишьем доперестроечной жизни и магической властью советской прессы.

Трещина в моем иллюзорном скафандре появилась сразу же по приезде на Дарваз, в первый же вечер, когда стали размещаться на ночлег. Дружину Даврона и присоединившуюся к отряду шпану поместили в сельской школе, выкинув из классов во двор столы и парты. Пару школьных столов дружинники тут же расколотили на дрова и принялись готовить на костре ужин. Даврона уложили спать в роскошной мехмонхоне. Я удостоился гораздо меньшей чести. Поместили, правда, в господском доме, однако не в отдельной комнате, а вместе с челядью — двумя личными телохранителями Зухуршо. Таков, стало быть, ранг репортера в его глазах...

Впрочем, этот расклад предоставил случай понаблюдать за парочкой своеобразных экземпляров местной биополитической фауны в их естественной среде. Телохранители огромны, облы и... не определил еще, к какому виду их следует отнести. Нечто среднее между гориллой, троглодитом и йети. Один из них, Гафур, даже смышлен. На свой лад, по-звериному. Это здоровенный детина с лицом и руками, испещренными витилиго. Белые, лишенные пигмента пятна на смуглой коже вызывают у меня легкую брезгливость, несмотря на то, что болезнь не заразна. Второй примат, Занбур, по-звериному туповат. Разумеется, они сразу вступили в соперничество за территорию. Комнатка была небольшой, а они, как я понял, только притирались друг к другу и пока еще не выяснили, кто из них доминирующий самец.

— Я у стены лягу, — пробурчал Занбур, туповатый гоминоид.

Второму пришлось бы лечь ближе к двери, на менее статусной позиции.

— Мое это место! — рявкнул Гафур.

— Мое...

— Мое место!

Силу и агрессию они только демонстрировали, в прямую схватку не вступали. Видимо, силы были более или менее равными. Я понаблюдал за ними, потом однообразие диалога мне наскучило.

— Ты куда?! — пробурчал Занбур.

— Подышать свежим воздухом.

Занбур задумался. Видимо, соображал, стоит ли выпускать.

— Пусть идет, — проревел разумный Гафур. — Иди дыши. Со двора не уходи.

Я вышел во двор. Над головой в низко нависшей тьме густо цвели махровые звезды. В здешнем резко континентальном климате они вызревают на жирном небесном черноземе особо крупными, мохнатыми и в неимоверном количестве. Страшное это, скажу я вам, зрелище — бездна, полная звезд. Не разумом, а всем нутром, без мыслей и слов ощущаешь себя крохотным комочком протоплазмы в беспредельном мире неживой жизни...

Когда я вернулся в дом, приматы уже улеглись — бросили на пол узкие матрасики, курпачи, и спали, укрывшись цветными ватными одеялами. Раскинулись они вольготно, оставалось лишь место у самого порога. Я взял матрасик, одеяло и кое-как примостился на незанятом пространстве.

Нет, шут с ней, с этологией, лучше жить отдельно от человекообразных. Утром они проснулись первыми, и тупой Занбур, перешагивая через меня на выходе, споткнулся.

— Зачем у двери лег? Здесь люди ходят.

Позже я столкнулся в коридоре с Зухуршо и впервые увидел бывшего райкомовского инструктора во всей царской красе. Он сменил гражданский костюм, который носил в Курган-Тюбе, на камуфляжную воинскую робу из фантастического серебряно-черного материала. Впоследствии он вырядился в золотую парчу и стал походить на третьесортного поп-певца, что, на мой взгляд, сильно подпортило стиль. Но в то утро он выглядел сногшибательно.

Я сказал:

— Меня поселили в одной комнате с вашими людьми. Я журналист. Мне необходима возможность сосредоточиться, поработать. Ну, вы сами понимаете... Заметки, наброски и все такое... Нельзя ли где-нибудь отдельно?

Он посмотрел на меня как господин Бог, которому грешник жалуется, что в аду плохо топят. Однако снизошел:

— Возьмите свои шара-бара.

Я взял кофр с камерами и рюкзак. Зухуршо распахнул соседнюю дверь.

— Заходите.

Я вошел в абсолютно пустую, как подумал вначале, комнату. Четыре голые стены, некрашеный пол. Только у дальней стены вытянулся длинный — метра в три — отрезок пятнистого пожарного шланга.

Зухуршо стоял в дверях и наблюдал.

— Здесь будете жить.

Змей я боюсь с детства. Мои приятели летом ловили ужей и таскали их за пазухой. Однажды я все же набрался решимости и взял гада в руку — до сих пор передергивает от воспоминания, как шевелилась в ладони омерзительная, шершавая и холодная тварь...

Зухуршо — интуиция у него зоологическая — уловил мой страх. Никогда прежде я не видел столь яркого удовольствия, какое промелькнуло в его глазах.

— Бойтесь?

Пожав плечами, я пробормотал что-то неопределенное. Зухуршо подошел к

удава, поднял его и положил себе на плечи. Змей изогнулся наподобие носика дьявольского чайника.

— Сфотографируйте.

— Здесь не получится. Темно.

Зухуршо шагнул к двери. Я непроизвольно отпрянул подальше от удава.

— Возьмите фотоаппарат, — бросил Зухуршо и вышел.

Двор был залит солнечным светом. Зухуршо встал посередине и принял величественную позу. Зрелище оказалось вовсе не смешным. Я ожидал, что с удавом на шее он станет походить на циркача или пляжного фотографа, таскающего на себе питона... Нет, Зухуршо выглядел устрашающе. Расцветка удава сливалась с узором камуфляжа, и казалось, что змей вырастает из плеч бывшего райкомовца.

Я сделал несколько снимков. Приматы глазели издали. Гафур отвернулся, туповатый Занбур подошел.

— Зухуршо, просьба есть. Можно, я тоже фото сделаю? Вот с этим змеем...

С тем же успехом он мог бы спросить, нельзя ли примерить царский венец. Зухуршо счел просьбу настолько нелепой, что даже не разгневался. Впоследствии он таскал на себе удава во всех случаях, которые расценивал как особо торжественные.

Как извращенно, однако, работает фантазия у бывшего райкомовца. Нетрудно понять, почему он тщится играть роль древнего царя, — характеру таджиков вообще свойственна тяга к величественным, героическим образам. А уж откуда их черпать, как не из «Шах-намэ» Фирдоуси! Удивительно другое — какой прототип отыскал для себя Зухуршо в великой поэме. В качестве образца для имперсонизации он избрал не благородного и мудрого государя, коих в «Шах-намэ» предостаточно, а Заххока. Неправедного тирана и угнетателя. Сына, убившего отца и незаконно завладевшего его троном и царством. Заххока, из плеч которого выросли две змеи, которых он кормит человеческим мозгом.

Поразительно, сколь точный и, главное, современный образ нашел Фирдоуси. Правитель состоит в симбиозе с рептилиями и, следовательно, вместе с ними питается мозгами подданных. Гениальная метафора, выражающая самую суть власти. Насилие совершается прежде всего над умами подчиненных и лишь во вторую очередь над их телами...

До сих пор не знаю, откуда взялся удав. Разве что лежал в одном из многочисленных ящиков, что таскали в дом накануне, по приезде в Ходжигон. Зухуршо ухитрился вместе с мукой и сахаром вывезти из Курган-Тюбе фургон, до отказа набитый холодильниками, телевизорами, стиральными машинами и прочей бытовой техникой, мебелью, посудой и коврами — очевидно, из разграбленных магазинов и городских квартир...

Спустя несколько дней я окончательно понял, зачем Зухуршо приехал в горы. Оказалось, здесь ему не слишком рады. Один из поселян, старец с внешностью библейского патриарха с полотна Семирадского, сказал мне:

— Этот Зухуршо, за хвост я его таскал, всегда говнюком был. Мальчишкой тоже очень говнистым был. Дрался всегда. Никто его не уважал. Сейчас большой человек стал. Зачем он солдат привел? Думает, если солдаты, уважать начнут?

— Ну, он все же гуманитарную помощь привез, — возразил я, чтобы вытянуть побольше сведений.

— Э, помощь — что такое? Мы газеты тоже читаем... — Старец вздохнул: — Раньше читали. Сейчас почти не возят, радио тоже молчит, где-то в горах провода порвались, починить некому... А помощь? Нет, нам эдакой милостыни не надо. Маленький узелок дадут, большой мешок заберут.

— Так, вроде, взять-то у вас нечего.

На лице патриарха выразилось чрезвычайно учтивое и деликатное удивление по поводу моей неосведомленности.

— Кое-что еще имеем.

Я в свою очередь без слов изобразил учтивое недоумение: в толк, мол, не возьму, о чем вы.

— Ты человек городской, — сказал старец, — тебе, наверное, не ведомо. Земля у нас есть. Боимся, землю могут отнять.

— Н-у-у, это вы напрасно беспокоитесь. Зачем Зухуршо земля?

— Разве его речи не слышал?

— А-а-а, вы о новом сорте...

Старец поморщился:

— Назови дерьмо халвой, вони не убавится. Кукнор! Мак он хочет выращивать.

Вот те на! Следовало раньше сообразить. Акция Зухуршо смердела с самого начала, но я так упивался пейзажами и дорожными впечатлениями, что не замечал очевидного.

Я отправился искать Даврона во двор школы, окончательно обретшей облик казармы. По баскетбольной площадке вразнобой маршировал десяток деревенских новобранцев в цветных куртках и полосатых халатах. На гимнастическом бревне сохли выстиранные хэбэ. Груда школьных парт, составленных у стены, за минувшие дни заметно понизилась.

Даврон на плацу жучил какого-то из душманов. Тот нагло лыбился, но молчал. Закончив с ним, Даврон повернулся ко мне:

— Тебе чего?

Держался он по-прежнему отстраненно.

— Я сейчас выяснил кое-что... — начал я.

— Ну и?

— Ты знал про мак? С самого начала знал?

Даврон мрачно:

— Не лезь в здешние дела. Тебя они не касаются.

— Очень даже касаются. Ежу понятно, куда пойдет эта дрянь. В Россию.

— Прикажи Зухуру не выращивать, — предложил Даврон насмешливо.

— А ты что же?! Примешь участие?

Взгляд его не стал теплее, но лед словно бы треснул. Не сомневаюсь, что Даврон испытывал мощный внутренний конфликт, и, насколько понимаю, он — законченный интроверт. Никогда и ни с кем не делится переживаниями. Так почему он внезапно приоткрылся, начал оправдываться? Сработал эффект случайного попутчика? Вряд ли. Вероятно, я случайно произнес кодовое слово, открывшее замок. Может, действовало не слово, а интонация или бог знает что еще. Впрочем, это лишь догадки.

— Я Сангаку обещание дал, — сказал Даврон. — В тот день, когда с тобой познакомился, шестнадцатого марта. Он вызвал, вхожу к нему, он говорит: «Садись». Раз предлагает сесть, разговор важный. Сангак говорит: «Даврон, надо одно дело сделать. Кроме тебя, послать некого. Это моя личная просьба. Нужно человеку помочь. Он продукты на Дарваз доставляет, возьми своих ребят, поедешь с ним, будешь охранять». «В телохранители определяете?» — спрашиваю. Он рывкает: «Пусть сам себя охраняет! Твое задание — караван сопровождать. Потом останешься, присмотришь, чтоб ему не мешали работать. Чтоб спокойно было. И чтоб чужие не лезли». «Что он делать будет?» — спрашиваю. Сангак хмурится: «Тебе не понравится. Мне тоже не по душе, но за человека люди

просили, а это политика». «Лады, — говорю. — И надолго?» «Время придет, сам тебя отзову».

Я спросил:

— Выходит, Сангак утаил от тебя, что Зухуршо едет за дурью?

— Да хоть бы и сообщил...

Понятно. Сангак выбрал для шекотливого задания командира, который не позволит местным поселянам бунтовать, но и не допустит по отношению к ним жестокости. Я не устоял перед соблазном вернуть колкость:

— И ты, стало быть, сменил меч на бич.

— Считай как знаешь, — Даврон уже наглухо закрылся, двинулся прочь, словно мимо пустого места.

— Даврон, постой! Хочу попрощаться. Уезжаю.

Он отозвался безо всякого выражения:

— Прощай.

А затем ледяная оболочка неожиданно вновь раскололась. Даврон приостановился, молвил неловко:

— Не поминай лихом... Помнишь, я в Кургане предупреждал: ты сам за себя отвечаешь...

— До сих пор удавалось.

— Тогда — удачи.

И все. Мы расстаемся, оставшись чужими, случайными встречными, незнакомцами друг для друга. Даврон никогда не узнает, что я сын человека, который когда-то отыскал и спас его в развалинах кишлака, разрушенного землетрясением. Хотя и узнай он, вряд ли смягчился бы. Я помнил слова Джахонгира: «У него нет друзей. Он вообще ни с кем не сближается». Для меня в детстве Даврон был воображаемым братом. Года в четыре я услышал рассказ отца о том, как в день моего рождения он нашел мальчика. Меня заворожила эта история, я долго упрашивал: «Давайте возьмем его к себе, пусть с нами живет». «Да где ж его теперь найдешь?» Разыскать мальчонку, думаю, оказалось бы делом несложным, но родители были слишком увлечены каждый своей работой. Пришлось мне довольствоваться фантазиями: вот мы с ним играем, вот он защищает меня от обидчиков, вот мы убежали в горы, живем в пещере, охотимся на диких коз и жарим мясо на костре... До самой школы он почти постоянно присутствовал где-то рядом. Как могли сложиться наши отношения, если б родители усыновили Даврона? Оттаял бы он, оправился от потрясения, стал настоящим братом или же, к моему разочарованию, остался замкнутым чужаком, мрачным и неприступным?

Я вернулся во дворец, собрал пожитки, забросил на спину рюкзак и, миновав золоченые ворота, зашагал вниз к площади. Найти попутку я рассчитывал около единственного в кишлаке магазина. Пятачок возле него — своеобразный клуб. Здесь всегда немало народу. Мне не повезло. Заветная площадка была безлюдной. В магазине — тоже ни души, если не считать продавца за прилавком. Большая часть полок пустовала. В бытность на них, очевидно, выставлялись продукты, а сейчас были кое-где расставлены и разложены оцинкованные ведра, резиновые сапоги, мотки веревки, нехитрый инструмент...

Магазинщик встретил меня возгласом на русском:

— Здравствуйте! Водки нет, извините.

Я смутился:

— И слава богу, что нет. Я только зашел узнать, не намечается ли попутная машина. Вы наверняка в курсе.

- Конечно, в курсе, — подтвердил магазинщик. — Куда ехать изволите?
- В Душанбе... А вообще-то мне лишь бы на большую дорогу выбраться.
- Нет, извините, в ту сторону никто больше не ездит.
- Ну, а если пешком... Далеко идти придется?
- Почему далеко?! — вскричал магазинщик. — Близко. Километра два.

Или три. Может, пять. Только, извините, не выпускают.

- Кого не выпускают? — спросил я туповато.

— Всех не выпускают. — Он поманил меня к себе, перегнулся через прилавок и прошептал: — Зухуршо боится, что люди убегут.

- Меня выпустят, — сказал я самонадеянно.

- Конечно, выпустят, — согласился магазинщик.

Я вышел и пустился в путь, прикидывая, что до большака, вернее всего, километров десять. Быстрым шагом часа за полтора доберусь. За кишлаком скалы дорогу стиснули с правой стороны скалы, слева — обрыв к реке, а путь преграждал самодельный шлагбаум — кривая жердь на двух сложенных из камней столбиках. Под скалой на домотканом коврик, расстеленном возле шлагбаумной стойки, располагались двое караульных. Один лежал, другой сидел и безо всякого интереса наблюдал за моим приближением. Я кивнул ему, огибая шлагбаум. Он крикнул вслед по-русски:

- Эй, куда идешь?

Я приостановился:

— Уезжаю. Журналист из Москвы, брал интервью у Зухуршо. Удостоверение показать?

- Назад иди.

Пожав плечами, я двинулся дальше. Прошел несколько шагов...

Меня догнали, схватили за плечо, развернули и сильно ударили кулаком в лицо. Молча, без слов. Это был тот, что сидел. Отступив на шаг, он неторопливо снял с плеча автомат, так же молча передернул затвор. Не угрожал, нет. По невыразительной физиономии я видел, что он попросту пристрелит. Даже врать начальству не станет — уехал, мол, корреспондент. Скинет тело под обрыв, в реку, и вся недолга. Затем и поставлен, чтоб не выпускать. Всех. А чем журналист из Москвы лучше дехканина, задумавшего сбежать из ущелья?

В грудь мне упирался ствол древнего «калашника», истертый до состояния тускло блестящей железки. Караульный смотрел в глаза абсолютно равнодушно, но каким-то запредельным чутьем я понимал: если скажу хоть слово, сделаю хоть одно движение, посмотрю вызывающе или даже если у меня просто что-то дрогнет внутри, шевельнется, пересекая несуществующую грань, — он выстрелит.

Дрожа от гнева, страха, возмущения, чувства бессилия, я поплелся обратно. Караульный прошел вперед, бросил автомат на подстилку и присел рядом. На меня он более не обращал внимания. Его напарник возлежал в прежней позе, нимало не любопытствуя, что происходит окрест.

(Окончание следует)

Михаил Свищёв

Короткая вечность

Комариная кровь

он когда ни вернётся всегда на Покров
в первый снег так и лучше пожалуй
у него на виске комариная кровь
и под веком лесные пожары

за скрипучей калиткой темнее кусты
и подмазана дёгтем щеколда
у него как у мёртвого ногти чисты
и обгрызены как у живого

дует ветер в сарае в дырявый казан
с колыбелью теснится корыто
у него на лице голубые глаза
сорок вёсен как ею прикрыты

он кивает как шепчет иди мол иди
понукает простудишься дескать
а она у калитки стоит и глядит
не успела ещё наглядеться

* * *

А помните, как пели всем отрядом?
Как дворники баюкали дворы?
(Во-первых, потому что был порядок,
А остальное было во-вторых.)

Как прятали в загашнике полмира,
На рупь удар, на столько же замах,

Как плавили имперские пломбиры
Стальные пломбы в сливочных зубах,

Как улыбались потными глазами
Вам, поросли, сдающей ГТО,
И Сталин, молодой, как мукузани,
И Микоян без всяких ГМО,

На книжный шкаф держали по скелету,
Плеханов — Ленин — Каутский — Каплан,
И, как штаны, спускали пятилетку
С худых задов в четырёхлетний план,

Как завозили этой — не халяли —
Халвы московской в пыльное сельпо...
Почём вам знать, что вас не расстреляли?!
Вас расстреляли, просто вы не по...

Joie de Vivre

1.

Кося голубыми глазами,
Европа глядит на восток
поверх горгондзол и лазаньи,
на рыбном ноже кровосток
очистив на ощупь и запах
об томик стихов навесу:
мол, Запад, конечно, ест Запад,
а счёт всё никак не несут.
Промеж альбатросов и чаек,
парадов и парков она
не то, чтобы сильно скучает,
не то, чтобы слишком пьяна,
Европу лишают покоя
не Киплинг, не сыр и не счёт —
кончается что-то такое,
чего очень нужно ещё,
кто первый швырнёт в неё камень,
свинцовое грохнет трюмо?!
На улице пахнет быками,
а в комнате пахнет ярмом,
кофейник со скатерти сброшен
и, в рог наливая вина,
Европа, как женщина с прошлым,
без памяти в жизнь влюблена.

4.

Надсадней, чем пуля о пулю,
чем гильза о каску ООН,
прилежно ведёт «во саду ли...»
детсадовский металлофон —
трясёшься над ложкой борща ли,
соплями ли портишь тетрадь:
во вторник тебя обещали
до «мёртвого часа» забрать,
под стендом «[отклеилось] — в массы!»,
уставясь в пустой коридор,
рыдает из красной пластмассы
забытый Сеньор Помидор,
январские форточки туже,
и, судя по тёмной Москве,
никто никому здесь не нужен,
ни ты, ни игрушка, ни свет,
но хлопнет уборщица Рая
по кафелю тряпкой: «свят-свят! —
никто у нас не умирает,
а тихо до полдника спят».

5.

Наследники верят в приметы —
вскрывая дома, как гробы,
немного находишь предметов
на дне пересохшей судьбы —
какой-то уют или клещи,
пакет с дюбелями, но — ша!
когда разбираются вещи,
не нужен базар по душам —
кириллица грамоты древней,
хоккейного кубка потир...
от домиков ваших в деревне,
недорасселённых квартир
уводит, как ветка Транссиба
догадки суровая нить:
вы все говорили «спасибо»,
когда уже ни говорить,
ни думать минут не осталось,
и слово звучало верней —
за вашу счастливую старость
и всё, что бывает за ней,
за смерти халатик опрятный,
за то, что все люди равны,
за памяти белые пятна,
за «помнишь, ещё до войны»,

за жизни покатые плечи,
Харламова вычурный пас,
за то, что короткая вечность
нас делит на вас и на нас.

б.

Покуда у сельского клуба
(помещичий Спас-на-крови)
краснеет гвоздиками клумба
и пыльный стоит грузовик,
флагшток на притворе не сломан,
и бывший культурный отдел
(поскольку о танцах ни слова)
за стог не ведут на расстрел,
пока канареечью клетку
скворец обживает и вьют,
пока довоенному лету
виски выбривает июнь,
а жимолость свежие корни
сквозь каски пускает во рву,
пока на двуперстной иконе,
с двадцатых висящей в хлеву,
младенец лежит на раменах,
песок утекает пока,
большие Твои перемены
заметней всего в пустяках.

Суламифь

Сорок пастбищ твоих
занавесят щиты,
замолчит перепуганный петел,
сорок поприщ пройдя
до пожарной черты,
где мосты упираются в пепел,
обернись через пропасть
и через плечо —
все приметы укажут двояко:
узкобёдрая страсть
ассирийским мечом
входит в прошлое по рукоятку.
Ты оставила братьев
стеречь виноград,
отрывать прошлогодние ямы,
август короток здесь,
как военный парад,
как лоза между мёртвым и пьяным.

Мария Амор

Рассказы

Зло

Рекрутер пришел к нам в дом, и предложил мне вступить в Гражданский Строительный Корпус. Ма сказала:

— Лукас, ты должен ехать, потому что тут нам всем просто не выжить.

Па, как обычно, молча отвернулся, только еще сильнее сгорбил плечи. С тридцать первого года в Оклахоме не прекращается засуха, и все чаще налетают пыльные бури. За четыре года они полностью уничтожили результаты тяжелого труда Ма, Па и всех прочих фермеров на сотни миль вокруг: ферму, урожай, сбережения, самоуважение, гордость и надежды на будущее. То и дело из прерии надвигается и повисает прямо над землей черное облако, в котором невозможно ни дышать, ни приоткрыть глаза, а после каждой бури все растения оказываются погребенными под слоем пыли и песка. Не припомню, когда мне удалось разглядеть горизонт, а ведь вокруг равнина. Первое время мы надеялись, что дожди вот-вот вернутся, что следующий год принесет урожай и возобновится нормальная жизнь, но вместо этого постоянные смерчи унесли весь чернозем, скотоводам пришлось уничтожить стада, которые нечем кормить, а банки описывают приобретенное в кредит имущество. Все больше людей, отчаявшись, уезжают, куда глаза глядят, покидая наши проклятые места. Ма говорит, что мы обязаны переждать тяжкие времена, что кризис и безработица повсюду, а тут, пока банк готов отодвигать платежи, у нас хотя бы крыша над головой, и огород, в котором она умудряется выращивать тыквы и картошку. Коричневые грузовики развозят продовольствие тем, кто уже не в состоянии себя прокормить, но их появление у порога привозит с собой стыд и унижение. Ма верит, что несчастье не может продолжаться вечно, что любая, самая страшная засуха должна закончиться. Эти надежды поддерживает выпадающий изредка ясный день, с чистым небом и солнечным светом, или редкий дождь, или снежок, внезапно припорошивший землю посреди сухой зимы, и тогда все принимаются убеждать друг друга, что самое ужасное позади, что пустыня вот-вот вновь станет

Мария Амор родилась в Москве, репатрировалась в Израиль в 1970-х в школьном возрасте. Пять лет жила в кибуцах (Гиват-Хаим, Итав и Гадот). Закончила с отличием исторический факультет Иерусалимского университета, работала пресс-секретарем Еврейского Агентства (Сохнут) по связям с русскоязычной прессой. Рассказы и повести печатались в «Иерусалимском журнале», в альманахе «Диалог», в сборнике издательства АСТ «Одна женщина, один мужчина», постоянный автор сайта Букник.ру. В настоящее время с мужем и дочкой живет в Висконсине, США.

плодородной, и вернется былое процветание. Поэтому Ма не сдаётся — после каждого урагана она упорно выметает пыль и перестираивает занавески. А Па отчаялся. Он молчит, смотрит в пол, а на все попытки заговорить с ним отвечает коротко и хмуро. Душа Па высохла и опустошилась вместе с его землей, и он больше не мучается постоянными надеждами и разочарованиями.

В газете пишут, что пыльные бури на Среднем Западе начались из-за того, что новые поселенцы перепахали всю прерию под пшеницу и уничтожили «бизонову траву», которая одна могла удерживать корнями эту почву. Земля, глубоко разрыхленная новыми стальными плугами Джона Дири, превратилась в гонимую ветром пыль. Но умные слова, вроде «эрозионная расчлененность», «экологическая катастрофа» и «незакрепленные пески» не объясняют, почему вдобавок наступила бесконечная засуха, и никто, ни редактор газеты, ни агрономы-специалисты, ни конгрессмены с сенаторами, не могут сказать, как нам жить дальше, без воды, скота и урожаев. Государственные компенсации за уничтоженный скот и за земли, оставленные без посевов, не возмещают денежных потерь, а ощущение поражения и бессилия не возмещает никто. Терпеть, стиснув зубы, людей заставляет лишь упрямство и безысходность. Девиз Оклахомы «Труд побеждает все» потерял свое значение. Мы столкнулись с мстительным, беспощадным злом, которое уничтожило смысл нашей жизни, и никто не знает, как преодолеть его.

В марте я добрался до ближайшего городка, Бойса, обошел все бизнесы, расположенные по обе стороны центральной улицы, и везде безуспешно просил любую работу, хотя бы за 15 долларов в месяц. На фермах не наймут работника даже за пищу и ночлег. Каждый раз, когда за столом я протягиваю Ма тарелку, мне кажется, я вырываю еду у сестренки. Наверно, так оно и есть. Поэтому всем нам Строительный Корпус представился истинным спасением: меня он обещал избавить от того, чтобы стать таким, как Па, а моих близких удержали бы на плаву двадцать пять долларов, которые Корпус каждый месяц высылаёт семье рекрута из его зарплаты. Двадцать пять долларов! Когда Ханка потеряла во дворе десять центов, Ма просеивала песок, пока не нашла монету. А ведь ещё целых пять долларов оставалось бы мне, на что захочу. Я даже не могу себе представить, что можно захотеть на такие деньги. Можно, например, пятьдесят раз сходить в кино, я обожаю фильмы, но вряд ли я стану каждый день ходить на два сеанса. Многие ребята подрались в эту правительственную программу, и их послали сажать в прерии ряды деревьев, чтобы остановить выветривание почвы, а некоторые нанялись строить дороги. Мне хотелось строить дамбы, но Ма сказала, что лучше мне уехать подальше от наших гиблых мест и, как ни страшно было покинуть дом, родных, и обзавестись трудиться под командой военных, я попросился в отряд, который будет благоустраивать Национальные парки в штате Колорадо.

В назначенный день я добрался на попутке к приемному пункту. Нам велели раздеться, взвесили, я испугался, что как увидят мой вес, так сразу отчислят, но видимо, все рекруты были в весе пера. Врач в белом халате поверх военной формы осмотрел зубы, волосы, подмышки, задницы и все прочее, потом мы оделись, офицер поспрашивал каждого о его семье, о намерениях и рассказал, как эта замечательная программа сделает из нас настоящих мужчин и подготовит к серьезной, взрослой жизни. Двоих отослали, они, наверное, оказались

недостойны взрослой жизни, а остальным вкололи прививки и приказали подписать торжественную клятву трудиться шесть месяцев изо всех сил, соблюдать дисциплину, слушаться приказов, ни на что не жаловаться и нести ответственность за любой причиненный вред или ущерб. За это я буду получать 30 долларов в месяц, и, сдастся, ни один цент из них не достанется мне даром. Да поможет мне Бог.

Впервые в жизни я ехал на «железном коне» — на поезде. У вагона Ма все не могла расстаться, она держала меня за рукав, заглядывала в глаза, будто провожает на фронт, и тревожно повторяла:

— Лукас, пообещай мне, что будешь хорошо себя вести. Что не будешь там пить, или играть в карты, или всякое такое... — Она была такая худая, такая усталая, и в дневном свете на ее лице обнаружилось столько новых морщин, что у меня сжалось сердце.

— Ма, да не буду я, не волнуйся, это всего на шесть месяцев, все будет хорошо.

— И сквернословить, Лукас, пообещай, что не будешь сквернословить...

Я кивнул. Уж если я зарекаюсь пить, курить и «всякое такое», то могу пообещать и не ругаться. Я в самом деле какой-то занудно, неисправимо правильный. Наверное, потому что у меня две младшие сестры, и мне все время приходилось служить им хорошим примером. В конце концов, это испортило меня, я стал каким-то ходячим образчиком добродетелей. Но Ма продолжало что-то волновать:

— Лукас... Есть добро, и есть зло. Я не могу предусмотреть все случаи, но я хочу знать, что ты всегда будешь на стороне добра, что ты будешь сторониться любых пороков! Пообещай, что будешь всегда делать только то, в чем тебе было бы не стыдно признаться всей конгрегации!

— Ну да... — я пожал плечами. — Ма, ну с какой стати я стану злодеем, ты что? Будто ты меня не знаешь! Не волнуйся, ладно?

Подозреваю, она имела в виду девушек. Но, если честно, до сих пор девушки не особо заглядывались на меня, и это, как ничто, помогает оставаться на стороне десяти заповедей и прочих сил добра. В дорогу Ма сунула мне пакет с едой. Наверное, я не должен был брать, но у нее блестели глаза и дрожали руки, и я не нашел сил отказаться. Только долго не мог заставить себя развернуть еду, хотя был жутко голодный. Там оказались хлеб, полкурицы и два яйца. А всю зиму мы ели почти одну тыквенную кашу. Мне казалось, я чувствую на своем плече ее теплую и ласковую руку. А когда подъел все крошки, вдруг остался совершенно один. Только на самом деле вокруг было полно ребят, просто я никого из них не знал. Почти все меня старше, но все мы — кожа да кости, в наших местах в последние годы не разжиреешь...

Впервые в жизни я покидал родные места, и хотя меня пугала предстоящая жизнь в команде и тяжелая работа, мне было любопытно посмотреть на другие края. Однако весь первый день в окне тянулась все та же знакомая коричневая, бесконечная, выжженная засухой степь. В сумерках поезд затормозил и остановился. По железнодорожным путям бродило стадо овец, между ними бегал пастух, он кричал и сгонял скотину с полотна. Один прыщавый парень, Брэд, выпрыгнул на насыпь, схватил маленького барашка и залез с ним обратно в вагон. Поезд тронулся, Брэд принялся кидать барашка другим ребятам, они

кидали его ему обратно, и все хохотали. Я не решался вмешаться, но про себя беспокоился, что они будут здесь, в пути, делать с этим барашком? Зачем он им? Потом, когда мы уже проехали две водокачки, поезд опять замедлил ход на подъеме, и парень постарше встал, уверенно и спокойно забрал барашка у Брэда, распахнул дверь вагона и спустил животное на землю. Я пожалел, что сам трусил. Но на стороне этого парня, Гилберта, помимо правоты был еще и высокий рост и огромные бицепсы, и плечи у него были шире, чем у любого из нас. Брэд стал ругаться, а Гилберт улыбнулся, откинул волосы, подсел к нему, мирно, по-дружески завел беседу, и у этого Брэда хватило ума сделать вид, что ничего не произошло. А барашек заблеял и побежал вдаль. Я был рад, что его отпустили, но теперь я не мог не волноваться, куда же он побежал? Ведь его мама и все стадо остались далеко позади, вокруг только бескрайняя степь... Мне стало жутко грустно, не из-за барашка, конечно, а потому что я тоже впервые вдалеке от Ма и Па и моих сестричек — доброй, славной Эмми и маленькой, ласковой Ханки...

На рассвете я открыл глаза, и оказалось, что пока я спал, в природе кончился, наконец-то, бурый цвет. В окне расстилалась зеленая трава, вокруг возвышались горы, сплошь поросшие зеленым лесом. До сих пор единственными горами, которые я видел, были гигантские, угрожающие тучи надвигающихся с равнины песчаных смерчей. Какой же он прекрасный, этот холмистый зеленый мир!

— Нравится? — с лавки напротив улыбался Гилберт, тот самый красивый парень, который спас барашка. Он опять провел рукой по волосам, и они легли роскошной волной. У него была хорошая, открытая улыбка, от нее становилось еще радостнее.

— Очень. — Впервые за долгое время я тоже улыбнулся. — В жизни не видал такой красоты.

Штат Колорадо отличался от Оклахомы, как другая планета. Плоская пыльная степь пропала, словно ее полностью поглотила страшная черная пыль. Мир стал приветливым, небо — ярко-голубым, и солнце ослепительно сияло, как ему и полагается, а не просвечивало зловеще-красным сквозь марево песка. Повсюду росли деревья, пахло соснами и чем-то приятным из детства, вроде ванили и карамели.

Нас пересадили на грузовики, и машины несколько часов карабкались по узкой, петляющей дороге на высоченную гору. Наверху горы расстилось гигантское плато, пересеченное оврагами и поросшее лесом. Сопровождавший колонну офицер сказал, что мы будем благоустраивать Национальный парк «Меса Верде», что по-испански значит «Зеленый стол». Въезд в парк загораживала группа индейцев. Они возмущенно кричали и угрожающе махали руками, но на переднем грузовике сидели вооруженные солдаты, и индейцы вынуждены были расступиться и пропустить нас внутрь. Похоже, что им, как и нам, пришлось уйти с родных мест, и это мы забрали у них работу. Выходит, даже в самом красивом мире не все замечательно.

Новичков расселили по дощатым баракам с рядами окон. Всего в отряде было почти две сотни завербовавшихся. В нашем бараке стояло тридцать железных коек, и каждый получил еще и маленький личный запирающийся

шкафчик. Отхожие места и душевые располагались поодаль. В лагере имелся даже спортивный зал, служивший заодно и клубом, с радио, столами для пинг-понга, книгами на полках и шахматами. В углу там красовалось пианино. Правду сказать, я не знал никого, кто бы умел играть на пианино. На доске висела стенгазета, меню на неделю, культурная программа и разные приказы и объявления начальства. Завтракали и ужинали в столовой, а обеды в рабочие дни развозили по стройкам, чтобы не терять времени.

Первую неделю лейтенант Дик «обозначал нашу задачу», попросту говоря, знакомил с распорядком, стращал правилами и показывал разные работы, которых в «Меса Верде» оказалось до хрена. Ребята Корпуса вкапывали столбы для электричества, прокладывали водопровод, подземные телефонные линии, чтобы рейнджеры-лесники могли говорить с Вашингтоном, выравнивали стройплощадки, благоустраивали краеведческий музей, улучшали подъездные дороги к парку, возводили поддерживающие стены, ставили заборы, сажали деревья, прокладывали дорожки для туристов. Те немногие везунчики, которые что-нибудь умели, попадали в столярную мастерскую или в гараж.

Меня определили в дорожный строительный отряд. Гилберт разбирался в двигателях, так что его сразу направили на более квалифицированную и лучше оплачиваемую работу, а к тому же назначили старостой в нашем бараке. Меня это полностью устраивало — он старше нас всех, сильнее, разумнее, понимает в машинах, а большинство из нас ничего не умеет, и что-то в нем было такое — спокойствие, уверенность и дружелюбие, что мне пришлось ужасно по душе. А Брэд скривился, что-то прошипел и плюнул на землю, но достаточно далеко, так, чтобы этот плевок нельзя было принять за вызов. Зато когда лейтенант велел ему чистить отхожие места, Брэд заорал:

— Это работа для мексов! Почему я?

Противней и унизительней этой повинности, правда, в лагере нет, но мексиканцев лучше не трогать — они живут в своем бараке и держатся сплоченно, а работают вместе с нами. Один из них, услышав Брэда, прищурился, и сказал:

— А ты сначала заставь меня, — они засмеялись и сдвинулись в кучу.

Тогда Брэд крикнул одному мелкому парню из нашего барака:

— Эй, Джой, давай меняться!

Джой молча отвернулся, и Брэд попер на него, крича:

— Что? Нет, что? Я должен твоё говно за тобой убирать, что ли?!

Дело шло к драке, только опять возник невозмутимый Гилберт и отвел Брэда в темноту. О чем они там говорили, расслышать было невозможно, доносился только низкий, спокойный голос Гилберта, и срывающиеся на визг вопли Брэда, но когда они вернулись, Гилберт был, как всегда, дружелюбен и спокоен, а у Брэда злобно кривились губы и бегали глаза, но он потянулся в сторону нужника без возражений. А Джоя они оставили в покое, только потом кто-то нассал ему в кровать. Гилберт мне очень нравился, я бы хотел с ним подружиться, но навязываться не решался, потому что многие старались держаться к нему поближе.

Строить дорогу, конечно, не так противно, как чистить отхожее место, но не легче: грузовик скидывал землю, щебень, гальку, а мы разравнивали все это

лопатами, с помощью бульдозера перетаскивали огромные булыжники, вручную откатывали камни помельче, рыли канавы, засыпали ямы и выбоины... В первый же день я понял, что Корпус был страшной ошибкой, что я не выдержу. К обеду онемели руки, зато плечи ломило, с каждым рывком лопата становилась тяжелее. Если бы сдался хоть один, с невероятным облегчением я стал бы следующим — отбросил бы проклятую лопату, и свалился на землю. Но сломаться первым было непереносимо. К обеденному столу я плелся, покачиваясь, с трясущимися от напряжения ногами. Даже вилка с наколотым на нее куском мяса казалась неподъемной. Весь перерыв каждая жилочка во мне, каждый мускул впитывали отдых жадно, как сухая земля впитывает воду. Обратно плелся, словно на расстрел, едва передвигал ноги, оступался, чертыхался, не мог разогнуть спину, но остальные тоже двигались, как пьяные. Держали только упрямство и стыд — ну не хотел я опозориться в первом же серьезном деле, за которое взялся. А уж оказаться слабее этого отвратительного Брэда — да я сначала сдохну. Это, кстати, вовсе не ругательство, слышала бы Ма, что здесь говорят! К тому же стыдно было перед Гилбертом.

Зато когда эти невыносимые восемь часов закончились, я почувствовал невероятное облегчение и гордость. Стало ясно, что если я смог проработать этот день, то смогу и столько дней, сколько потребуется. Теперь я знал это про себя.

— Я едва не грохнулся от усталости, — честно признался Артур, плюхнувшись рядом.

— Да мне самому упасть только заступ помешал, — откуда-то вдруг нашлись силы даже шутить.

На крутых поворотах дороги в лагерь я держался за борт грузовика, чтобы не мотало по днищу, садящееся солнце слепило глаза, ветер раздувал пыльные волосы, сушил пот, все мы были смертельно усталые и довольные, что день кончился, и на меня накатило такое счастье, такая внезапная, острая любовь к жизни, и к этому славному крепышу Артуру, и ко всем остальным ребятам, что, несмотря на усталость, хотелось петь и громко орать. Но я только блаженно улыбался, и страшно приятно было встречать со всех сторон такую же беспричинную радость. Стало ясно, что в «Меса Верде» мне будет хорошо.

Отталкивая друг друга, мы попрыгали из кузова и наперегонки помчались в душевые, а потом дружной компанией двинулись на ужин. Все тело болело, но боль уже представлялась приятной, честно заработанной. После вечерней линейки, на которой зачитали новости по лагерю и спустили флаг, мы разошлись по баракам. Был еще ранний вечер, но я свалился на койку и вырубился. Про второй день лучше рассказывать не буду, потому что не хочу это даже вспоминать. На тот день героизмом можно считать напряженное усилие не выронить лопату из трясущихся рук, стоять, опираясь на черенок, и скрывать от остальных свое ужасное состояние. Всю неделю от меня было мало толка, но впервые в жизни я чувствовал себя делающим настоящую, мужскую, важную и нужную работу, за которую платят. Это держало. Я твердил себе, что лучше доползать по вечерам до барака дохлым, как прошлогодняя муха, чем опять выхватывать хлеб у сестричек.

Зато ел я теперь до отвала. Многие ругали еду, но я помалкивал. Кормили тут с домом несравнимо: на завтрак давали фрукты, яйца, французские тосты, овсянку, кофе с молоком, на обед — стейк или курицу, спагетти, хлеба навалом. Если машине случалось сбить на дороге оленя, оленина тоже шла в котел. И

ужины были плотные: ростбиф, печеная картошка, салат, на сладкое кекс или торт. Мне кажется, многие ругали еду именно потому, что стыдились признать-ся, что до сих пор никогда так не питались.

То ли я отъелся, то ли научился экономить силы, то ли действительно окреп, но спустя какое-то время мне было уже не так трудно. С утра я знал, что в двенадцать обед, в пять часов день завершится, и впереди еще целый свободный вечер. В конце рабочей недели наступят два выходных, можно будет играть в соккер или в пинг-понг или махнуть с ребятами в ближайший городок. А через четыре недели я отработаю одну шестую своего контракта. Однако через четыре недели у меня уже появились занятия интереснее, чем подсчитывать дни и часы.

По субботам грузовик возил желающих в ближайший городок, Кортес. Дома мы в город выезжали редко, в основном на рынок и в церковь, но тут, в рабочем лагере на вершине горы, как в заключении — ни пабов, ни кинотеатров, ни девушек. К выходным со страшной силой начинает тянуть во внешний мир и к городским развлечениям. В первую субботу мы вместе с Гилбертом, Грэггом, Артуром и еще парой ребят для начала двинулись в кинотеатр «Бельмонт» и посмотрели там кинокартину «Негодница Мариэтта». Я вообще обожаю фильмы, а в компании смотреть было еще в сто раз приятнее. Потом пили пиво в баре. Сидели за стойкой, все вместе, серьезные, взрослые парни, после недели тяжелой, изматывающей, мужской работы, и пили полагающееся нам пенящееся, холодное, бочковое пиво. Я тоже пил, хоть оно и горькое. Припоминали, что кому особенно понравилось в фильме, и это было здорово. А дальше наступило время для главного, ради чего мы сюда, в общем-то, и приехали — осмелев от пива, мы двинулись в зал «Олигер», где каждую субботу устраивались танцы. Я впервые в жизни был на танцах, поэтому просто смотрел, как вели себя другие, кто как танцевал, и потихоньку разглядывал девушек. До сих пор так много девушек я видел только в церкви на Пасху. Как и мы, они держались группками, хихикали и иногда соглашались идти танцевать, а чаще нет, потому что про ребят из Корпуса местные распускают всякие гадостные слухи: мы якобы хулиганы, неимущие, и приличной девушке с нами вообще нельзя связываться. Это, конечно, чепуха, выдумки городских, чтобы все девушки достались им. И все же нам лучше, чем мексам, тем вообще приходится раз в три недели переть в Дюранго, за 65 миль, потому что ближе не найдется зала, куда пустили бы мексиканцев.

В первый раз я в основном был занят тем, что старательно делал вид, что мне и одному в углу очень хорошо. А потом рядом оказалась одна необыкновенная девушка. Оказывается, бывают на свете такие волшебные феи, у которых и волосы на затылке так собраны, что хочется сразу губами до шеи дотронуться, и на ключицах при каждом вздохе трогательно шевелится тоненькая цепочка, и уголки губ приподняты, как будто она своим мыслям улыбается. Она выглядела не только сногшибательно красивой, но и невероятно милой. А когда я рассмотрел ее профиль, и ресницы, я просто обалдел. Но хотя она была совершенно неотразимая, и сразу чувствовалось, что ее невозможно не любить, она почему-то глядела вокруг с ожиданием, и нервничала, словно не знала собственной цены. Мне со страшной силой захотелось ее пригласить, но я не знал, как это полагается тут делать, и боялся, что опозорюсь на танцплощадке.

Пока я колебался, подкатил Гилберт, как всегда уверенный и находчивый. И, конечно, Гилберту она не отказала. Они стали быстро и ловко кружиться, сходитьсь и расходиться, он держал ее за кончики пальцев, они одновременно поворачивались, сгибались и разгибались, и выглядели классно. Музыка остановилась, Гилберт проводил ее обратно к окну, но никуда не ушел, что я вполне понимаю, а потом стал приглашать ее раз за разом, и на быстрые танцы, и на медленные, вроде свее. В этом свее он приобнял девушку, и они принялись медленно покачиваться, почти прижавшись. Было ясно, что они нравятся друг другу, их взаимное влечение чувствовалось даже на расстоянии. Я почему-то расстроился, но в утешение сказал себе, что девушек, даже необыкновенных, в конце концов много, на данном этапе меня устроила бы почти любая, а Гилберт — это Гилберт, он мой друг, и я никогда не пойду против него. И даже, допустим, я бы попробовал — против него я как щенок против волкодава. Нет, как спичка против солнца — в присутствии Гилберта все как будто освещается, рядом с ним чувствуешь себя радостно и уверенно. А рядом с девушками, надо признаться, как раз наоборот — как мышь перед змеей. Сделав над собой усилие, я перестал на нее глазеть. Так и проторчал весь тот вечер сычом в своем углу. Правда, пару призывных взглядов я поймал, но страх превратиться в посмешище пересилил желание обнимать одну из этих девчонок, держать ее за руку и перетаптываться с ней, вдыхая запах ее волос.

На обратном пути Гилберт уже мог говорить только об этой Мэри-Анн, какая она, мол, славная и симпатичная, и такая, и всякая, и дочь фермера, и как она дивно пахнет, он так и сказал «дивно», он любил такие слова, и что она собирается учиться на медсестру.

— Гилберт, ты такой девчонке не пара, — поддел его Грэг, а Гилберт засмеялся и добродушно сказал:

— Да я и сам знаю. Главное, чтобы она этого вовремя не поняла.

Я-то как раз считал, что они подходят друг к другу, как арахисовое масло и варенье. Одни его классные ковбойские сапоги чего стоили! Он спросил меня:

— Ты-то чего не танцевал?

Я признался:

— Девчонки разочарованы, что я их не приглашаю, но я боюсь им все ноги оттоптать.

— Хочешь, я тебе покажу? И джиттербаг могу показать, и румбу, и фокстрот...

— Да для начала мне и свее хватит... — Мы засмеялись, и он продолжил восхищаться Мэри-Анн. Чем больше я слушал, тем больше она мне нравилась, хотя, казалось, куда уж было больше.

Но почему-то это меня только еще сильнее сдружило с Гилбертом. Ну, это была не совсем дружба, все-таки я ощущал его огромное превосходство и то, что он мне не ровня, а сам он ко всем относился по-приятельски, но я перестал стесняться своего восхищения, и теперь всегда, когда мог, старался держаться рядом: на утренних и вечерних линейках, и за едой, и по вечерам. Плевать мне, если кто-то решит, что я подлизываюсь к старосте. Гилберт мне казался чем-то вроде старшего брата, рядом с ним я не тосковал по дому.

Всю неделю я мечтал о следующих танцульках, и осмелел. Начал со свее, самого незамысловатого танца, и приглашал тихонь, из тех, что весь вечер стоят одинокие, никем не замеченные. Они вспыхивали, суетились, потому что им

вечно приходится и кофту снять, и стакан поставить, и подружке сумочку передать. Не готовы, не верили, что кто-то их заметит, и старательно делали вид, что даже не собирались танцевать. Я их очень хорошо понимал, сам так вел себя прошлый раз. Их смущение сделало меня увереннее, тем более, что никаких рискованных движений я не делал, топтался себе, тихонько поворачивая девушку по часовой стрелке, и блаженно чувствуя, как потеют наши руки и нарастает мое волнение. А потом, когда с тихонями все прошло успешно, осмелился приглашать тех, которые мне нравились больше. Чтобы не нарваться на позорный отказ, я сначала старался встретиться глазами, обменяться улыбкой, и если контакт возникал, шел приглашать. Только Мэри-Анн я никогда не приглашал, хотя по большому счету мне нравилась она одна. С этим я ничего не мог поделать. Может, потому что ее я заметил самой первой, или потому что она понравилась Гилберту, а может, просто потому что она была самой красивой и нежной девушкой в Кортесе и на всем земном шаре.

Во время работы и по вечерам я невольно думал о ней. Лучше всего думалось наедине.

В первый выходной натуралист парка водил нас на экскурсию по таинственным покинутым городам «Меса Верде». На склонах гор, в уступах скал таились незаметные ни сверху ни снизу гигантские выдолбленные в известняке ниши, в которых когда-то, в глубокой древности, их обитатели устроили водосборники и возвели многоэтажные жилища. Археологи установили, что эти загадочные руины принадлежали вовсе не индейцам навахо, те пришли сюда гораздо позже, а какому-то неизвестному народу, внезапно покинувшему эти места семьсот лет назад. Но что заставило все племя сорваться с места и бежать с такой поспешностью, что они даже не забрали с собой съестные припасы, никто не знает. Экскурсовод рассказывал про раскопки, показывал тайные проходы, колодцы, зернохранилища и «кивы» — странные круглые площадки, под которыми скрывались глубокие молельные ямы.

Руины влекли меня. В сумерках, когда их покидали последние туристы, в них все менялось, становилось намного красивей, казалось, и природа и развалины таят в себе что-то важное и настолько печальное, что стискивало сердце. Я полюбил эту сладкую грусть и чуть не каждый летний вечер проводил на каком-нибудь холме в парке. Издалека полуразвалившиеся поселения с окнами, темными, как глазницы черепов, выглядели небрежно раскиданными кубиками, забытыми теми, кто играл в них. Солнце заходило, окрашивая бледно-желтый песчаник во все оттенки заката, удлиняя тени на покинутых городах, в надвигающейся темноте они превращались в мрачные и угрожающие надгробия чужой, исчезнувшей жизни. Я вдыхал сухой запах сосен, горький запах полыни, ощущал свежий ветерок в волосах, и представлял себе, как когда-то их неведомые жители тоже любовались окружающей красотой, пока не явились могущественные, безжалостные враги, может, те самые навахо, которых выжили отсюда мы. А может, древних жителей, как и нас, достала засуха, накрыла какая-то гигантская черная туча, и их идола велели им немедленно бежать прочь от родных мест? Люди спустились с «Меса Верде» в спасительную долину, оставив тут все заколдованным, с тех пор нетронутым. Но наше несчастье затронуло все Великие Прерии, девять штатов. Куда бежать всему Среднему Западу?

Иногда я бродил среди разрушенных временем построек, хотя одному в темноте тут было жутковато. Раз оступился, потерял равновесие и рухнул на груды камней, как раз ту, которая, по уверениям гида, являлась останками древнего алтаря. Камни с грохотом осыпались, и где-то над головой жутко заухала сова. Я здорово испугался. Зловещее все же местечко. После этого я перестал туда таскаться. Вместо этого гонял с ребятами мяч. Попробовал как-то присоединиться с ружьем и фонариком к охоте на дикобразов, но убивать живое существо мне всегда было противно, хоть эти дикобразы и считаются главными вредителями местного леса. Часто я просто валялся вечером у костра, глядел на огонь, на просвечивающий сквозь листву уютный свет в окнах офицерских домов, на звезды, и пытался представить себе, что в это время делают мои. Я скучал по ним, особенно по Эмми и Хане. По Ханке, наверное, больше всех. Я возился с ней с самого ее рождения, она всегда была ужасно славной малышкой, с кудряшками и ямочками на щеках. Ма, небось, моет сейчас посуду, Па курит трубку, а девчонки читают или вяжут. Ма писала, что банк отодвинул платеж нашего долга на весну, что Па ищет работу, а сестры успешно учатся. Ма хочет, чтобы они закончили школу и приобрели городскую профессию, чтобы им не пришлось зависеть от земли. Под маминым письмом Ханка большими корявыми буквами рассказывала, что спасла птенчика и кормила его два дня червячками, пока его не загрызла Флаффи, наша кошка, или просила привезти ей в подарок лисенка, хоть крохотного. Эмми присылала рисунки, она здорово рисует. Письма и рисунки я складывал в тумбочку, а портрет Ханы приколот к дверце изнутри. Теперь стоило открыть шкаф, и к сердцу поднималась теплая волна.

Брэд как-то заметил это, и радостно заорал:

— Э! Смотрите, кто у нас тут маменькин сыночек! Домашненький ты наш!

Противная кличка приклеилась ко мне насмерть, и даже друзья принялись звать меня Мамас-бой. Вначале это бесило, но Гилберт сказал рассудительно:

— Ну что ты злишься, ну так оно и есть, витает вокруг тебя, что ты из благополучной семьи, что тебя дома любят. Не на что обижаться, поверь, многие тебе завидуют.

Как всегда, он был прав. Этот не выветрившийся запах дома, действительно, делал меня маменькиным сыночком, но вовсе не ослаблял, а наоборот: сознание, что мои родные меня любят и ждут, что я тут и ради них, исполняю свой долг мужчины, забочусь о них, что каждый месяц они получают за меня 25 долларов, страшно поддерживало.

Все шло хорошо, вот только вокруг Брэда сколотилась отвратная компашка. Они были как шакалы — работали меньше всех, а задирались больше всех. И гадили трусливо, исподтишка, потому что каждый, кто нарушал дисциплину, немедленно изгонялся. Вечера напролет играли в покер на спички, сквернословили и гоготали. Как-то валяясь на койке, от нечего делать я уставился на руки Брэда, оказавшиеся как раз перед моими глазами, и заметил, что он раздает карты снизу колоды. Сначала я даже не сообразил, в чем дело, но он словно почувал мой взгляд, тут же обернулся, а столкнувшись глазами, так злобно искривился и так поспешно отвернулся, что я понял, что он и впрямь жульничает. На деньги играть запрещалось, но все знали, что в конце месяца, когда мы получаем наши пять долларов, картежники по этим спичкам рассчи-

тываются деньгами. Было противно связываться с Брэдом, но промолчать я не мог, ведь он заманивал в игру посторонних ребят. Я поделился с Гилбертом.

— Ах вот как... — Гилберт привычным движением смахнул волосы назад. — Ты, главное, никому ни болтай... Может, тебе показалось?

— Ты чего, Гилберт? Какое, на фиг, «показалось»? Он передергивал прямо перед моим носом...

— Ладно... Оставь это мне, тут надо действовать осторожно, доказать-то ничего невозможно.

— Они на деньги играют, Гилберт. Ребятам придется платить ему!

— Да не волнуйся ты, я с этим разберусь. Сукин сын, он еще об этом пожалеет.

Я успокоился. Не знаю, мухлевал ли Брэд в дальнейшем или нет, потому что он стал садиться от меня подальше. Зато я часто замечал его взгляд на мне, наглый, презрительный и насмехающийся. Пусть смеется, сво... гаденыш! Гилберт еще сведет с ним счеты!

Время летело, наступила осень. Я жил от танцев к танцам. Многие парочки выскальзывали из зала целоваться и обжиматься на заднем дворе. Гилберт и Мэри-Анн тоже выходили, и я пару раз целовался с разными девушками. Но дальше никогда не шел. Мне кажется, некоторых девушек я мог бы уговорить пойти до конца, если бы очень постарался и наобещал с три короба, но я не решался. Пока я танцевал, я, конечно, еще как хотел и целоваться и обжиматься, но они все были чистые, хорошие девчонки, только на несколько лет старше Эмми, для каждой из них согласиться больше, чем на поцелуи, много бы значило, а я не был готов на серьезные отношения. Я даже не собирался тут оставаться. А может, я врал себе, может, я просто трусил и не знал, как за это дело приняться. Разумеется, если бы одна из них сама на меня повесилась, я бы не корчил из себя праведника, однако безумных не нашлось, а уламывать и врать я просто не мог. В конечном счете, ни одна из них не стоила того, чтобы выступить подлецом. Лишь Мэри-Анн стоила любого преступления, но если бы мне каким-то чудом выпал шанс уболтать Мэри-Анн, я бы с радостью сдержал любое данное ей обещание.

Спустя пару месяцев я уже неплохо танцевал, а поскольку на танцульках умение драться идет по важности сразу за умением танцевать, я записался в вечернюю группу по боксу.

Ма писала, что соседского мальчика нашли после очередного урагана задохнувшимся в колючей проволоке, что Джим, фермер, с которым граничит наша земля, застрелился, а его семья уехала к родным в Калифорнию, но у моих, слава богу, все по-прежнему благополучно. Ханка благодарила за индейский охранный амулет, который я ей выслал. Я отвечал часто, но коротко, особо рассказывать было нечего: солнце и жара, пыль и песок, хоть они и не идут ни в какое сравнение с оклахомскими, работа тяжелая, но я справляюсь, чувствую себя отлично, в весе прибавил, бицепсы стали, как у соседского Мэттью, здоров, как бык, подружился с парой-тройкой отличных ребят, со всеми остальными лажу, не пью, не курю, не сквернословлю, всем доволен, кормят хорошо, волноваться совершенно не о чем, скучаю, конечно. О проклятых скунсах, тараканах и о неистребимых клопах, от которых не помогали ни окуривания, ни

стирки, ни посыпание барака различными ядами, рассказывать не стал. Ма завалила бы рецептами и способами избавиться от каждой напасти, и заставила бы, чего доброго, провести их все в жизнь. С нее стало бы строчить жалобные письма лейтенанту Дику, а если на то пошло, так и президенту Рузвельту. А у президента этой осенью нашлись заботы поважней, чем наши тараканы — в ноябре его переизбрали, чему я страшно рад, так как это означает продолжение спасительных для нас программ Нового курса.

Поздней осенью мы начали топить углем обе печи в бараке, только дощатые стены не держали тепло. Утром было трудно вылезти из-под одеяла, зато днем перестала мучить жара. Мои шесть месяцев истекли, и я колебался, подписываться ли на следующие полгода, до июня. С одной стороны, я истосковался по своим, а с другой — уже не мог представить, как буду снова ошиваться на нашей ферме, без дела, без работы, без танцев, без здешних друзей и без того, чтобы хоть издали видеть Мэри-Анн. Гилберт, разумеется, оставался. К сожалению, оставался и осточертевший Брэд.

В праздники родного дома не хватало сильнее всего. Но здесь тоже старались отмечать всякие важные даты. В День Благодарения за торжественным ужином каждый вставал и рассказывал, за что он особенно благодарен в этом году. Один за другим ребята повторяли, как благодарны Корпусу за жизненный опыт. Про деньги помалкивали, но не потому что за них не были благодарны, просто это не звучало так красиво. Когда подошла моя очередь, я тоже от всего сердца хвалил программу и благодарил все наше начальство и товарищей. А когда я еще про себя поблагодарил судьбу за дружбу с Гилбертом и встречу с Мэри-Анн, у меня даже голос дрогнул.

Прощаясь с отъезжающими ребятами, мы все вместе красиво сгруппировались на поляне, и сфотографировались на память. Фотографию я отослал своим. Ма ответила, что едва узнала меня, так я возмужал, и на полстраницы расписывала, как они все мной ужасно гордятся. Па сделал красивую рамку, и фотография теперь висит в гостиной, на самом видном месте.

Зима оказалась снежной, нам постоянно приходилось расчищать дороги от заносов, а один раз поднялась такая метель, что мы не смогли выйти на работу. Дик, которого я так искренне расхваливал за его внимание и попечение, заставил нас отпахать в субботу, и мы пропустили танцы. Я переживал за Гилберта, но он только плечами пожал.

С осени меня перевели вырубать больные деревья. В Колорадо появился какой-то жучок-вредитель, который заражал и губил лес, и надо было уничтожать все больные сосны, обвязанные лесниками красной лентой, чтобы жучки с них не перекинулись на здоровые деревья. Вместе с Грэгом мы спиливали ствол, срубали ветви и сучья, вытаскивали всю пораженную древесину до последней щепки через глубокий снег на пустое пространство, и там сжигали, залив керосином. Работа была ничуть не легче, чем на строительстве, стояли морозы, шерстяная зимняя форма больше стесняла и натирала кожу, чем грела, но легких работ для тех, кто, как я, ничего не умел, не было. К этому времени я уже точно не был таким дохляком, как по приезде. Я стал не только сильнее, но и увереннее в себе, и решительнее. Один раз я вспугнул рысь, при этом сам здорово испугался, но у меня был топор, и я не сошел с места, решив, что если она набросится, я ее зарублю. Ма меня учила всегда быть умнее, и уступать, не

связываться, но мне хотелось вести себя как Гилберт с Брэдом. Рысь оказалась умнее меня, и скрылась в чаше. Когда она исчезла, я заметил, что вспотел от волнения, зато остался страшно горд собой, и поклялся больше никогда никому не уступать из трусости.

В те дни в местных газетах писали о скандале, случившемся в городке Долорес: после драки между местными ребятами и ребятами из тамошнего отряда Корпуса полиция арестовала зачинщиков из корпусных и посадила их в тюрьму. Тюрьма, судя по газетным снимкам, больше напоминала ветхий сарай. Остальные корпусные не покинули задержанных товарищей, общими силами сорвали сараяшечку с фундамента, заключенных освободили, а остов каталажки дружно дотащили до реки и бросили в воду. Почему-то, может, потому что местные тоже оказались не без греха, весь случай закончился для корпусных безнаказанно, никто даже под суд не попал. Газеты, конечно, радостно вцепились в редкое событие, бесконечно обсуждали происшествие, ругали «приезжих хулиганов», писали, что пора их осадить, положить конец, принять меры и всякое прочее, что любят писать про чужаков. Но на отношении к нам в Кортесе это никак не сказалось.

Зимой я уже чувствовал себя бывалым старожилом, по сравнению с прибывшими новичками взрослым, сильным, настоящим мужчиной, и когда замечал, как им тяжело, по примеру Гилберта старался ободрить, поддержать и помочь, чем мог. Только весной, в мой день рождения я как-то особенно расклеился. Этот день выпал на пятницу, мой сосед Артур отправился на выходные домой, он жил неподалеку, всего пять часов пешего ходу, а если ему фартило, его подвозили хотя бы часть пути. Я бы запросто прошел пять часов, но у меня были только письма Ма, и в них были плохие новости. Она писала, что Хана начала кашлять и отхаркиваться кровью. Красный Крест раздает маски, но с ними дышать еще труднее, и не может же ребенок жить в маске. Это меня испугало. Я был готов плюнуть на контракт и вернуться, но Ма в письме несколько раз добавила, чтобы я даже не думал об этом, что только благодаря моим 25 долларам они могут продолжать платить банковские взносы, а главное, дома я все равно ничем не смогу быть полезен, и она не выдержит видеть перед собой спину еще одного раздавленного бессилием и безработицей мужчины. Ма уверена, что Хана поправится, она каждый день натирает ей горло, грудь и спину терпентином или растопленным салом, и поит ее сиропом от кашля, который готовит, добавляя в сахарную воду пару капель керосина.

На следующий день в баре в Кортесе мы с ребятами выпили за мое здоровье. Все меня поздравляли, я осмелел и на танцах сделал себе подарок — пригласил Мэри-Анн. Танцевать с ней оказалось мучительно, потому что приходилось изо всех сил удерживаться от попытки вдохнуть ее всю в себя, сжать в объятиях и прильнуть к ней. И в то же время было невероятно приятно кружиться под музыку совсем близко к ней, держа руку на ее тонкой спине, как будто медленно-медленно есть ванильное мороженое. Даже лучше. Потом я вернулся к своей обычной партнерше, Нэнси, и хоть Нэнси симпатичная девушка, но после Мэри-Анн бедняжка показалась черствым хлебом. На обратном пути Гилберт спросил:

— А как эта Нэнси?

— В порядке, а что?

— А далеко у вас дела зашли?

Парочки часто выскальзывали из зала и удалялись в темноту, а потом возвращались, красные, распаренные и делающие вид, что ничего не произошло. Все, конечно, догадывались, что они целовались, а может, и не только целовались.

— Не, ты что, ни на что серьезное Нэнси не согласится.

Гилберт засмеялся:

— Согласится, конечно. Если умеючи попросить, почти каждая согласится.

— А Мэри-Анн? — и сразу пожалел, что спросил.

— И Мэри-Анн. Чем она особенная-то?

— Конечно, особенная! — я тут же испугался, что он поймет, как мне Мэри-Анн нравится, и поспешил уверить, что от всей души желаю им счастья: — Вы подходящая пара.

— Ну-ну, нечего меня женить, — он вдруг разозлился. Я догадался, что это болезненное место, и все-таки не выдержал:

— А почему бы тебе и не жениться на ней? Лучше не найдешь.

— Балда ты, Лукас. На хрена мне жениться, если девчонки меня и так любят. И на Мэри-Анн свет клином не сошелся, даже самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть!

Он произнес это с каким-то нехорошим значением, как-то непривычно пакостно усмехнулся и провел ладонью по волосам, но сейчас это движение показалось мне хвастливым и неприятным. Я не знал, верить ли ему. На секунду я почувствовал подлую радость, что он, вроде, сам отказывается от Мэри-Анн, как будто теперь у меня появился шанс, и тут же сам себе стал противен из-за того что готов воспользоваться случаем, и, как шакал, мчаться по волчьим следам Гилберта. В наказание себе я принялся оправдывать его: такая внешность и такое море обаяния, они как-то невольно подставляют даже хорошего человека. Гадкому утенку, вроде меня, гораздо легче уберечься от соблазна, так что не мне судить.

Но с тех пор я не мог удержаться, чтобы не следить за ними, и понял, что его похвальба была правдой. Она с него глаз не сводила. И взгляд у нее был тревожный, неуверенный, и выглядела она подавленной и несчастной. А он, который раньше танцевал с ней одной, с недавних пор принялся приглашать других девчонок, а один раз пошел к ней, она вспыхнула от радости, сделала шаг ему навстречу, но Гилберт, продолжая сверкать своей обычной безмятежной улыбкой, в последний момент свернул к сидящей рядом девушке и пригласил ее. Мэри-Анн так и осталась стоять, провожая их взглядом, и вид у нее был убитый. Пару недель назад мы с ребятами стреляли в консервные банки в каньоне, и я в шутку, совершенно наобум, выстрелил в птичку, ни на секунду не рассчитывая попасть. Птичка упала с куста как подкошенная. Теперь, глядя на Мэри-Анн, я испытал такой же ужас и жалость, как тогда, когда красивый, веселый, задорный, аленький самец-кардинал стал жалким, бездыханным комочком. Но то ведь была всего лишь птица, а тут живой человек, девушка, которая была такой прекрасной, со всякими мечтами в жизни, и вдруг, словно ее подстрелили, превратилась в подбитое, жалкое существо. Я не мог спокойно видеть ее унижение и боль, ноги сами понесли пригласить ее. Она пошла, но двигалась,

как сломанная кукла, явно думая о другом. В этот раз не было никакой ванили, от нее веяло горечью и мучительной болью.

— Мэри-Анн, — я не знал, как ее утешить, — ты очень красивая, замечательная девушка.

— А? Да... — она все старалась так повернуться, чтобы держать в поле зрения Гилберта, а когда танец закончился, бросила меня на середине танцплощадки, пересекла зал быстрым шагом, и что-то тихо, но настойчиво принялась твердить ему, пытаясь схватить его за руку. Он отрицательно мотнул головой. И тогда она, не стесняясь, в голос зарыдала, повернулась, и выбежала из зала. Я помчался за ней, нагнал, она обернулась, наверное, подумала, что это Гилберт. Лицо ее было зареванным, распухшим, красным, ничего не осталось от ее красоты и уверенности. У меня дрогнуло сердце, уже не от влечения, а от непереносимой любви и перехватившей горло жалости. Я не знал, что сказать, просто стоял, сжав кулаки. Она спросила прерывающимся голосом:

— Лукас, вы ведь с ним друзья, да?

Я кивнул головой, хотя уже не был уверен.

— Вот ты скажи ему... Ты спроси его, что же мне делать?... Скажи ему, что отец меня убьет, — и опять зарыдала в отчаянии.

Я растерялся:

— Мэри-Анн, умоляю тебя, не надо! Я с ним поговорю, прямо сейчас!

Помчался обратно в зал, протиснулся к Гилберту, потянул его за рукав. Гилберт недовольно вздохнул, вежливо извинился перед своей новой девчонкой, и поплелся за мной к окну.

— Гилберт, там Мэри-Анн... она... она говорит, что ее отец убьет. Гилберт, она хорошая девушка... — я чувствовал, что лезу не в свое дело, и не находил правильных слов, способных убедить его в столь очевидной истине. — Пожалуй-ста, выйди, она тебя снаружи ждет.

Гилберт некоторое время колебался, он колебался! Потом все же вышел. Я за ним не пошел, не мое это дело. Она в зал не вернулась, а он весь остаток вечера выглядел таким мрачным, что я не решался приставать к нему. Все же на обратном пути не удержался, спросил:

— Ну что?

— Хреново, — хмуро признался Гилберт. — Лучше я пока в Манкос буду ездить.

— А как же Мэри-Анн?

— Да уж как-нибудь, — вздохнул он. — Что я могу поделать?

— Жениться? — мне это казалось единственно возможным, но он ответил зло и раздраженно:

— Если я на каждой жениться примусь, мне придется стать мормоном.

И тут я полностью отчаялся. Почувствовал, что ненавижу его. Очарованный его силой, красотой и прочими достоинствами, я так долго видел в нем пример настоящего мужчины, так из кожи вон лез, чтобы ему понравиться, заслужить его уважение. А самого необходимого для мужчины — ответственности, в нем не нашлось. Такой прекрасный снаружи, внутри он оказался трухлявым. Мне и то от этого стало больно, а уж каково было Мэри-Анн, я себе даже не представляю. Он это, видимо, почувал. С того вечера мы разошлись, и оба знали, что больше мы не друзья. Он все больше сходил с Брэдом, и я старался не позволять их новой дружбе задевать меня. Вообще, мне стало не до

них, на меня все тяжелее наваливалась тревога за Ханку, которой, судя по письмам Ма, лучше не становилось. Я с нетерпением считал дни до конца контракта. Я знал, что теперь найду работу и в наших краях: что ни день правительство выдвигало инициативы Нового курса, а с приобретенным мной опытом и с хорошими отзывами меня бы точно взяли.

В середине мая в лесу вспыхнул пожар. По тревоге мужчин со всех концов парка срочно перебрали тушить огонь. Мне велели вырубать кустарник, чтобы остановить продвижение огня. Я рубил, как сумасшедший, пытаюсь успеть создать голую полосу, но огонь был проворней меня, и подбирался все ближе. Когда я уже не мог терпеть жара и начал задыхаться от дыма, сквозь языки пламени я заметил на поляне Гилберта. Он был полностью окружен плотным кольцом пожара, но, не замечая этого, спиной ко мне, продолжал воевать с огнем. Я собирался крикнуть, предупредить его, но тут совсем рядом огромным костром вспыхнул куст, и мне пришлось отпрыгнуть. Жутко колотилось сердце и пересохло во рту. Гилберта я больше не мог различить из-за сплошной огненной стены. Я знал, что надо вызвать помощь, что-то сделать, в самом страшном сне я не желал Гилберту гибели, и уж точно не хотел, чтобы он сгорел по моей вине, но меня словно столбняк охватил. Конечно, уже через минуту я пришел в себя, и отчаянно заорал Дику и пожарникам:

— Там Гилберт! Гилберт внутри!

В эту секунду Гилберт сам выкатился сквозь горячие сучья с лицом, замотанным в рубашу. К нему тут же подскочили, накинули сверху одеяла, принялись хлопать, лить на него воду.

Везение у этого человека было непробиваемое, он был способен очаровать даже судьбу. Он и тут легко отделался. Санитар смазал ему жиром ожоги на плечах и перевязал царапины. Больше с ним ничего не случилось.

Остаток дня я по цепочке передавал ведра с водой, лишь изредка выходя из шеренги передохнуть. Каким бы плохим человеком он ни был, я испытывал огромное облегчение от того, что не оказался виновным в его гибели. Но я не мог забыть, что был момент, когда я онемел и едва не позволил ему сгореть заживо. Мне казалось, я потерял право кого-либо судить.

Пожар тушили еще несколько дней. Все мне здесь опостылело. Я считал дни до первого июня — конца моего контракта.

На День Поминовения, 25 мая, за несколько дней до моего отъезда домой все ребята из Корпуса были приглашены в Кортес. Был чудесный солнечный весенний день, и у меня впервые за долгое время было отличное настроение — я только что узнал, что Па нашел работу на постройке дорог, как раз в одном из новых правительственных проектов, где ему будут платить приличные деньги — три доллара в день. По тому облегчению, которое я вдруг ощутил, я понял, как, оказывается, все это время давила на меня ответственность за домашних.

В Кортесе одно праздничное мероприятие шло за другим — после волейбольной игры состоялись состязания с призами, затем на помосте прошли три дружеских боксерских матча, я даже пожалел, что не записался участвовать. Через весь город продефилировал красочный парад, возглавляемый духовым оркестром, мы все хлопали и смеялись, а вдобавок для присутствующих на площади накрыли столы с угощением. После обеда все отправились смотреть на

родео, где победителю, способному дольше всех удержаться на быке, полагался приз в сто долларов. И как будто этого мало, оттуда мы перешли на поле, над которым два пилота на маленьких самолетах показывали отчаянные трюки воздушного пилотажа. Они даже сделали несколько заходов со счастливыми-пассажирами. Повсюду щедро наливали сидр и раздавали попкорн. Мне казалось, что у меня самого выросли крылья, и я сам могу полететь, вроде этих пилотов, даже безо всякого самолета. Через неделю я буду дома, а как только вернусь, Ханка придет в норму. А нет — теперь мы можем отослать ее в какое-нибудь безопасное место, где она выздоровеет! Тут я увидел Мэри-Анн.

Я не видел ее три недели, и за это время она изменилась. Похудела, а главное, она одна в толпе выглядела так, как будто вокруг не праздник, а похороны. Гилберта нигде не было. Я подошел к ней. Отвечала она коротко, только кивала «да», «нет». Я не выдержал:

— Мэри-Анн, извини, я знаю, что лезу не в свое дело, но раз так уж получилось, что я в курсе, и, поверь, мне не все равно... что с тобой происходит?

— Лукас, он меня бросил. Что со мной может происходить? Беременна. — Она сказала это четко и спокойно, даже холодно. — Что должно быть, то и произойдет.

Я подозревал что-то такое, но все равно растерялся.

— Я могу тебе чем-нибудь помочь?

— Нет, — она мотнула головой.

— Я могу на тебе жениться, — сказал, и сам своим ушам не поверил. Минуту назад у меня вроде таких планов не было.

Она фыркнула и похлопала меня по рукаву:

— Спасибо, мой милый Мамас-бой. Может, и придется. Славно заживем.

И все это время была такой спокойной, как будто я ее на танец приглашаю. Мне даже страшно стало от такого ледяного спокойствия. И чуть-чуть обидно, что мое предложение ее только насмешило. Я, если честно, иногда это себе воображал, и в моих фантазиях все кончалось иначе.

— Ты ничего плохого не задумала, Мэри-Анн?

— Я? — она пожала плечами. — Я — плохого? Именно от меня ты ожидаешь чего-то плохого? Все остальные тут несут с собой только добро, да?

И отошла. Я не осмелился тащиться за ней, почувствовал, что она хочет остаться одна. С горя пошел и выпил пива. А потом еще и вина. Там стояла бочка и во льду свободно лежали бутылки, и я принялся наливать себе стакан за стаканом. Рядом за каким-то хреном оказался Брэд, и начал ко мне цепляться:

— Ну что, подбираешь за Гилбертом огрызки?

— Вали отсюда, говнюк. — Я впервые так ругался, мне было наплевать. Но Брэд не утомился, вокруг стояли его дружки, и им явно хотелось поразвлечься. Он издевательски захихикал:

— Он посеял, а ты пожнешь, да? Ничего, от него-то покрасивей будет.

Внутри меня поднялась волна невероятной ярости. От острой ненависти потемнело в глазах и зазвенело в ушах. Ничего не соображая, я автоматическим, привычным, отработанным движением со всей силы нанес Брэду апперкот. Он рухнул, как подкошенный, голова его ударилась о каменную ограду парковки.

Как появилась полиция, «скорая помощь», как меня арестовали, все это я помню через туман ужаса.

На суде прокурор указывал на «отягчающие обстоятельства» — что я был пьян, что напал первым и без провокации, он напоминал об «инциденте» в Долорес и требовал предостеречь других, наказав меня по максимуму. Свидетелей было предостаточно, все дружки Брэда. Общественный защитник что-то мямлил и беспомощно разводил руками. Главным его доводом в мою пользу было, кажется, мое прозвище. Местным присяжным это показалось недостаточным.

Если бы, я, как дурак, ожидал, что все ребята нашего Корпуса явятся рушить мою тюрьму, я бы долго ждал. Единственным, кто навестил меня, был Артур. Он же был единственным, кто на суде замолвил за меня доброе слово. Не потому что у меня не было других приятелей, но у всех уже закончился контракт, и всем хотелось домой. Я их понимаю. Один Артур жил поблизости, всего несколько часов пешком. Он рассказал, что Гилберт свалил на следующий же день после драки, и я опять не мог не подивиться тому, как легко везунчик избавлялся от всех несчастий, как будто волосы со лба откидывал. А Мэри-Анн вышла замуж за местного парня. Я и обрадовался и огорчился: ясно, что бедняжка вышла замуж под ружейным прицелом, но все же это спасение, и наверняка жених ее любит, ее нельзя не любить, и может, она еще будет с ним счастлива. Грустно, что я не стал этим счастливымчиком. Впрочем, моя песенка спета. И все-таки, мне непереносимо, до боли обидно, что все получилось так глупо и нелепо. Брэд был говнюк и подонок, но настоящую ненависть, до сих пор лежащую во мне тяжелым, холодным камнем, которую я не могу ни выплюнуть, ни проглотить, которая останется во мне до моего последнего вздоха, я испытываю вовсе не к нему. Даже стараясь гадить, Брэд не сделал столько зла, сколько его походя, не нарочно, причинил Гилберт. И все же, никто из них не совершил такого ужасного, непоправимого греха, как я. Может, убей я настоящего виновника, я бы не был так ужасно наказан.

Только как наказать то, что безжалостней всего, что убивает вообще без причины и повода, мимоходом, как я когда-то убил кардинальчика? В последнем письме Ма сообщила, что нашей Ханы с нами больше нет. Маленькая, славная, чудесная, веселая, любимая моя сестренка скончалась от пневмонии. Проклятая пыль забила ее легкие. Что-то в этом мире чудовищно неправильно, я — только малая толика зла, и то — совсем не нарочно. К счастью, Ма не описывала ее смерть, я бы этого не выдержал. Но в голове сами собой возникали жуткие картины. А мне только этого не хватало — представлять себе, каково это — задохнуться. Ма сообщила, что Хана теперь лежит на кладбище, посреди бескрайней прерии. А еще Ма написала, что любит меня. Эти ее дрожащие буквы, они спасают меня.

И только теперь, когда ни для Ханы, ни для меня уже ничего не исправишь, в Оклахоме начались непрекращающиеся ливни. Ма уверена, что это небеса послушались нашу Хану.

Очень вовремя, потому что я больше не смогу посылать им свои двадцать пять долларов.

Королева

Мальчик терпеливо ждал, пока соседи заснут, и чтобы самому не провалиться в дрему, обдумывал предстоящий побег. Обо всем остальном — о том, что когда-то он в своей тринадцатилетней жизни ел мороженое и пирожные, и иногда даже не доедал эти божественные лакомства, что плакал из-за сломанной машинки или лопнувшего мяча, мечтал кататься на карусели и купаться в море, что были мама, папа, старшая сестра, любимая собака, игры, книжки и своя комната, об этом лучше вообще не вспоминать. Да и было это все так давно! Восемь лет и три месяца назад. Считать можно, цифры не запретили. Когда наступило Великое Осмысление, ему было всего пять с половиной, и родители велели скрыть ото всех его умение читать. Помимо этого, в нем не было ничего ужасного, обычный легкомысленный дурачок, даже не осознающий своего счастья. Правда, его и сейчас мучили всякие мелочи, например, выбитый зуб, но это трудно забыть, если язык все время натывается на распухшие десны. О том, что произошло с прежним миром, об окружавшем его сейчас, о людях, с которыми теперь приходится жить бок о бок, о том, что сам он превратился в истерзанного, несчастного и беспомощного дистрофика, размышлять бессмысленно и противно. С тех пор как погибли все родные, и у него не осталось здесь ни единого близкого человека, поддерживало только повторение доверенных ему текстов. Заученных книг было очень много. Когда выяснилось, что мальчик запоминает каждое слово, отец в течение нескольких лет почти без передышки читал ему, а когда книг не стало, продолжал пересказывать. Папа говорил, что книги не горят, а их хранители не погибают. Никаких чудес, конечно, не случилось: книги горели, и папы не стало. А на мальчика накатило такое непереносимое отчаяние, что он решил бежать. Все попытки пока были безуспешны, но он не сдастся, он будет убегать до тех пор, пока не вырвется, пока не исполнит поручение отца. Тем более, что у него нет другого способа жить дальше, и умереть, как это ни ужасно, тоже не спасет.

Тесная комната заполнилась звуками чужого беспокойного сна. Беглец поднялся со своего вороха ветоши, и осторожно двинулся к двери. Уже много раз ему приходилось проделывать этот путь по узкому проходу в крошечной тьме. Пройдя ночью он задел за кружку, и его сразу схватил бородатый, мрачный дядька из другого угла. Вот и сейчас скрип двери заставил замереть, но, к счастью, соседи только заворочались. Не у каждого хватает сил бодрствовать ночь за ночью. Прокрался по темному коридору, бесшумно ступая босыми ногами и ведя рукой по стене, медленно, стараясь не брякнуть, не скрипнуть, откинул с входной двери ржавый крюк, и выбрался во двор.

Снаружи налетели порывы ветра, сквозь драную рубашку пронзил холод. Ватник пришлось оставить, на него нашит предательский номер. Мертвенный лик луны освещал двор, жутко высвечивая на площади виселицу с качающимися телами. Мальчик старался не смотреть в ту сторону, он терпеливо ждал, когда яркий диск заволокут тучи. В наступившей темноте стремительно пересек двор, и уже почти достиг подворотни, ведущей в путаницу кривых переулков, как кто-то сбил его с ног и навалился сверху тяжелой, смрадной тушей. Беглец забился, пытаясь высвободиться, но напавший принялся душить его и вдобавок завопил отвратительным, истошным голосом. По злобному, дикому вою он

узнал страшную сумасшедшую тетку, постоянно рыскавшую по двору в поисках объедков. Тут же послышался лай собак, окрики сторожей и выстрелы. Тетка отвалилась, расползлась по земле рыхлой, бесформенной кучей, радостно ухмыляясь беззубым ртом: за поимку узника кидают съедобные отбросы. Во двор вбежали хрипящие, рычащие, роняющие пену псы, волоча на поводках солдат, глаза ослепил свет фонарика, нога в кованом ботинке врезалась под ребра, от острой боли потемнело в глазах. Пойманного поволокли к яме смертников, избивая по дороге.

И этот побег провалился. Это ничего не значит, он был готов к этому. Знал, что теперь будет больно и страшно, но так или иначе, он все равно здесь не останется.

Следующей ночью мальчик опять изо всех сил боролся со сном. Лежа в душной комнате, в мельчайших подробностях вспоминал все свои промахи и ошибки, стараясь продумать на будущее способ преодолеть каждое уже известное препятствие и предусмотреть любую возможную неожиданность.

Выждал, чтобы затих злобный сосед, и похожая на скелет женщина, ютившаяся напротив, и угрюмый, бормочущий под нос, полупомешанный старик, валяющийся под крохотным окном. Все эти забытые, измученные, запуганные люди пытались помешать его бегству, и мальчик давно научился опасаться всех окружающих, их страха, зависти или ненависти. Конечно, были и те, кто не мешал, — отворачивался или делал вид, что не заметил, но помогать не решался никто, ни узники, ни те, кто еще на свободе. Приходится рассчитывать только на себя.

В эту ночь он бесшумно прокрался по коридору, выскользнул во двор, убедился, что мерзкая пожирательница объедков не затаилась поблизости, что патруль с собаками далек, благополучно скользнул в лабиринт улочек, пересек весь Сектор и добрался до ворот. На этот раз все шло по плану — в это время караульный часто уходил погреться. Отчаянно цепляясь за решетки слабыми руками, узник вскарабкался до верха створок, перемахнул, изранившись, через стекло и колючую проволоку, и спустился с внешней стороны ограды, срывая кожу с ладоней. Никто не заметил его, никто не слышал и не остановил. Лежащий за пределами огороженного квартала ночной город равнодушно и безмятежно спал. Стараясь держаться в тени домов, босой, хромой и истекающий кровью беглец побежал как можно дальше от Сектора, падая и оступаясь. Остановился в нерешительности лишь перед открытым, широким, освещенным луной мостом. Мост просматривался как на ладони, а достаточно одного взгляда на полуголого, тощего, грязного подростка, чтобы даже без номеров на одежде догадаться, кто он и откуда. И тогда проще простого обнаружить выколотый на предплечье номер. Пока собирался с духом, из боковой улицы выехал автомобиль, высветив фарами хрупкую фигурку. Машина остановилась рядом с прижавшимся к стене мальчиком, из открытого окна послышался мужской доброжелательный голос:

— Ну, чего стоишь? Залезай внутрь!

Беглец вздрогнул, он не верил в добрые намерения чужаков.

— Залезай, тебе говорят! — Немолодой, лысоватый мужчина в гражданском дотянулся до пассажирской двери и открыл ее. — Быстрее!

У него не было выбора, глухие стены не позволяли скрыться, он обреченно

влез внутрь. Машина тут же резко, с визгом, стартовала и помчалась вперед, прямо на дорожную заставу.

— Пожалуйста, не надо... — он всхлипнул от отчаяния. В этот раз он добрался так далеко!

— Заткнись, — в голосе водителя больше не слышалось никакой доброжелательности, он железной хваткой вцепился в руку своего пассажира, и затормозил только у опущенного шлагбаума. К машине подскочил солдат, распахнул дверь, направил внутрь ружье. Шофер пихнул солдату скованного ужасом пленника:

— Куда смотрите? Не видите, что ли, что они у вас как тараканы разбегаются?

Мальчик попытался выскочить, но было поздно. Больше он ничего не видел и не слышал, потому что от удара прикладом по голове потерял сознание и умер, так и не приходя в себя.

Той осенью было еще много ночей, в которые маленькому узнику удалось побороть усталость и страх, и решиться на еще одну почти безнадежную попытку побега. Иногда беглеца задерживали прямо в ночлежке, реже удавалось пересечь полгорода, пару раз он добирался до железнодорожных путей. Его хватали запуганные соседи, ловили безжалостные надзиратели или солдаты, останавливали добровольные помощники палачей. Каждая попытка заканчивалась неудачей, а многие — чудовищной расправой и мучительной казнью, после которой его откидывало к начальной точке — на прелое лежбище в тесной комнатухе, к упорным планам нового побега.

Лишь в ноябре ему удалось, наконец-то, избежать провала. Он добрался до полустанка и вскарабкался в идущий мимо товарняк. Промерз всю ночь, закопавшись в груды угля, и к рассвету оказался в каком-то большом городе. Поезд остановился, вдоль путей брели обходчики. Мальчик спрыгнул на насыпь, пригнувшись, добежал до домов и нырнул в маленькую, кривую улочку. Он надеялся, что в этом городе нет Сектора и тощий, босой оборванец не вызовет у жителей особых подозрений. Моросил дождь со снегом, измученный беглец из последних сил ковылял по узкому, пустынному переулку, обхватив себя руками, уже не скрываясь. Еще в пути он закоченел от встречного ветра, и теперь почти не чувствовал холода, только тело трясло и кровоточили ноги, сбитые о булыжную мостовую. От голода мутилось сознание. Он добрался как никогда далеко, но у него по-прежнему ни крова, ни пищи, ни безопасного убежища. Беглец впервые пал духом, и отчаяние лишало сил и упорства вернее, чем мучения. Рано или поздно его все равно схватят, так пусть уж поскорей, чтобы все прекратилось навеки, чтобы он провалился в безвозвратное небытие, лишь бы окончились бессмысленные страдания. Теперь, когда очевидно, что в мире нет никого, кому нужен он или его знания, полное исчезновение казалось единственным способом освобождения.

Дойду вон до того серого дома, там сяду, и будь что будет, решил он. Только чудо могло бы ему помочь, а чудо — сколько ни старайся и ни размышляй, не запланируешь. Но едва беглец доковылял до намеченного себе предела, дверь в стене распахнулась, толкнув его в плечо с такой силой, что он не удержался на трясущихся ногах, и рухнул. Раскрывшая дверь пожилая женщина ахнула, метнула испуганный взгляд по сторонам, убедилась, что улица пустынна,

склонилась к упавшему мальчику, и втащила почти бесплотное тельце внутрь подъезда.

Она доволокла его до своей каморки под самой крышей. 64-151163193-48, или попросту — 48, — напоминала старушку-библиотекаршу из прежней жизни: высокая, худая, слегка сутулая, крупный нос, морщины, полуседы пряди зачесаны на затылке в гладкий пучок, темное, длинное платье, а глаза за очками светлые и хорошие. 48 усадила мальчика у маленькой печки, накрыла теплыми одеялами и напоила горячим чаем. Едва его перестало трясти и колотить, покормила с ложки бульоном с рисом и без колебания уложила грязного и вонючего мальчика на диван, застланный чистой простыней. Он спал почти бесконечно, а когда проснулся, все это оказалось не сном. Его спасительница тем временем сварила картофельный суп и испекла пирожки с капустой. Он ел уже сам. Женщина нагрела воды, и впервые за бесконечно долгое время он вымылся, а потом переоделся в принесенные ею чуточку великоватые мужские штаны и мягкий, теплый свитер.

Она ничего не спрашивала, он сам выдал заранее придуманную байку — что пришел из деревни. Женщина невесело усмехнулась:

— Можешь мне ничего не объяснять.

Он сначала испугался, что она не верит ни единому его слову, а потом решил, что раз так, то ничем не рискует, даже рассказав правду. У этого первого человека, позаботившегося о нем, оказались такие грустные глаза, такой мягкий и тихий голос, и рука ее гладила его затылок так ласково, а он так устал быть начеку и опасаться! Ему нестерпимо захотелось укрепить протянувшиеся между ними ниточки сочувствия и доверия. И он честно признался, откуда сбежал, и что случилось с его родными. Старушка вытирала глаза, вздыхала, жалела страдальца, утешала и поражалась жестокости людей. Он только удивился, как она сама умудрилась прожить так много лет, и ничего не знать про людей и не ведать, на что они способны, но вслух пробормотал:

— Удивительно было бы, если бы помогали, когда за это вешают.

Тут же спохватился своей откровенности, вдруг она испугается, или обидится. Но женщина улыбнулась, и ее улыбка была похожа на восход солнца после ночи с вурдалаками:

— Мне кажется, помогают так же, как подхватывают падающего ребенка — ничего сознательно не просчитывая, даже не думая. И делают это, когда иначе просто не могут. Наверняка, сами не смогли бы объяснить — почему.

Все, что больно и опасно, делаешь, только если нет выбора. А риск для протянувшего руку помощи чудовищно огромный и неоправданный. Но если те, которые не могут отвернуться, даже не способны объяснить собственных поступков, то как на них полагаться? Поэтому мальчик и насчет 48 не очень-то был уверен. Когда на второй день старушка заявила, что пойдет на рынок, беглец сильно опасался, что неожиданная благодетельница побрела вовсе не на рынок, а доносить в полицию, в надежде получить за это какое-нибудь крохотное благо. Он давно убедился, что для большинства чужих людей самый маленький пустяк важнее, нужнее и полезнее, чем его жизнь. Сложил в мешок горбушку, постиранную одежду, и уже намеревался благоразумно удрать, но перед глазами встала ее улыбка, — он не смел даже вспоминать, у кого в прошлом была такая же светлая, добрая улыбка, — и не смог заставить себя уйти во враждебное никуда.

Она вернулась одна, без полицейских, зато с хлебом, много-много хлеба, и с тремя мелкими, побитыми яблоками, все три отдала ему, он уже целую вечность не ел ничего вкуснее.

Отец учил, что у каждого есть имя, что на самом деле человек — не номер, поэтому он спросил 48, можно ли называть ее Бабушкой? Она опять улыбнулась, и он понял, что либо угадал, либо нашел для нее правильное имя.

Как ни странно, казалось, что Бабушка обрадовалась его появлению, словно раньше ей не хватало забот, а теперь у нее в жизни появилось долгожданное занятие. Ее худые веснушчатые руки слегка дрожали, но постоянно делали что-нибудь замечательное и доброе: жарили картошку, варили невероятно вкусный перловый суп, отрезали добавочный толстый кусок хлеба, заваривали чай, открывали следующую банку варенья, сладкого, как первые минуты свободы, стирали и штопали его одежду, перешивали в куртку найденное в чулане старое одеяло, замазывали и бинтовали ссадины мальчика.

На полке обнаружились старые шахматы. Игра всколыхнула память о детстве, он все еще помнил, как ходят фигуры и что обычно начинают Е2-Е4. Бабушка совсем не умела играть, не знала, как эта коробка к ней попала, даже беспокоилась:

— Ох, не сдала я их, а тут ведь буквы...

— Ну и что? — Мальчик рискнул, и осторожно добавил: — А раньше целые книги были! Много!

Бабушка взглянула на пустые полки, и горько усмехнулась:

— А то я не знаю.

Он решился, и прочитал ей свой любимый рассказ «Случай на мосту через Совиный ручей». Она слушала внимательно, сцепив пальцы, а когда он замолчал, глубоко вздохнула:

— Мы натворили столько ужасных вещей, что оказались недостойны таких текстов.

Но Бабушка, конечно, была достойна. Мальчик не выдержал и принялся читать ей «451⁰ по Фаренгейту».

— Смотри, как все в этой истории полно благих намерений! — покачала головой старушка. — Хотели сделать людей счастливее, объясняли им, что без книг будет гораздо лучше... У нас-то так не церемонились: объявили, что людей стало «слишком много», и гораздо лучше будет вообще без них! А книги мешали. Казалось, без них будет проще...

— Да, если у кого-то внутри засели тексты, то... — мальчик сам не знал, как объяснить чудесное влияние книг на своих хранителей, и просто сказал: — ...эти люди, они как больные. Только не смертельно, а... наоборот... — Бабушка все равно не поверит, не стоит входить в подробности. И подытожил: — Но каждый из впитавших в себя книги сам становится заразным. А если кто-то еще и сам сочиняет, даже если в голове...

Тут он, наконец, спохватился и замолчал.

Она вздохнула:

— Нам хотелось самим выжить любой ценой. Выжили, а ради чего, ради кого, спрашивается? Напрасно...

— Бабушка, — мальчик покровительственно похлопал старушку по рукаву. — Какое же напрасно? Меня вон спасли! — И добавил, чтобы старушка больше не грустила: — Вы необыкновенно очень-очень хорошая.

Она закашлялась и повернулась к печке, проверить, готовы ли кукурузные лепешки.

Он часто читал ей, выбирая книги, которые больше всего ценил отец. О длинном возвращении воина на свой остров, о принце, защищавшемся сумасшествием от коварства и предательства, о сумасшедшем идалго, защищавшем несчастных, о вековом одиночестве людей, не умевших любить, о любви, которая сильнее смерти, и о печальной смерти двух юных любовников...

Когда уставал читать, они сражались в шахматы, и постепенно оба страстно увлеклись игрой. Поначалу его соперница совершала сплошные глупости, и мальчик досадовал:

— Ну нельзя же отдавать королеву за пешку! Это же самая сильная фигура!

— А мне кажется, что именно так будет правильно!

— При чем тут «кажется»? Это королевская игра! Шахматы требуют анализа, разума и логики!

— Если доверять одной лишь логике, можно додуматься и до того, что происходит сейчас, — не сдавалась Бабушка.

Постепенно кое-как разобралась, но по-прежнему то и дело путалась, отвлекалась, задумывалась, забывала, чей ход, постоянно переспрашивала, кто как ходит, не могла запомнить, что королева и ферзь, слон и офицер, ладья и тура — разные названия тех же фигур, не умела рокироваться и удивлялась, что пешка, дошедшая до противоположного края доски, превращается в королеву. Сама над собой посмеивалась, ни минуты не размышляла, не обращала ни малейшего внимания на ходы, и, тем не менее, абсолютно случайно, каким-то наитием, в решающий момент делала самый выигрышный, единственно правильный ход, совершенно невероятным чутьем мгновенно используя любую оплошность противника, умудряясь ставить ему мат за матом, порой даже не замечая победы. Когда он выпытывал, почему она приняла то или иное решение, оправдывалась:

— Сама не знаю. Вот взглянула, и кажется — а как же иначе? Так и иду. Все продумать и просчитать я больше не пытаюсь.

Ее слепое везение одновременно бесило и раззадоривало. Чем дальше, тем важнее казалась эта ускользающая шахматная победа, как будто от нее на самом деле зависело что-то решающее. Мир сузился до дурацких шахмат. Мальчик удвоил внимание и старательность, трясся над каждой своей фигурой, и при этом продолжал проигрывать досаднейшим образом. Привыкнув размышлять над провалами и неудачами, он пытался тщательно обдумывать каждую проигранную партию, выискивать прошлые ошибки, строить тактические комбинации и стратегические планы, но все его расчеты оказывались тщетными, их раз за разом крушили неожиданные варианты и неучтенные ситуации. Приходилось признать невозможное: Бабушка оказалась природным, стихийным гением этой игры чистого разума.

В перерывах между турнирами он исследовал жилище старушки. В чулане при крошечной кухоньке обнаружилась почти незаметная дверь, ведущая через узкий черный ход на чердак, а с чердака сквозь маленькое окошечко можно было вылезть на черепичную крышу. Мальчик долго тренировался на ощупь находить и бесшумно отпирать эту дверцу, десятки раз прополз в темноте до чердачного окна, изучил крышу и ближайшие переходы на соседние дома. В случае внезапного обыска или облавы он скроется этим путем. Как ни хорошо

ему тут, это только привал, только остановка. Чем больше книг он доверяет старушке, тем быстрее он сделает для нее что может, и тем скорее настанет пора двигаться дальше. Даже шахматное безумие не позволяло забыть, что наверняка многим людям ненавистно то, что происходит, а с тех пор, как он встретил Бабушку, он поверил, что все его старания были не напрасны, что отец был прав — люди нуждаются в нем.

Сначала его спасительница возражала, а потом смирилась, поняла, что ему необходимо продолжить свой путь. Разумеется, это тоже оказалось причиной для заботливых хлопот: она сложила в старый рюкзак подходящую одежду, обнаруженную в чулане, засушила в духовке хлеб на сухарики, дотошно объясняла, как выбраться из города и куда ведут различные дороги. Но мальчик со дня на день отодвигал неизбежное решение вернуться из теплого, сытного дома на холодные, опасные улицы чужого, злобного, пронумерованного мира. Покинуть человека, который был ему рад и стал близок, оказалось невероятно тяжело и страшно. С каждым днем бывший узник становился все сильнее и увереннее в себе, но душа его зацепилась за это место, как взгляд цепляется порой за огонь.

Когда они сели за их последнее шахматное сражение, про которое он еще не знал, что оно окажется последним, именно старушка обозначила всю судьбоносность результата:

— Ход этого турнира решит судьбу игроков! Победенный будет мыть посуду!

Он засмеялся. Внезапно у него возникло непривычное искушение играть, подобно ей — легко, бездумно и стихийно, положившись на вдохновение, отбросить постоянные расчеты и размышления. Словно читая его мысли, Бабушка подбодрила:

— Правильно, не трусь, куций хвост, доверяй себе и другим.

— Это когда я трусил-то? — задохнулся от возмущения мальчик, и отважно, без колебаний и рассуждений сдвинул стоявшую перед королевой белую пешку на середину поля, на d4. И добавил назидательно: — А доверять можно только себе.

— Ишь ты! Вот это ты уже напрасно, — она зеркально повторила его ход собственной черной пешкой. — Сначала Они перестали людям доверять, потом научили людей не доверять друг другу, затем отобрали у них книги, казнили всех Книжников, так или иначе уничтожили всех Грамотеев, а кого хотели, заключили в Сектор... И позаботились, чтобы никто не мог сбежать, даже в книгу. Их как раз очень устраивает, чтобы каждый полагался только сам на себя.

— Мне приходилось полагаться только на себя, — огрызнулся мальчик. — Никому другому я не был нужен!

— Конечно, нужен! Просто вы друг в друга не верили, а чудо не может наступить там, где в него никто не верит, — махнула рукой старушка.

От ее слов он растерялся. Ведь все, с кем ему приходилось иметь дело, предавали, пытали, убивали. Кроме мамы, папы и старшей сестры. Ну, и старика, отдавшего ему ватник. И еще того дядьки, который запретил соседям выгонять его. И женщины с солдатской кухни, которая всегда выкидывала отбросы именно тогда, когда он подходил порыться в обедках. Еще был солдат, кинувший ему в яму хлеб. И караульный один раз отвернулся, он тогда думал — случайно... А потом повстречалась Бабушка...

— Я боюсь доверять, — признался он и потрогал языком впадину от зуба.

— Они тоже. Думаешь, я тебя не боялась? Просто ты уже был едва живой, вот я и осмелела. — И шутливо дернула его за ухо.

Сама хорошая такая, добрая, смелая, вот и думает, что все такие. Он растрогался, расслабился, почувствовал, как отлегла, отпустила постоянная потребность контролировать и проверять каждое свое действие, и пошел почти наугад — рядом с первой своей пешкой поставил соседнюю, прикрывавшую до этого офицера. И сразу спохватился, пожалел о рисковом ходе, никогда бы так не поступил, если бы хоть чуточку подумал! Теперь эта вторая пешка ничем и никем не защищенная, подставлена выдвинутому черному вражескому солдатику! Чему доверять-то? Чужой невнимательности, что ли? А Бабушка, всегда действовавшая наобум, вдруг, наоборот, задумалась над доской, причем так надолго, как будто на этот раз избрала победной тактикой измор противника. Ему даже показалось, что она погрузилась. Наконец, вздохнула и решилась:

— Нет, меня не обхитришь! Не примем вашу жертву!

И вместо того, чтобы съесть беззащитную фигурку, тонкими, мелко дрожащими пальцами передвинула на одну клетку собственную пешку, стоявшую перед ее королем. Пешка послушно прикрыла свою соратницу, встав наискосок. Он продолжал играть, положившись на интуицию, исходя из первого порыва, и ходы его, может случайно, а может, из-за приобретенного неосознанного опыта, были удачнее прежних, сделанных после вдумчивого размышления.

— Вот видишь, — бормотала Бабушка, — не такая уж я страшная и коварная, зря ты мне не доверял...

Правда, зря. Самому теперь странно вспомнить.

Но она на этот раз совсем потеряла бывшую уверенность, принялась, наоборот, бесконечно думать, прикидывать. Ее трясущаяся рука то и дело неуверенно парила над фигурами. Наконец решилась:

— Эх, будь что будет...

— Шах королеве — это никакой не «будь что будет». Если уж предупреждать, то надо говорить «Гарде», то есть «Берегись», — буркнул мальчик.

— Да, если беречься, то королевой придется жертвовать, — Бабушка сказала это с такой внезапной, необъяснимой печалью, что у него защемило сердце.

— Бабушка, да не бойтесь вы, даже если проиграете, вымою я вашу посуду! — утешил он ее великодушно.

— Я тебе верю, миленький мой! — засмеялась старушка. — Я как тебя в самый первый раз увидела, так сразу понадеялась, что вот, наконец-то, нашелся мой спаситель!

Мальчик расхохотался. Конечно, хорошие, добрые, смелые люди, для которых и были написаны книги, рискуя собственной жизнью ради спасения гибнущего, всегда при этом твердо рассчитывают заполучить простака, который будет им чистить ботинки, гулять с их собачкой или поливать кактус! Он вновь склонился над доской, пытаясь разобраться в ситуации, поразмышлять над возможными вариантами, и опять уступил неодолимому, необъяснимому соблазну довериться себе и ей: вместо того, чтобы спасти свою королеву, продвинул вперед ту самую пешку, которую Бабушка пощадила в самом начале. Однако на этот раз ее черный слон с неожиданным равнодушием слопал его ферзя, и Бабушка опрокинула съеденную фигурку, как он ее учил. Досадуя на

свою доверчивую беспечность, он машинально снял королеву с доски. И все же, очень скоро пророчество доморощенного гроссмейстера-Бабушки осуществилось: белая пешка сумела дойти до края, тут же превратившись в нового ферзя, причем его удачное местоположение позволило мальчику в несколько ходов впервые поставить своей противнице мат.

Долгожданная победа обрадовала его так сильно, как будто он победил не рассеянную старушку, а всех своих неисчислимых врагов. Бабушка не обиделась на его неприкрытое ликование, наоборот, радовалась вместе с ним, даже пошутила, что отныне она за него спокойна: шахматы прокормят его всегда и везде, и впредь чудеса хлынут сплошным потоком.

Посреди своего торжества мальчик внезапно ощутил, что теперь несомненно настала пора уходить. Радость мгновенно испарилась. Старушка словно догадалась — неожиданно притянула его к себе и поцеловала в лоб. Он боялся трогательного прощания, поэтому так и не решился признаться, что уйдет на рассвете, даже не стал раздеваться. Заснуть в тот вечер мешала сосущая тоска и тревога.

В предрассветный час мансарду затряс сильнейший грохот в дверь, оглушили крики «Полиция! Открывайте!». Мальчик вскочил с дивана, и, не размышляя, отдался спасительному инстинкту, толкнувшего его к черному ходу. Он успел услышать, как рухнула входная дверь, топот сапог, истошный крик Бабушки и громовой выстрел. Вздрыгнул, как будто попали в него, пронеслась отчаянная мысль — успел ли прочитать ей достаточно? Теперь никогда не узнает... А ноги уже сами несли его, руки машинально распахнули и прикрыли за ним тайную дверцу, тело вырвалось наружу и, перепрыгивая с крыши на крышу, беглец стремительно удалялся от приютившего его дома.

Задержался мальчик только на секунду, когда поскользнулся, упал на бок, и что-то больно кольнуло в бедро. Из кармана штанов выпала и покатилась по скату черная королева. Он не стал ловить ее. Королева принесла себя в жертву ради пешки, и пешка не имеет права растратить дарованное чудо попусту. Ему необходимо продвигаться к концу лежащего перед ним поля его сражения, оставляя позади как можно больше людей, защищенных от самого ужасного книгами. Пока горит даже одна спичка, темнота не кромешная, и он призван переходить с места на место, чтобы, подобно фонарщику, зажигать, зажигать крохотные очаги, которые невозможно потушить, потому что книги горят, но негасимо пламя их слов...

Тьма расступалась, над сумрачным, печальным городом вставала заря. Сверху ему было видно, как в окошках загораются огоньки, в домах встают, просыпаются люди. Когда он исполнит свой долг, день станет яснее, а он вновь окажется обычным смертным. Взамен бессмысленных цифр он получит обратно собственное имя.

Его зовут Адам.

Геннадий Кацов

Как снедью хороши столы

Из детства

Мне, кажется, семь. В умывальном экстазе
Мурашки по мокрому телу ползут,
Колодезной влагой волнуется тазик,
И зуб сразу не попадает на зуб.

Встречает прохладой дачное утро —
Каникулам точно не будет конца,
И мальчик — с кровати, раздетый-разутый,
Смывает все лишние лики с лица.

И радиопесня, как камфорой в уши,
И контурной картой висит вдоль стены
Весь СССР, растянувшийся сушей,
Как шкура ещё не убитой страны.

Мартовские оды

Без признаков зелени март.
Дорога в пейзаже оконном
Гудит, как гриппозный кошмар,
Всем транспортом в трансе. И фоном

По мёрзлому небу стволom
Царапают трещины ветки;

Жилища вползают углом,
Как прежде на сушу их предки.

Но лужи пустое стекло
Читает фонарь, как молитву...
И всё, что в пейзаж не вошло,
Ещё пережить предстоит нам.

Кацов Геннадий — поэт, прозаик, журналист. Родился в 1956 г. в Крыму, в г. Евпатории. Окончил кораблестроительный институт в г. Николаеве. В 1980-е гг. участник московской литературной группы «Эпсилон-салон», один из основателей клуба «Поэзия». В 1989 г. эмигрировал в США. Автор книг стихов и прозы: «Притяжение Дзен» (С.-П., 1999), «Меж потолком и полом» (Н.-Й., 2013), «Словосфера» (Н.-Й., 2013), «365 дней вокруг солнца» (Н.-Й., 2014). Составитель поэтической антологии «НАШКРЫМ» (Н.-Й., 2014). Живет в Нью-Йорке.

* * *

Немного клея, ножницы с картоном —
И дом возник во всех его деталях
С положенным пространством законным,
Как и должно быть, уходящим в дали,
С удобным современным интерьером,
В котором жить и счастливо, и вечно,
Что неизменны постулаты веры,
Присущей для картонных человечков,
Поскольку им непросто, но терпимо
В их времени с картонными часами,
В их месте, что с грядущим несравнимо,
О чём пока они не знают сами,
Покуда суетятся по привычке,
Взыскуя зрелищ и побольше хлеба,
Но хватит и одной зажжённой спички,
Чтоб их картонный мир вознёсся в небо.

* * *

Бессонница и есть застывший взгляд,
Что из-под век сочится, как у Вия,
И делает бессмертными предметы
В отдельно взятой комнате сейчас,
Поскольку взгляд и больше человека,
И старше, и когда в ночи не спишь —

Смерть для души в давно забытом прошлом,
И ты лежишь в гробу ли, в колыбели:
Бессонница и есть, что предстоит
Всегда, как будто раскрываешь книгу,
Её листаешь тонкие страницы
И знаешь, что закрыть её не в силах.

* * *

Рай в душе никогда не закончится:
Это тленные органы тела
От рожденья болеют и корчатся
В муках адовых; это пределы
Разобщённых пространства и времени
Жмут и давят, как будто для гроба
В перспективе готовят — так к темени
Потолком подступает утроба,
Так с годами растёт центробежное
Ускорение смерти, и к сроку
Все пять чувств пред шестым — неизбежности —
Отмирают; так долго в дорогу

Собирают и пищу, и снадобья
Самым близким, сдержаться стараясь,
Но для душ возвращённых и надо бы
Одного лишь предчувствия Рая.

* * *

Прижаться поплотнее и заснуть,
И видеть сны, один другого лучше,
И это тот невероятный случай,
Когда двоих благословляет путь.

Когда нет ни претензий, ни обид,
Есть только сон, верней — его идея,
И самый первый, безответный «где я?»,
Среди вопросов даже не стоит.

Есть смысл у жизни и, возможно, в нём,
Как и у сфинкса, неземная тайна,
И одному познать её — летально,
Но редко повезёт познать вдвоём.

Последний час августа

Зелёный цвет. И он же, цвет зелёный,
Всё также шепчет в кронах под луной,
Всё также шелестит в уснувших клёнах,
Как прошлой, по-зелёному, весной.

И осенью он никуда не делся:
В нём сотни всплесков голубой реки,
В нём стаи голубей и чьё-то детство,
В нём облаков парят черновики

И строчки недопетого куплета
Последней ночью августа, в тот час,
Когда в тебя, как в кокон, входит лето,
Со всем зелёным, что прощалось в нас.

* * *

Как снедью хороши столы,
А новый дом — надёжной кровлей:
Деревьев майские стволы
Полны артериальной кровью.

Бьёт под корой весенний сок
Азартно и самовлюблённо,

И в синей вышине висок
Пulsирует венозной кроной.

И всей системою корней,
Весомых, как первоисточник,
Кровь подаётся даже к ней,
К вот этой вот ветвистой строчке.

Алексей Иванов

Мартышка посла Бурунди

Рассказы

Из цикла: «Семь смертей Дома радио»

Музыкальный редактор Бася М. умерла ночью. Сухопарые и тощие крашенные старухи из музыкальной редакции говорили между собой, что она умерла хорошо. Тогда, по молодости лет, я не понимал, что значит «умереть хорошо», и относился к этому едва слышному шепоту и вполне удовлетворенным кивкам, которыми они обменивались, как к их привычной старушечьей придури. Вроде как к скандалу на летучке из-за прерванной в эфире музыкальной фразы.

Старухи были сверхинтеллигентными, все они были консерваторки, пришедшие на радио задолго до войны, когда Ленинградское радио слыло (и, наверное, было) убежищем интеллигентов. Скорее, однако, утверждение это относилось к разряду легенд, потому что на радио сажали точно так же, как и во всем Ленинграде, и доносили точно так же. Может быть, изначально концентрация интеллигенции была повыше? Не знаю. Во всяком случае эти бывшие консерваторки, выжившие в арестные двадцатые, расстрельные тридцатые и смертные блокадные годы, странным образом усохли, мумифицировались и существовали в музыкальной редакции радио, внушая ужас крашеными морковными волосами, искусственным румянцем на щеках, петербургским грассированием, страстной любовью к радио и рассуждениями о безобразиях, которым подвергалась, по их мнению, музыка в эфире. По странному стечению обстоятельств все они остались без детей, мужей и их единственным детищем было Радио. Которое они обожали и служили ему, как служили бы своим не родившимся детям и бесследно канувшим в советскую Лету несостоявшимся мужьям.

Они беззвучно существовали за стенкой моего редакционного кабинета, возникая время от времени с немым укором в глазах, когда нетрезвые вечерние компании в нашей редакции шумели слишком громко. Мы мешали им отслушивать какие-то бесконечные трансляции из филармонии, записанные на гигант-

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор трех романов, нескольких повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живет в Москве. В «ДН» печатается впервые.

ских бобиных шоколадно-коричневой гэдээровской пленки AGFA. Бобины были усеяны вставленными в плотно намотанную пленку бумажками, отмечавшими что-то, известное только им и, несомненно, дорогое.

Поначалу я долго путал старух, они мне казались на одно лицо, потом стал узнавать и различать, но долго, едва ли не до самого конца моей работы на радио, так и не мог определить — сколько же их там, в небольшой комнате музыкальной редакции, находилось. Тем более, что вдруг они начали одна за другой умирать. Отходить в мир иной. Для меня — так же тихо, почти незаметно и может быть не совсем определимо, какая же из них умерла. А какая может беззвучно открыть дверь моей редакции и с укором взглянуть на веселящуюся компанию. Боже, ведь я ее совсем недавно хоронил! И только присмотревшись в отдельные темно- (или светло)-морковные буколки, можно было вздохнуть с облегчением — нет, хоронил я недавно, пожалуй, не эту. Та, кажется, была с буколками потемнее. Или посветлее...

Словом, умерла Бася М. И умерла, как они считали, хорошо. Осталось только ее похоронить.

Здесь надо сказать, что я в ту пору каким-то образом (может быть, из-за частых похорон?) был знаком с начальником всех похоронных дел Ленинграда. Это был очень важный пост, пробиться к этому человеку было практически невозможно, — он давал, в частности, разрешения хоронить на тех старых ленинградских кладбищах, где захоронения были запрещены. Одно время в Ленинградском обкоме партии витала мысль, что городские кладбища наводят на жителей города ненужную печаль, а потому они должны быть снесены, а на их местах очень удобно будет расположить парки и места гуляния трудящихся. Так исчезло несколько городских кладбищ, и, разумеется, похороны на них, исчезающих, были запрещены строжайше. Если не разрешал их тот самый человек, главный по всем похоронным делам Ленинграда, с которым я был каким-то случайным образом знаком. Он, кстати, несмотря на важный пост, оказался человеком простым, довольно молодым и доброжелательным. Позже он какое-то недолгое время был директором Литфонда. Встретив меня там, он буквально бросился мне на шею — видимо, безмерно скучал среди полуживых пожилых писателей.

И вот оттого, что я был знаком с этим важным человеком, я стал очень популярен на радио. Ибо человек этот ведал и захоронениями на еврейском кладбище. Цена взятки за захоронение на еврейском кладбище была, естественно, значительно выше, чем за погребение на любом из остальных. Включая и Литераторские мостки. Кому они нужны были тогда, эти Литераторские мостки?

Так что когда умерла Бася М., взоры музыкально-консерваторских старух с надеждой обратились на меня. Я со свойственным молодости легкомыслием пообещал устроить похороны Баси на еврейском кладбище, но потом оказалось, что ее не обязательно хоронить (растрачивая, как сказали бы сейчас, административный ресурс) на старом еврейском кладбище. Видимо имелось в виду, что связи мои в этой области могут еще понадобиться для более значительных людей, чем Бася М., тем более, что родственников у Баси М. не было и она вполне могла упокоиться на новом еврейском кладбище. Которое в те поры не пользовалось популярностью у умирающей еврейской общественности. И вообще почему-то называлось Кладбищем 9-го января. Что такое это самое 9-ое

января, я, признаюсь, не знаю и по сию пору. Думаю, что и не я один. Назвал кто-то, кто может быть и знал что-то про эту дату, а потом уж так и повелось: девятое января да девятое января. Впрочем, чтобы похоронить человека даже и на новом еврейском кладбище, том самом, 9-го января, все равно требовалось разрешение моего всесильного знакомого. Но оно было получено легко. Осталось только отправить несчастную Басю М. в последний путь.

— Утром — вечером? — ровным голосом поинтересовалась дама из похоронного треста, куда я звонил относительно машины и могилы.

«Ясно, что вечером, — мелькнуло в голове, — не разбивать же похоронами рабочий день.»

Опытная дама неопределенно хмыкнула, но я не услышал ее. Я был слишком молод, легкомыслен и влюблен. Я не подумал о том, что полная темнота в конце декабря в Ленинграде наступает преступно рано. А если на улице почти тридцатиградусный мороз и жесткая, шуршащая поземка... Но что поземка, что похороны, если ради них надо терять целый день общения с любимой? А она тоже работала, была замужем и обязана была являться домой без секунды промедления.

Итак, вечером. В шестнадцать часов. Утром я узнал адрес Баси М. Жила она в Конном переулке, мне хорошо знакомом. Без четверти четыре, поеживаясь от упомянутой уже поземки, я свернул на Конный. Возле парадной Баси стоял темно-синий похоронный автобус. В сумерках он казался черным. Наскоро переговорив с водителем, я, перепрыгивая через две ступеньки, поднялся наверх. Жила Бася высокомерно. На четвертом этаже. Но беда еще состояла в том, что лестница была дико узкой. Не иначе, хозяину доходного дома так хотелось сэкономить на жизненном пространстве, что он решил, что будущие жильцы его дома будут жить вечно. Потому что протащить гроб по такой лестнице было невозможно. Но, как говаривали когда-то римляне, и невозможное возможно! Особенно если ты молод, влюблен и уже набил руку на вытаскивании гробов из питерских коммуналок по узким лестницам. Правда, эта лестница была не просто узкая, на ней к тому же были какие-то странные полукруглые площадки между этажами, а между вторым и третьим, и третьим и четвертым на этой полукруглой площадочке были еще и косые, стертые ступеньки, делившие площадочки на неровные части.

Впрочем, меня это не особенно смутило, ясно было уже, что гроб придется поднимать вверх, ставить на перила, аккуратно разворачивать на каждой площадке и только тогда продолжать печальный спуск.

Возле отпертой двери пятого этажа стояла крышка гроба, оббитая красной тканью. Гроб оплачивал местком, а потому я не скупился на роскошь. По углам к нему были прибиты грубыми плотницкими гвоздями с широкими, торчащими шляпками какие-то красно-черные рюши и алюминиевые нащепки, которые в накладной именовались почему-то «художественными бронзовыми накладками». Но меня в данный момент интересовало другое. Я потрогал крышку и попробовал поднять ее. Она была изготовлена из толстенных сырых неструганых досок и весила, как я и предполагал, полтонны. Из двери пахло свечами, резким елочным духом и каким-то неуловимым, но уже знакомым мне запахом тления.

По быстрым взглядам наших радийных старух я понял, что все слова, что положено говорить в таких случаях, уже проговорены, и все ждали меня, чтобы отправить бедную Басю в последний путь. И совсем не в переносном смысле. Я

подошел к гробу. На белом покрывале лежало несколько почерневших от мороза гвоздичек, яркие, остро пахнувшие ветки лапника и каким-то скромным полукругом, не то нимб не то чепец, — недлинная плеть плюща. Из него выглядывало незнакомое лицо Баси, которая стала вдруг странно похожа на свою фотографию военных лет, одну из тех, что еще недавно висели у нас в вестибюле Дома радио. От этой держащейся с достоинством нищеты у меня вдруг защемило сердце и защекотало в носу.

Однако особенно горевать было некогда, я оценил и поздние сумерки, и быстрые взгляды старух, ожидавших конца церемонии. Я поднял голову и только тут понял весь ужас положения. Мужчин было двое. Махонький почтенный старичок с прилизанными седенькими волосиками, жидкой косичкой и розовыми, оттопыренными ушами — и я. Старичок как носитель тяжестей, интереса не представлял. Как я не догадался прихватить с собой парутройку бандитов из своей молодежной редакции! Но что говорить, уже поздно! Я скатился вниз, к водителю «похоронки» и молча показал ему в окошко двадцать пять рублей. Сумму, по тем временам не маленькую, если учесть, что бутылка «Столичной» стоила четыре рубля двенадцать копеек.

— Надо помочь вынести, — небрежно сказал я, когда дверца машины отворилась. — И еще столько же — на кладбище.

Водитель молча вылез и, пыхтя, стал подниматься вслед за мной по узкой и кривой лестнице.

— Здесь и не развернешься, — профессионально подметил он, уже намекая, что денег надо бы добавить.

Я пропустил его вперед и чуть перекрыл выход. Ясно было, что первым движением его будет повернуться и — сбежать. А тут и я!

Так и произошло. Увидев, что кроме меня помощников на перетаскивание гроба нет, он дернулся к двери. Но десятка, сунутая ему в руку, сыграла роковую роль. Жадность, как известно...

Я установил крышку на гроб, не слушая старушечьих: «Лицо, лицо накидочкой прикройте!», и мужественно взялся за ручку на широком торце.

— Забить надо! — вовремя напомнил мне водитель.

Кто-то из старушек подал предусмотрительно заготовленные гвозди и молоток, и мы с водителем, смирившимся, кажется, окончательно, забили крышку гроба. Старушки шмыгнули носами и передвинулись в коридор, надевать странные свои одеяния — пальто с пристегивающимися вытертыми воротниками, непонятные шарфы-башлыки и муфты.

Гроб оказался чудовищно тяжелым. Это я понял, сделав первые два-три шага.

— Хозяин, — прохрипел водитель, — тут четвертной не обойдешься! — и довольно явственно матернулся, споткнувшись о порог последнего земного пристанища несчастной Баси М.

На первом повороте лестницы мы, хакнув, как спортсмены-тяжелоатлеты, подняли гроб и поставили его на перила. Гроб довольно послушно развернулся и мы с облегчением потащили его дальше. На следующем развороте он уже так оттянул нам руки, что поднять разом мы его не смогли. Я протиснулся к водиле, подлез под гроб, и по команде на перила поднялась его узкая часть. Когда мы развернули гроб на перилах, водила оглянулся и хрипло сказал: «Хозяин, не будем снимать, покатаем по перилам. А то сдохнем!» Мне эта мысль страшно

понравилась, и целых два пролета, до следующей узины мы спустились играючи. Потом снова развернули гроб и двинулись было вниз, как вдруг водила, споткнувшись на неприметных косых ступеньках на полукруглых разворотах лестницы, отпустил ручку гроба и со страшной матерщиной, оступаясь на стертых и плохо видимых ступенях, помчался вниз, пытаясь удержаться то за стенку, то за перила. Ужас состоял в том, что гроб с телом несчастной Баси М. качнулся, пытаясь рухнуть вниз, в провал лестницы, потом вильнул, удерживаемый мною из последних сил, и как бы взбесившись, помчался вниз за падающим и матерящимся водилой. Увидев настигающий его гроб, тот помчался с нечеловеческой скоростью. Но чудовищной тяжести гроб, надежно сработанный из свежайшего пиломатериала, неся быстрее. Сзади, держась за единственную на торце гроба хилую ручку, по дикой крутизне лестницы скакал я.

Водиле каким-то образом удалось вывернуться и не быть раздавленным этим сооружением советского ритуального сервиса. Мы же с гробом на всем скаку врезались в стенку, обвалив штукатурку под узеньким окошком, выходящим в Конный переулок. Я не зря сказал про это сооружение «надежно сработанный». Не сомневаюсь, что любой другой гроб, даже, к примеру, доставленный, как это сейчас делается, из Англии или из Бельгии и изготовленный целиком из красного дерева, не выдержал бы этого удара и разлетелся бы к чертовой матери. А наш — даже не раскрылся! К счастью для несчастной Баси и ее приятельниц, взволнованное щебетание которых я с ужасом услышал, пытаюсь развернуть застрявший гроб в одиночку.

Надо ли говорить, что водила сбежал, и вернуть его назад было непросто. Зато какой отпор он дал старухам, когда те поинтересовались, нельзя ли открыть гроб, потому что им кажется, что венок на голове Баси мог сползти (куда там можно сползти!) и его следует поправить! Тут уж он им вмазал со всей страшной силой своей классовой ненависти!

И я подло промолчал, понимая, что стоит мне вмешаться, как он бросит меня в одиночестве на этой жуткой лестнице. «Таких гробов один в неделю делают, — гремел водила, заходясь в своем справедливом рабоче-крестьянском гневе, — им без очереди по блату дали, так они еще и скандал котют!» Под скандалом он, видимо, имел в виду старушечье щебетанье, а вот «котют»... Котют — это, скорее всего «закатывают», но, честно говоря, тогда мне было не до лингвистических исследований. Еще раз предав старух, я первый схватился за торцевую ручку и крикнул: «Давай вперед, чего тут слушать!»

Вот, вот оно вечное тройное предательство чистой души!

Остаток спуска прошел на удивление спокойно, мы, хрипя, втащили гроб несчастной Баси в катафалк, высадив попутно забитую дверь в парадное, через которую гроб не пролезал, и закурили, стоя у машины.

Желание ехать на кладбище выразил только старичок с оттопыренными ушами (регент Александро-Невской лавры, как позже выяснилось, и соученик Баси по консерватории). Старушки еще с минуту покучковались возле машины, горестно и одновременно сочувственно кивая друг другу, и мы, рыча и завывая промерзшим мотором, рванули по Конному переулку, Исполкомовской (бывшей Консistorской) улице к Лавре и все дальше, дальше по проспекту Обуховской обороны, про которую так никто и не знал — кто же, и от кого обороняли когда-то и что-то. Оборона и оборона, чего тут задумываться. Тем

более, что до нового еврейского кладбища, оно же кладбище 9-го января, ходу было не менее часа.

Нынешним посетителям этого густо заселенного кладбища трудно представить, что в еще недавние исторические времена оно являло собой заснеженную пустыню с облупленным и прокопченным вагончиком на ее краю. С желтым светом из зарешеченного окошечка и клубами дыма из короткой железной трубы на крыше.

В вагончике было жарко, пахло сохнувшими, пригоревшими валенками, тяжелым потом, водкой и кислой капустой. Мужики отдыхали после работы. На столе стоял чугунок с картошкой в мундире, которую они выхватывали и, обжигаясь, ломали пополам. Рядом с чугуном располагалась громадная эмалированная миска с капустой, соль и бутылки три водки. Ребята только что выпили по первой, макали картошку в соль и хватали руками капусту из миски. Слышны были только крикание, сопение и хруст капусты.

— Теперь давай по половинке! — сказал один из них и, не обращая на нас с регентом внимания, налил всем еще по полстакана.

Мужики выпили и процедура крикания, сопения и хруста капусты повторилась.

— Господа! — неожиданно тонким голосом сказал вдруг регент, — нельзя ли вас отвлечь...

Он явно нервничал (оно и понятно, хоронили ведь соученицу по консерватории), не понимал ситуации и напрашивался на скандал.

— Мужики, — мне пришлось перехватить у регента инициативу, — тут мы могилку заказывали...

— Вы бы еще ночью пришли, — отозвался один из них, по всей видимости старший. — Готова ваша могила. Но рабочие ушли, их день закончился...

— Как закончился? — нервно сказал регент, достал из-под пальто карманные часы, приложил их к уху и только после этого показал старшему. — Еще только шесть часов! Три минуты седьмого!

— Вот они три минуты назад и ушли! — не дрогнул старшой. — Давай еще по половинке! — и они снова налили по полстакана и снова выпили.

— Мужики, — снова вмешался я. — Такая заслуженная женщина, столько народу было, речи, слова всякие говорили, все ленинградское радио собралось прощаться, в последний путь проводить... — вдохновенно начал я врать, понимая, что они, опытные в этих делах люди, на волос мне не верят. Но важно было ненавязчиво указать на то, что покойницу не в дровах нашли, что она — работник радио и если что... и вместе с тем, что мы смиренно (смирненно и с пониманием!) просим их войти в наше положение.

— Могила-то ребята выкопали, — после паузы и капустного хруста сказал старшой.

— А где она? — просто для поддержания разговора спросил я, но старшой неожиданно поднялся, набросил на плечи фуфайку, сушившуюся у печки, и вышел вместе с нами на улицу. После жаркой тесноты и яркого, стосвечового света в глаза, заснеженная пустыня показалась черной, как египетская тьма. Видны были только красные габариты нашего катафалка, водитель которого так и не вылез из кабины, и желтые пятна света из окон вагончика. По желтым пятнам, завихряясь, неслись струи поземки.

— Во-он там! — старшой указал куда-то в необозримые дали. — Во-он дерево, видишь?

Я не видел дерева, но на всякий случай кивнул.

— Отличное место вам выбрали, рядом дерево, ребята постарались — могилку хорошую сделали, глубокую.

— Так надо же похоронить! — не выдержал нервный регент.

— Не, сейчас нельзя, — вздохнул старшой. — Ребята уже выпили, отдыхают. Мы же вас до пяти ждали!

— Ну не бесплатно же, — лстиво заканючил я. — И Леонид Аркадьевич просил...

— Это кто такой Леонид Аркадьевич? — будто бы не понял старшой.

Я назвал фамилию своего знакомого, командира всего городского ритуального ведомства, при звуке которой вздрагивали ребята и покрепче: Леонид Аркадьевич был очень влиятельный человек.

— Вот он пусть сам и хоронит! — с видимым облегчением сказал старшой и шагнул к вагончику.

— Не бесплатно, старшой, не бесплатно! — бросился я к нему, пытаюсь вспомнить, сколько у меня денег в кармане. Положение надо было спасать. — Могу водки поставить!

— Это другое дело! — старшой мельком взглянул на меня, на хлипкое венгерское пальтишко на поролоне, купленное мне всей редакцией, кепчонку и башмаки, залепленные снегом. Не думаю, что мой вид мог внушить доверие, но, видимо, сработало само имя ленинградского радио. Тогда оно еще работало. Старшой отворил чмокнувшую дверцу вагончика, подождал пока я войду и сказал: — Мужики, вот тут... — он посмотрел на меня, как бы раздумывая, как меня представить. — Вот тут ленинградское радио просит похоронить... И ящик водяры ставят...

Ящик водки — двадцать бутылок по четыре двенадцать... Это почти стольник — таких денег у меня, конечно же, не было...

Но слово было сказано, я промолчал и двое мужиков, поняв, что бригадир легко выставил меня на стольник, и знакомая им игра уже закончена, кряхтя поднялись из-за стола.

Не буду описывать последний путь несчастной Баси. Скажу только, что двое работяг, подцепив веревками гроб и проваливаясь едва ли не по колено в свежий снег, хрипя и матерясь, потащили гроб волоком. Мы с бригадиром упирались в широкий торец гроба короткими лопатами и тоже изо всех сил скользили в проторенном гробом следе. И только старичок — регент шел сзади почти без дела, провожая в последний путь соученицу... Впрочем, иногда сквозь посвист поземки и ругань работяг слышно было, как он что-то поет и приговаривает напевным речитативом... Он не бездельничал, провожал...

Вернулись мы не раньше чем через час. Мужики, оставшиеся в вагончике, уже совсем сомлели от жары и водки. Водила катафалка уехал, не дождавшись обещанного четвертака, а мы, пятеро продрогших на ледяном ветру, быстро оттерли сидевших у печки, старшой налил по полному граненому стакану и, включая и лопоухого регента, маханули по первой.

— Чтoб земля ей!.. — едва успел сказать старшой, как мы уже хватали замерзшими руками картошку, макали ее в соль и, обжигаясь, давились ею. И хрустели капустой. После второй разговор о ящике водки как-то отпал сам

собою, — какие счета могут быть между друзьями?! — а после третьей («по половинке, по половинке!») бригадир откинулся на табуретке и спросил:

— Отец, а вы правда регент?

— Правда, — с достоинством сказал регент. — И преподаю в Духовной академии!

— Отец, — проникся к нему старшой и даже цыкнул на зашумевших не по делу работяг, — а вы, извините, «Я помню тот Ванинский порт» можете?

— Я? — регент тряхнул смешной жидкой косичкой, перетянутой аптечной резинкой. — Я же старый зэк! У меня десятка Печорлага и пять — по рогам! («По рогам» — это поражение в правах.) И ни одного зуба!

— Как ни одного? — удивился старшой. — А эти?

— Эти? — обрадовался регент и, отвернувшись чуть в сторону, ловко выхватил изо рта обе челюсти.

— Ух ты! — восхитился старшой. — Тогда давайте, отец, еще по чуть-чуть!

— Давайте, — легко согласился регент и одним движением вставил челюсти на место. — Немцы делали. Из ГДР.

— Понятно, — кивнул старшой, ласково глядя на регента заслезившимися глазами. — И только тихо-тихо, да? — и затянул: — «Я помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый...»

Пел регент, я подпевал, и мужики, кто еще не раскис, подпевали тоже, и ветер свистел и нес свои колючие снежные струи, когда мы по очереди выходили из вагончика «до ветру», и я вдруг подумал, что правы, правы были старухи из музыкальной редакции, когда говорили, что Басе М. повезло и что она умерла быстро и хорошо. Много ли было людей на этом новом еврейском кладбище 9-го января, которых провожали так, как Басю? В такой душевной компании и от всего сердца?..

Не так давно я шел с внуком по Манежной площади и вдруг услышал за спиной, где-то высоко-высоко странно знакомое мне старушечье щебетание, какие-то слова... радио... воспитание музыкой... Я оглянулся — сзади стоял огромный, темный Дом радио с черными провалами окон и хищным порталом-ртом, в темноту которого неслышно и невидимо для всех шли и шли, торопились, оглядывались и окликали друг друга знакомые и незнакомые мне люди...

И только наверху, на шестом этаже, рядом с темным окном моей редакции, где последний блик вечерней зари чуть осветил окна, как будто ожили и, светясь, собрались на вечную редакционную летучку щебечущие старухи...

Неопалимая купина

Загорелось олигарху Вите Б. купить икону. Не то чтобы у него икон не было, наоборот. Икон было до хрена. И даже больше. Целая коллекция. Но тут случай особый был. Икона старообрядческая. Стало быть, верняк, старого письма. И сюжет подходящий — «Неопалимая купина». Витя эти самые «купины» почему-то любил. Их в коллекции с десятков было. Верилось, что иконы эти от чего-то спасут. Ну, пусть не от пожара, тут он больше на сигнализацию и пожсистему (противопожарную) надеялся, а она была в кварти-

ре — будь здоров! В общем, не от пожара, так от чего другого. Верилось в их силу. И второе: уперся старик — хозяин. Деревенщина. Как ни обхаживал его Витькин помоганец, — ничто его не брало. Ни деньги — не нужны ему были деньги, хозяйство у старика крепкое, ни водка — не пил, сучара, старообрядец ведь! Ни все другие — бабки, карты, девки — соблазны.

Нерешаемая задача. Хоть поезжай сам. А тут, в масть, подвернулось и дело в Нижнем. Председатель местного законодательного собрания, давний знакомец Витьки Б., еще по комсомолу, обещал наладить канал поставок с бывшего совсекретного ящика. (В олигархи Витька попал из посредников по продаже оружия.)

До деревни Красные Струги долетели легко. Армяне, схватившие тут дорожный бизнес, протянули трассу почти до Стругов. И транспорт они же выделили — пару джипов «Паджеро». Свернули с трассы на старый, полопавшийся асфальт, потом на щебенистую грунтовку, переговорили по мобильнику, — дома! — и выкатили прямо к продолговатому барaku, прячущемуся за кустами не то сирени, не то бузины. Барак с правой половины был выкрашен в желтую краску, с левой — в белую.

— Краски что ли не хватило? — лениво поинтересовался Витька Б., разглядывая старый, не отремонтированный барак. — Тоже директор совхоза, дома поставить не может!

Этот директор совхоза уже издали не нравился олигарху.

— Так в левой половине он сам живет, — пояснил местный человек, которого посадили как проводника, — а в правой главный электрик совхоза. Шульман, Михаил Ефимович.

— Еврей что ли? — поинтересовался олигарх. Он не был антисемитом и считал, что и среди евреев попадаются люди неплохие.

С задней стороны дом выглядел посolidнее — в два этажа да еще на высоком подклете: почти сразу у дома начинался заметный спуск к оврагу. Это как-то примирило олигарха с директором. Умно, снаружи не выпячивается, а внутри — нормалек, как надо.

Хозяйство даже возле дома было немалым: бродило несметное число кур, индюков, в окне высоченного амбара просматривалась вяленая рыба, вязанками уходившая в темноту, вниз по склону скатывались разноцветные ульи. Тяжелые, увешанные яблоками, будто безлистные, ветки яблонь были подперты здоровеными рогулинами.

Хозяйка, вытирая о цветистый передник полные белые руки, поздоровалась, крикнула куда-то вниз: «Отец, приехали гости-то!» и, чуть поклонившись, сказала: — Проходите, гостями будете! — однако, в дом не пригласила, а так, кивнула. Впрочем, вполне доброжелательно.

Снизу из-за кустов, вдоль сетки-рабицы, разделявшей, видно, хозяйство директора и электрика, показался крепкий дедок в белой рубахе, белой шляпе с черной сеткой — забралом, дымарем в одной и сотами в другой руке.

Он поднялся по тропинке, поставил дымарь, соты и снял шляпу.

— Рад, гости дорогие, — он протянул крепкую, жесткую руку. — Какими судьбами в наши дальние края?

Многочисленная живность — куры, гуси, индюки потянулись к хозяину, собрались вокруг него, клоня кто как головы набок и стараясь заглянуть в глаза

старiku. Впрочем, старик был не так уж и стар, во всяком случае, с виду, что несколько огорчило олигарха Витьку.

— Вот ведь существа, — улыбнулся директор, стаскивая с себя белую, пахнущую воском рубаху, — знают, что я их подкормлю, вот и бегут. И как знают? Вон эти-то, — он показал корявым пальцем на совсем еще молоденьких цыплят, — эти-то откуда знают, а?

— И сколько их у вас? — из вежливости поинтересовался олигарх, начиная скучать. Он нюхом чувствовал, что дело не выгорит. Но все-таки надеялся развернуть ситуацию по-своему.

— А кто их знает, — философски заметил директор. — Бегают да плодятся. Мы с соседом моим двух петухов держим за загородкой. Во-он, видите, его молодец бегают? А как только мой к загородке подойдет, вроде как к его гарему, тот сразу подлетит, грудь раздует, и начинают друг перед дружкой бегать, друг перед дружкой расфуфыриваются! — он засмеялся. — Побегают друг перед дружкой, а потом с разбегу прыг на курицу и ну ее топтать! И второй тоже! И смех и грех! Зато курочки наши несутся чуть не круглый год!

Хозяин набрал из бака зерна и медленно, аккуратно стал сыпать на землю. Первой к зерну подскочила пестрая курица с золотой головой и с квохтаньем принялась отгонять других, и даже петуха.

— Ишь, как природа устроила, — улыбнулся старик, — гоняет даже петуха! Только чтобы своих цыпляток накормить. Не было бы цыпляток — на три метра ее не подпустили бы! А тут — словно все понимают: мать! Ей детишек поднять надо!

— Александр Николаевич, — председатель законодательного собрания понял, что это надолго. — Мы ведь к тебе по делу приехали.

— Понятно, что не без дела, — согласился старик и жестом сеятеля швырнул зерно вниз по склону. Птицы с шумом, с клекотом посыпались вниз, сшибая друг друга и наступая на упавших. — И вот опять интересно, — он повернулся к гостям. — Смотрите, цыплятки в эту толчею не лезут. Будто знают, что их затопчут!

Старик повернулся к дому и широко повел рукой:

— Милости прошу!

— А нам говорили, что старoverы в дом к себе не пускают! — усмехнулся олигарх для поддержания разговора.

— Было такое раньше, было. Кое-где и сейчас есть, придерживаются люди старых правил. Но молодежь уже не так строго завет исполняет.

— Это вы про себя? — опять усмехнулся олигарх.

— Для кого-то и я молодежь, верно?

За столом угощались рыбкой соленой, вяленой, грибочками, зеленью разной, помидорами с хороший мужской кулак, корнишончиками с мизинец величиной, пирогом невиданным, четверугольным — с рыбой, грибами, мясом да луком зеленым с яйцами, отдельно ушницей с маленькими пирожочками, с чем они были даже и не разберешь, судаком, запеченным в тесте так, что только тестяной конверт развернешь, как пар оттуда ударит, рыбный дух, и все косточки разом отделяются от мяса: ешь — не хочу. А потом чай, настоянный Бог знает на чем — и смородиной пахнет, и земляникой, и березой, да к нему пампушечки с черникой и глубокие, толстой глины плошки с сотами, которые хозяйка только что накрошила крупными, сверкающими кусками.

Однако, пора было и к делу переходить. И олигарх со свойственной олигархам прямоотой так и спросил: «Продашь, отец, икону?»

— Зачем тебе икона? — не удивился старик.

— В музей! — олигарх любил называть свое собрание музеем.

— Не место иконе в музее, — задумался старик. — Икона живая, она молитвы просит.

— У тебя же пропадет икона, — занервничал олигарх. — Вон она как почернела! — он еще до обеда долго разглядывал икону, даже лупу, здоровенное стекло, вытащил.

— Пропадет, а как же! И ей Господь срок назначает. Придет срок, как и нам, грешным, и пропадет. Бог дал, Бог и взял.

Витька вспомнил рассказ помощника, будто бы когда-то икона явилась в храм сама за день до пожара.

— А это правда?

— Старые люди говорили. Вот и край у нее обгорел...

— И ты веришь? — Витька понимал уже, что со стариком каши не сваришь. Знал он таких, недоделанных.

— Я не в икону верю, а в Бога, Господа нашего Иисуса Христа.

— А как же ты вот, директор совхоза был...

— Я и сейчас директор совхоза...

— ... я про то время, — не унимался Витька, — директором был, институт, говоришь, закончил. Ведь ты при советах, поди, в партии-то состоял? Иначе и директором не стал бы, верно?

— Не водилось отроду у нас этого. Власть местная нас, кержаков, не трогала. Разве вот вычистили отсюда кого могли в тридцатые-сороковые. Это было. Да и после войны покоя не давали. Считай, из ста деревень наших, старообрядческих, ни одной не осталось. Так, дом-два кое-где стояли. А уж кто выжил, тех хоть и травили как могли, но без нас-то куда же? Мы не пьем, не курим, работу выполняем как Бог наказал. Без нас и деревни, а в них все переселенцы жили, — не устояли бы.

— Это как же так, не пойму что-то?

— А вот и понимай, как я сказал. А не понимаешь оттого, что веры у тебя нет. Так, хоть и крестишься, а все фанаберия одна.

— А как же ты, православный, старообрядец, в Бога, говоришь, веруешь, а сам под одной крышей с евреем живешь?

— Я с ним и с его отцом на поселении и из одной чашки, случалось, ел. Отец его первым сюда вернулся. Мог в Москву поехать, крупный был когда-то человек, а поехал сюда. В наш край. Не хотел с этим государством дела иметь.

— Еврей-старообрядец, — засмеялся олигарх, — это что-то новое.

— Несть ни еллина, ни иудея, это еще апостол Павел сказал. Так что Ефимыч мне не друг, не брат, но и друг и брат. Бог так сказал, так и будет...

Два года обхаживал олигарх Витька Б. старика — не любил Витька проигрывать. Обхаживал, пока тот не помер. Внук оказался стоворчивее, не кочевряжился. Тем более, что олигарх сделал такое предложение, что ни один человек во всей Нижегородской губернии не смог бы отказаться.

Но вскоре вдруг запольхал дом в Красных Стругах. Да так запольхал, что за час ни от дедовой, ни от еврея-электрика половины ничего кроме головешек не осталось. Хорошо, что днем полыхнуло. Никого в доме не было. Скотина,

конечно, не в счет. Говорят, бывает так. Сухая молния. И грозы нет, а молния ударит — и все. Конец. Будто бы нет от нее спасения.

А икона «Неопалимая купина», старого письма, что появилась у олигарха, схваченная огнем с одного боку, вдруг осыпалась разом, оставив свежую, чуть пахнущую ладаном доску. То ли верно срок ей вышел, то ли зритель домашнего музея Костя-цыган по пьяни нарушил температурный режим. За что был бит лично олигархом и с позором изгнан.

Тоже мне, нет ни еллина, ни иудея... Может, еще и цыган нет?

Хашная № 1

Когда собираешься рассказать о чем-нибудь большом, значительном, о том, без чего, по твоему мнению, дальнейшая жизнь читателя едва ли смогла бы продолжаться долго и счастливо, всегда задумываешься с чего начать, с какого места вести повествование, чтобы благодарный читатель... и так далее.

Начинать можно с того места, как я познакомился со своим братом Леваном Ивановым... Который до шестнадцати лет почти не говорил по-русски. Или с того, как я лечу на груженом лесовозе от селения Бечо (две с небольшим тысячи метров над уровнем моря) к Кодорскому перевалу, в конце марта, когда в тени дорога, на которой не везде могут разъехаться две машины, превратилась в лед, а на солнце — ярком, грузинском, горном, — в омерзительное глиняное месиво. Когда справа от тебя — по-весеннему голый еще желто-коричневый склон, из которого вытаивают на солнце камни и обрушиваются на дорогу, слева — исчезающий в белом тумане пятисотметровый провал, и на дне едва-едва можно рассмотреть игрушечные домики, защищающиеся неизвестно от кого игрушечными же сванскими башнями, а посередине — груженный доверху лесовоз. Старенькие стальные цепи, лениво накрученные на колеса под ревнивым и заботливым взглядом Левана, сорвало на первом же вираже... И этот лесовоз летит вниз, управляемый неизвестным мне человеком (говорят, это мой дальний родственник). Родственник время от времени бросает руль, поднимает руки вверх и кричит: «Альеша, ти туда, вниз смотри, пятьсот метров!», а двое других, сидящих в кабине лесовоза между ним и мной, притиснутые так, что не могут пошевелиться, только кивают тяжелыми загорелыми лицами и произносят на неизвестном мне гортанном языке что-то... надо понимать, что-то одобрительное...

А можно начать с того, как мы с братом Леваном спускаемся вполне достойно и неторопливо по той же дороге ранним летним утром, когда убийственная летняя жара еще не страшна в горах. Спускаемся на «Волге» Левана, лениво разговаривая о разных разностях, о которых прилично и достойно говорить в дороге двум серьезным мужчинам. Мы говорим о доме, который собирается строить Леван, об очаге, старинном котле этого очага, о старинных же цепях очага, хранящихся сейчас во временном домике, где живет бабушка Мария...

Но можно просто. Например. Утром мы с братом встали и опохмелились. К завтраку по случаю приезда в дом почетного гостя, я имею в виду себя, собрались уважаемые люди. Которые, впрочем, расстались поздно ночью, не так уж давно.

И само собою на столе вместе с зеленью, соленым сыром, сваренными вкрутую яйцами, мацони, хачапури, лобио и еще множеством блюд известных мне и неизвестных, появился маленький фарфоровый графинчик с аракой. Сванская арака представляет собою элементарный самогон из ячменя. Желаящие могут именовать ее и «вискарём», достаточно получше очистить напиток от сивухи и настоять год-два-три в дубовых бочках в шотландских подвалах... Может быть, можно настоять ее и в сванских подвалах, но пока что это никому еще не удавалось. Араку выпивают, так и не успев узнать, а превратится ли она в виски, если... Впрочем, это тоже одна из тем для разговоров двух спускающихся вниз на «Волге» джентльменов, основательно опохмелившихся утром и проспавших время отъезда вниз, в столицу Мингрелии, славный город Зугдиди.

— Альеша, — говорит мне мой брат, отрывая меня от созерцания буйвола, улегшегося в болото, а это означает, что мы уже спустились из Сванетии и приближаемся к Зугдиди. — Альеша, — и я слышу в его голосе еще не очень понятную мне печаль, — как ты думаешь, где нам лучше остановиться ночевать?

Что я могу думать по этому поводу? Я, бывавший в Зугдиди только проездом? Из Тбилиси — чтобы сесть на маленький АНТ и долететь до столицы Сванетии — Местиа. Или из Сухуми, — чтобы поймать такси или попутку и подняться наверх, через перевал Кодори в Верхнюю Сванетию, в Бечо.

— Левчик, — отвечаю я, — а как правильно? Как лучше?

— Лучше, — отвечает Леван, — было бы остановиться в гостинице.

— А где еще можно?

— Можно еще у нашего родственника Гурама...

— Но если ты считаешь, что лучше в гостинице...

— Лучше в гостинице, — кивает Леван и довольно круто сворачивает в сторону.

Тут самое время остановиться и рассказать, что едем мы в Зугдиди не просто так. Точнее, не в сам Зугдиди, а на какую-то неизвестную мне железнодорожную станцию неподалеку от города. Едем, чтобы рано утром, ни свет ни заря встретить жену Левана Маквалу, которую все в доме называют Цисо, что означает «Небесная», и детей, которых она везет из Тбилиси. Кажется, к тому же, приближалось первое сентября, начало учебного года, в связи с чем дети и... словом, понятно. Но может быть никакого первого сентября и не приближалось, а просто... В общем, непокорная память этот незначительный момент выбросила из головы. Как, впрочем, и целый ряд событий более важных, чем какое-то там число или месяц... Не случайно же мы так основательно опохмелялись, что проспали... но кажется, я уже об этом говорил.

— Родственник наш, Гурам, — издалека, я бы сказал, эпически начал Леван, — ... как тебе сказать, Альеша... он главный зубной врач в Зугдиди.

Конечно, для человека, который никогда не был в Зугдиди, сказать, что твой родственник Гурам — главный зубной врач в городе, где все носят золотые коронки, это почти ничего не сказать. Но для того, кто хоть проездом, хоть из Тбилиси в аэропорт, на АНТ, или из Сухуми — на такси или на попутку... — для такого только намекнуть, что твой родственник... и так далее. Потому что если у тебя, при том, что ты живешь в Зугдиди, нет двух золотых челюстей... Или хотя бы в золотом просверке есть хоть намек на не золотой зуб... Нет, конечно, с тобой будут здороваться, улыбаться тебе при встрече, будут... но все это будут делать, давая тебе понять, что у тебя нет этих золотых челюстей, нет... И не надо

намекать, что ты интеллигентный человек и тебе... Как будто нет в Зугдиди интеллигентных людей! И с какими еще золотыми зубами! И причем все они сделаны руками... Нет, не руками, конечно же, не руками, а талантом и даже, может быть, гением твоего родственника Гурама, главного стоматолога города Зугдиди.

— Правильнее, конечно, — повторил Леван, — в гостинице. Но если Гурами узнает, что ты был в Зугдиди, и мы не заехали к нему...

Тут мы оказались перед средней высоты коваными воротами, закрывавшими асфальтированный проезд между двумя стенами цветущих роз, и Леван негромко, с почтением, библикнул. Почти сразу не очень понятно откуда возник человек, распахнувший ворота и радостно говорящий на непонятном мне языке. Узнав, что я родственник Левана (брат!) из Москвы, человек пришел в совершеннейший восторг, так как и он являлся дальним родственником Левана (а стало быть, и моим), и одновременно открывал и закрывал ворота у Гурама, что впрочем, не мешало... но речь вовсе не о том. Может быть, и даже наверняка, он занимался еще чем-то полезным. Во всяком случае, весело помахав нам руками, он исчез в стройных куртинах роз, вдоль которых неторопливо, но и не задерживаясь, мы с Леваном поехали к дому.

Проехать нужно было по асфальтовой дорожке метров пятьдесят, она была совершенно пуста! — затем объехать довольно крупную клумбу, похожую на те, что когда-то любили сооружать перед ампирами особняками в правительственных санаториях, — и...

И — вот уже на крыльце трехэтажного дома, прячущегося в старых платанах и увитого диким виноградом, появилась хозяйка, жена нашего достойного родственника Гурама, неизвестно как оповещенная о нашем визите.

— Какое счастье, как мы рады, что вы приехали! Гурама сейчас нету дома, он пока на работе, но ему позвонили, и как только... А пока что проходите в дом, какое счастье, что вы...

Я прерываю описание не потому, что Вера, жена Гурама, остановилась, нет, — просто не хотелось бы создавать у читателя впечатление, что все эти восторги я воспринимал как должное... Нет, конечно, это нормальное гостеприимство... но, с другой стороны, все-таки приятно, верно?

В течение этого рассказа мне не раз еще придется, по мере появления новых родственников, описывать встречи, объятия, слова радости и благодарности Богу, устроившему нам эту встречу.

Слова эти прозвучат на русском, грузинском, сванском и даже мингрельском языке, придется говорить об объятиях, похлопываниях по спинам, слезах радости (по мере принятия араки) на глазах. О крепких руках, стискивающих мою руку, и крепких губах, крепко же целующих меня, об общей атмосфере умиления и тихой (относительно, конечно! Не будем забывать о южном темпераменте моих родственников и их пристрастии к хоровому пению!), тихой благодати, снизошедшей на дом неизвестного мне до того вечера славного Гурами, главного стоматолога Зугдиди, знаменитого на весь город тем, что... впрочем, кажется, о золотых зубах я уже писал.

Мы поднялись на просторную застекленную террасу с длинным деревянным столом, сдвинутым чуть к окнам, с резными стульями и лавками, стоящими вдоль него. Вера заботливо усадила меня на почетное место во главе стола и началась чудесная, так любимая мною беседа, предшествующая пиршеству. Вера

и Леван тихо переговаривались по-свански, потом Вера обращала ко мне свое суровое иконописное (я имею в виду грузинские иконы) лицо и с тихой печалью спрашивала:

— Альеша, а как поживают папа и мама?

И как прекрасно вспыхивало это лицо, когда она узнавала, что мои папа и мама поживают хорошо.

— Слава Богу, что они здоровы! — искренне радовалась Вера. — Сколько им уже лет?

И узнав, что им уже больше восьмидесяти, она еще раз восклицала:

— Слава Богу, что он дает им так много лет! Ведь мы, сваны, — она говорила, поглаживая сухой, крепкой рукой идеально выстроганный и выскобленный осколками стекла стол, — долго не живем! Но, слава Богу, — она снова, но уже механически повернулась к иконе, — и умираем быстро, — она как-то вскользь усмехнулась. — Ни себя, ни родственников не мучаем!

Мне даже послышалась в ее голосе гордость за нас, сванов, которые не мучают ни себя, ни родственников.

За всем тем громадный дом постепенно наполнялся гостями. Время от времени мне приходилось вставать и обниматься со вновь прибывшими, после чего начиналось выяснение степени родства. Все помнили, оказывается, чья тетьа вышла пятьдесят лет за чьего дядю, и чей племянник в начале века уехал в Петербург. Чтобы там познакомиться со своей будущей невестой, вернуться по делам службы в Дербент, а там (не без помощи еще одной, но уже совсем дальней родственницы) снова повстречаться с невестой. Потом жениться на ней вопреки воле ее богатых и знатных родственников и увести ее в Сванетию. Дороги туда в те поры еще не было, а была лишь тропа. По которой бабушка (то есть та невеста, которая позже станет всеобщей Бабушкой) будет в сопровождении дедушки и ишака подниматься в белых туфельках. А когда те истреплутся, то просто в чулках. А в родное (и родовое) селение Бечо она придет уже в настоящих сванских кожаных штанах-чулках, которые нынешние дамы к ужасу моих родственников могли бы поименовать колготками. Правда, колготки эти были спрятаны все-таки под белым подвенечным платьем. А дальше дедушка (муж Бабушки) станет не блестящим офицером, к чему стремился от самого рождения, а первым и долгое время единственным в Сванетии учителем и даже священнослужителем. Впрочем, не знаю, можно ли считать его священнослужителем, ибо он, кажется, никогда не был рукоположен в священнический сан. Однако же отправлял все требы — крестил, венчал и отпевал жителей Верхней Сванетии, пока (уже в тридцатые годы!) не появился в Нижней Сванетии беглый из России, но настоящий священник. Как и положено беглому из России священнику, он был пьяница, словоблуд и вообще «неверный» человек, что в Сванетии почти равно приговору. Однако дедушка (муж Бабушки) с появлением священника в сванских церковках, больше похожих на часовенки, не служил, целиком посвятив себя школе и ребятишкам. Хотя долгое еще время приходили к нему жители Верхней и Нижней Сванетии с жалобами на священника. Дедушка не раз спускался к тому в селение Хач-Кала, подолгу беседовал с ним и, как говорят, не все беседы бывали мирными. Иной раз священник после встреч с дедушкой хаживал с подбитым глазом или подвязанной щекой, принимался исправно служить, но... — хитрый бес опять толкал под руку, и беспробудное пьянство его продолжалось.

Пока шли эти приятные встречи и разговоры, дом, казалось, жил своей тихой, но приметной опытному уху жизнью.

Когда мы только входили на крыльцо, где-то далеко в зарослях фиги и миндаля отчаянно закричали испуганные приближающейся смертью курицы. Заверещал и тут же затих поросенок, потом другой. А по всему дому время от времени проносились тихие сквознячки, приносящие то запах жареного бараньего мяса, то легкий топот девушек, пролетавших по залу и старательно глядящих в сторону от гостей, то чей-то озабоченный шепот. И тогда Вера поднимала глаза в сторону того легчайшего сквозняка, который принес этот шепот, и то ли опусканием широчайших ресниц, то ли легким кивком библейской своей головы отдавала незримые и непонятные мне команды.

Появились уже на столе зелень, сыр, красные с зеленоватыми прожилками помидоры, перец и чеснок, сияющие белым и красным, крупная редиска, молодой зеленый лук, еще что-то, издающее невероятный, влекущий запах (это оказалось горячее лобио!), тарелки, тарелки, тарелочки и блюда, уставленные едой и маленькие, почти неприметные фарфоровые графинчики, так хорошо знакомые мне по застольям еще в Бечо. В этих синих фарфоровых графинчиках по традиции подавалась в сванских домах арака. В зависимости от длины стола — два, три, пять, десять маленьких фарфоровых графинчиков, наполненных... Впрочем, я не буду описывать сванскую араку. Потому что тому, кто пробовал ее, это совершенно не нужно. А кто не пробовал — все равно не поймет. Арака — она арака и есть. Но об одном свойстве этого напитка сказать следует: он никогда не кончается! В разгар застолья за вашей спиной тихой тенью мелькнет женщина — и все фарфоровые графинчики по мановению волшебной ее руки наполнены аракой.

По длинным теням было ясно, что солнце, устав висеть в зените, резко покатилося вправо, стараясь прилечь к свободному от гор горизонту. Ревели где-то буйволы. Сладкий запах роз, смешиваясь с дымком шашлыка, тревожил и раздувал ноздри гостей. Было что-то почти библейское в этой картине: длинный стол, уставленный древними, тысячелетними яствами, фрукты, переваливающиеся через края толстых глиняных тарелок и раскатившиеся по столу, зелень, сыр, хлеб, медленно отламываемый крепкими, загорелыми руками, неторопливая беседа...

Но вдруг и Вера, и гости разом, видимо, по какому-то неведомому мне признаку, оживились, и через минуту в комнату вошел хозяин, Гурам. Мы обнялись, расцеловались и долго и ласково смотрели в глаза друг другу — это какая же удача и радость, когда родственник приезжает в гости!

Я подробно рассказал как чувствуют себя мои папа и мама, и все собравшиеся еще раз с удовольствием выслушали, что чувствуют они себя хорошо («Дай Бог, дай Бог!», — кивали гости и слегка приподнимали стопки, глядя на меня и как бы поздравляя меня с этим), пожалели все вместе, что они, по старости, не смогли приехать сюда, слегка опечалились, что мои дети не смогли («Очень много работают, один в Академии художеств, другой в Военно-Медицинской академии, — академики, — поцокали все языками, — очень заняты, очень...»), потом вспомнили мою жену («Очень, очень больна, к сожалению, поэтому не смогла приехать...»)... Не знаю, сколько продолжались бы перечисления моих личных достоинств и достоинств моих близких родствен-

ников, но по какому-то неизвестному мне сигналу все наполнили небольшие стаканчики аракой, и поднялся хозяин, Гурам.

Пересказывать грузинские тосты невозможно. В них и традиция, первый — за гостя, третий — за святого Джграга (Георгия) с обязательным выплескиванием нескольких капель араки на пол и клятвами быть настоящими мужчинами при всех житейских обстоятельствах. И импровизации, упомянуть которые невозможно. Как невозможно вспомнить, какое количество стаканчиков араки ты выпил, и сколько и каких блюд появлялось на столе... Зелень, сыр, лобио, громадный жареный индюк, украшенный фруктами, шашлыки из сердца, печени и еще каких-то потрохов барашка, шашлыки на ребрышках, настоящий шашлык по-карски из курдючного барана, зажаренные до темно-коричневого цвета и соблазнительного хруста куриные крылышки...

Вообще сванская кухня, да простят меня Бабушка, Вера, Лиза, Этери и еще десятки известных и неизвестных мне женщин, которые готовят все эти пиршества в Бечо, но... как бы это сказать деликатнее... сванская кухня не отличается тонкостью... Главное для сванов — радость общения. Радость, которая увеличивается по мере употребления араки. А еда, при всем ее обилии и разнообразии, рассматривается как закуска. Нечто, что отвлекает от араки и радости общения.

Эти соображения, надо признаться, не относятся к столу и угощению нашего Гурама. Он долго жил в столице Мингрелии Зугдиди, и кухня в его доме отличалась от сванской. Где вы найдете в Сванетии шурпу из молодого теленка и утром — нежнейшие сливки буйволиного молока с медом?

Признаться, конец праздника мне припоминается с трудом. Так... в общих чертах... Объятья, поцелуи, клятвы в чем-то, обещания обязательно приехать и жить долго-долго у кого-то в гостях со всем моим семейством... Потом помнятся лишь чьи-то крепкие руки, помогающие добраться по узкой деревянной лестнице на второй этаж, в комнату для гостей.

Надо сказать, что такого свежайшего, сияющего, хрустящего белья нигде, кроме Сванетии, я не встречал. И легчайших, пуховых одеял.

Беда состояла лишь в том, что в то время в Зугдиди стояла дикая субтропическая (в прямом смысле, это же самые настоящие субтропики!) жара и духота. А в комнате для гостей окна не открывались, чтобы знаменитые зугдидские комары, похожие, скорее, на боевые вертолеты, не могли проникнуть под плотный кисейный полог над кроватями гостей.

Я опускаю переживания той ночи — атаки комаров, пробившихся под полог, пуховое одеяло в сорокаградусную жару при тропической влажности, мучения человека, который, проснувшись ночью, сначала не может понять где он, потом, в поисках туалета вышедшего нетвердой походкой (ох, арака, арака!) из комнаты для гостей и — о, ужас! — не понимающего, куда идти.

Темно, со всех сторон слышны легкие шумы, всхрапывания, сонное сопение и дыхание близких и дальних родственников и — полная темнота! При том, что вы представления не имеете о внутреннем расположении дома, вас ведь доставили наверх заботливые руки.

Словом, когда кошмар и ужас этой тропической, потной, гудящей, жужжащей и дико жалающей ночи закончились, и мы с Леваном сидели за столом, пытаясь съесть хотя бы по одной ложечке божественнейшей еды — буйволиных сливок с медом и горячим лавашем, а Гурам ласково, отечески поглядывал на

нас, — мысль о том, что можно съесть ложку сливок, казалась невероятной, а каждый глоток — подвигом в честь Веры, — словом, только тогда я понял, почему Левану так хотелось остановиться на ночлег в гостинице.

Гурам предложил нам чуть опохмелиться перед дорогой, но Вера укоризненно посмотрела на него: «Гурами, Леван за рулем!» А воспоминание об араке, графинчик которой придвинул Гурам, оказалось еще более чудовищным, чем светлые представления о буйволиных сливках, густом, тягучем меде и горячем лаваше... Позже Леван рассказывал родственникам, что я не опохмелился из чувства солидарности с ним, вынужденным сесть за руль... Может быть, может быть... Может быть, именно так и рождаются легенды?

Леван притормозил возле рынка, кивнул в сторону резной, дышащей тени старых платанов на бульваре им., сказал сипловатым, чужим голосом, что приедет к рынку ровно в одиннадцать и исчез в радужных лучах косого утреннего солнца, успев сказать, что хашная находится прямо напротив ворот рынка.

Ах, этот рынок в Зугдиди времен всеобщего и полного дефицита! Знаточи говорили, что на нем можно купить все, включая атомную бомбу. Хотя зачем кому-то в Зугдиди атомная бомба?

Не возьмусь описывать зугдидский рынок не только потому, что это невозможно сделать, но и потому, что сделать это было невозможно по совершенно другой причине. Едва только Леван уехал встречать свою жену Маквалу (О, Цисо, Цисанна, Небесная!) с детьми, а я устроился на железной скамейке в тени платанов, я понял, что смерть моя близка. И не в каком-нибудь переносном смысле, а в самом прямом. Или в переносном, но только потому, что тело мое будут переносить. Смерть близка, если я не выпью чего-нибудь. Говорят, алкоголь отбирает воду на клеточном уровне. В таком случае все мои клетки были обезвожены. И взывали...

Самое простое — выпить воды. Тем более, что неподалеку, в двух скамейках от меня, из ржавой тарелки, укрепленной на ржавой же ноге, бил скромный фонтанчик. К нему время от времени подходили люди, пили, фыркая и сопя, некоторые даже освежали лицо водой и отходили, сочувственно поглядывая на меня... Они-то знали, что значит преодолеть это расстояние в две скамейки... Я опускаю муки перемещения тела хотя бы потому, что оно (перемещение, а не тело) оказалось совершенно не нужным. Теплая и ржавая вода не была приспособлена ни для питья, ни для умывания... Так рухнула последняя иллюзия. Оставалось только сидеть в кружевной тени под платанами, сквозь листву которых уже пробивалось безжалостное солнце, и ждать кончины.

И когда кончина эта казалась совсем неминуемой, в памяти вдруг (как это литературное «вдруг» оказалось уместным тогда!) всплыло слово «хашная». Произнесенное слабым, изменившимся голосом брата.

— Хашная открывается в шесть часов! — едва проговорил он, отплывая на белой, светящейся «Волге» в солнечное марево. Всплыл и нетвердый жест куда-то в сторону рынка. Конечно, а где же еще быть хашной?

А теперь я должен задать вопрос читателю: вы носили когда-нибудь полный стакан воды, поставленный вам на лоб? Чтобы голова была откинута назад, а глаза бы бессмысленно вперились в пустое небо? Нет? Тогда вам совершенно незачем рассказывать, как я донес себя до хашной №1. Незачем, ибо вы все равно ничего не поймете. Потому что моя голова была вдобавок стиснута

раскаленным обручем с острыми шипами внутри. А сверху Господь Бог в качестве наказания швырял огненные стрелы, которые впивались в темя, затылок, шею, и тогда в глазах вспыхивал огонь и приходилось замирать в той самой позе, в которой Господу было угодно поразить тебя, и пережить, пока последствия взрыва улягутся и взор просветлеет настолько, что серые, исшарканные плиты тротуара славного города Зугдиди выплывут из мутного тумана. Впрочем, доносился откуда-то и запах серы. Так что молнии метал, может быть, и не Господь... С другой стороны, если бы не Он, как бы я дошел до хашной? И как бы спустился по шести каменным, стертым ступеням? И даже открыл дверь? Впрочем, дверь я открыть не смог, так и не в силах понять, куда же она распаивается — от меня или ко мне? Кажется, помог кто-то из посетителей. Он же и поддержал меня, за дверью были еще две ступеньки. А слева...

Слева за пустой барной стойкой стоял блистательный и знаменитый актер Михаил Козаков. Он был в чем-то белом, в руках держал вафельное полотенце и вытирал им стойку.

Поддерживаемый заботливой рукой, я сделал слабый шаг навстречу Козакову, тот улыбнулся и выставил на стойку стограммовую стопку, не доверху наполненную прозрачной жидкостью. И посмотрел на меня весело и заботливо. Что может значить в жизни один-единственный взгляд понимающего тебя человека?! Я протянул руку к стопке, глядя в коричневые веселые глаза и выпил все до дна, даже не почувствовав, что я пью. «Надо запить, один глоток!», — сказал Козаков и придвинул ко мне неизвестно откуда взявшееся холодное пиво.

Потом из-под стойки материализовалась вторая стопка. «Надо выпить!» — все так же внимательно и весело глядя мне в глаза сказал Козаков. Я послушно выпил. «И запить, один глоток!» Я запил и вдруг почувствовал вкус пива. Видимо, что-то в организме стало оживать. Потому что я увидел, как Козаков черкнул что-то на серой чековой ленте карандашом и одними бровями показал мне: «Туда!»

«Там» были два маленьких окошечка в желтой стене, в одно из которых я протянул обрывок чековой ленты с автографом Козакова, и тут же получил полную тарелку горячего, обжигающего хаши. Еще стопку чачи (а это была именно она, крепостью никак не меньше градусов шестидесяти) и две кружки холодного пива принес мне сам Михал Михалыч. Причем говорил он с сильнейшим грузинским акцентом и зубы у него (о, наш великий родственник!) были исключительно золотые.

Сказать, что хаши это горячий, обжигающий студень, сваренный из рубца (о, рубец!), копыт, ушей, пяточков, хвостов, щек, мостолыжек и заправленный всеми возможными пряностями, из которых вы сможете различить только обжигающий больше, чем кипящий расплав хаши, перец, — просто не сказать ничего. Хаши — это то, что возвращает человека к жизни. Только без трубок, врачей, отвратительного запаха лекарств, печальных глаз близких родственников и равнодушного профессора с противно-холодными руками.

После третьей стопки чачи, полукружки холодного пива и половины тарелки хаши, на лбу, лице, шее выступила первая испарина, слабый знак, как листок первоцвета, знак твоего возвращения к жизни, — я повернулся к спасителю. Он смотрел на меня с лаской и гордостью, с какой смотрит врач на первые шаги больного, еще вчера считавшегося безнадежным.

— Спасибо! — хотел сказать я, но вялые губы только беспомощно пошевелились, не издав никакого звука.

Но разве понимающим друг друга людям нужны слова? Михал Михалыч кивнул, заулыбался, достал из-под прилавка стопку, налил в нее из большой бутылки примерно половинку и, высоко подняв ее в приветствии, выпил. И все посетители, которых я поначалу не заметил, одобрительно посмотрели сначала на него, потом на меня, тоже подняли свои стопки и тоже выпили...

Хашная №1, как и полагается хашной, закрылась в девять часов утра. Но надо ли говорить, в какой чудной компании я провел время, пока возле рынка не появился мой брат, обвешанный помидорами, фруктами, детьми и двумя громадными арбузами. Это был первый человек в то утро, взгляд которого не излучал доброжелательность, сочувствие и понимание. Впрочем, это было уже совсем не утро. А скорее середина дня. Причем уже более часа брат искал меня, расспрашивая всех знакомых, не видели ли они одного... даже не знаю, как характеризовал им меня мой несчастный брат... Говорят, он даже заходил в отделение милиции... не знаю зачем...

Выяснилось, что утром бедняга неожиданно для себя поехал не в сторону станции....., на которой должно было ожидать его все семейство, а в совершенно противоположную сторону. И спохватился только проехав километров сорок по горной, сумасшедшей дороге. Пока он понял свою ошибку, развернулся (что на горной дороге и в нормальном-то состоянии не так просто сделать) и двинулся обратно, теперь уже точно прицелившись на станцию , прошло несколько часов. Которые семейство провело в жидкой тени акаций возле перрона.

Не знаю, что сказала ему жена. Но надеюсь, что не зря дома называют ее Цисо, Цисанна, Небесная!

И может быть, не так уж был неправ Леван, предлагая остановиться на ночлег в гостинице?..

Мартышка посла Бурунди

Она вертелась, как мартышка на... у посла Бурунди. И выкрутилась. Сначала в шестиметровой комнатенке своего троюродного дяди, в Москве, куда не без труда вырвалась после восьмилетки. Дядя тискал ее по ночам, а жена его лягалась, держала ее за ноги, пока дядя сопел, тыча в низ живота чем-то крепким и горячим, и шипела: «Дай ты ему, что ты меня мучишь, пусть старый кобель успокоится!»

Потом в подсобке в магазине, куда дядя устроил ее уборщицей и где все подряд, от грузчиков и директора магазина до старичка-сторожа, татарина, пытались молча завалить ее на мешки с крупой или грязную лежанку сторожа, вонявшую тряпьем, старым потом и крысиными какашками.

Там же, в магазине, и лишил ее невинности еврей Гриша. Рубщик мяса. Был он маленький, на коротких кривых ногах, с длинным торсом и красными, будто скрюченными подагрой руками. Гриша был артист и гений. Никто так не мог разделать тушу. Сначала Гриша стоял, прищуриваясь, прицеливаясь, потом начинал медленно, не сводя глаз с туши, обходить ее, покачивая широким мясницким топором, и, выбрав удобное место, набрасывался на тушу. Под

топором она почти беззвучно и послушно распадалась на крупные куски, на глазах превращаясь из туши, труп коровы, пугающего необъяснимым сходством со всем живым, в съедобное и соблазнительное своим свежим видом мясо, которое рабочие едва успевали утаскивать громадными лотками из рубочной наверх, в зало, где уже клубилась очередь возле мясного отдела. Каждый час Гриша в белом колпаке, прикрывавшем его лысину и задрызганном кровью и мясным соком переднике выходил в зало, смотрел с удовлетворением на роящихся покупателей, не торопясь подходил к винному отделу и говорил всегда одно и то же: «Уважь, Зина!»

Зина тут же наливала ему в стакан сто граммов коньяку, спеша открывала дышащий холодом круглый контейнер с мороженым, быстрыми движениями круглой длинной ложки наскребала шарик мороженого крем-брюле и аккуратно выкладывала шарик в красную, скрюченную лапу Гриши. Гриша вежливо кивал, глядя уже на коньяк, коротко вздыхал и выпивал коньяк единым духом. Потом он протяжно и громко выдыхал, снова посматривая на не видящих его покупателей, и ловко, тоже зараз смахивал с ладони шарик крем-брюле. За коньяк и мороженое Гриша не платил никогда. Это был расход директора магазина. Плата гениальному рубщику и единственному в городе честному мяснику. А может, и не плата. Может, просто боялись его. Говорили, что Гриша десять лет отсидел за убийство. И на то было похоже. Новый замдиректора как-то подошел к Грише и стал что-то говорить, кивая то на коньяк, то на Зину, пытавшуюся спрятаться за прилавком.

Гриша со словами «Уважь, Зина!» — вытащил ее за шиворот в зало, прямо к ногам нового зама, посадил на пол, она предусмотрительно не хотела подниматься на ноги, задумался на миг, будто прицеливаясь к туше, и коротко, никто не заметил как, ударил зама кулаком в живот. Тот обвис на кулаке, потом медленно повернулся, глядя бессмысленно вытаращенными глазами в голубой потолок торгового зала, и беззвучно лег рядом с замершей Зиной.

Вскоре после этого Гриша заглянул к ней в подсобку и издали поманил пальцем. Даже не поманил, а молча наставил на нее толстый указательный палец, украшенный ржавым от крови бинтом, и вышел в рубочную. Она тут же шмыгнула за ним, иногда Гриша просил ее помочь подтащить неудачно сброшенные сверху, из люка, туши.

В рубочной, как всегда, было темновато, страшно блестели под неярким светом широченные топоры и длинные, узкие ножи, аккуратно вывешенные на стену.

«День рождения у меня, — сказал Гриша. — А выпить не с кем. Дожил...», — и налил себе и ей по стакану коньяку. Она выпила от страха и от страху же ничего не почувствовала, кроме жжения в желудке. Гриша налил еще, жмурясь и ровняя коньяк в стаканах, выпил, не дожидаясь ее, и стал раздеваться. Раздевшись, он обернулся и с удивлением посмотрел на нее. Не объяснять же, что она в жизни не видела голого мужика... «Все равно когда-то же надо...» Она разделась, покрываясь гусиными мурашками от холода рубочной и его взгляда. Будто он прицеливался к туше, обходя ее медленно. Но Гриша обходить ее не стал, а спокойно и уверенно повернул к себе спиной, ощупал крепкими пальцами-клещами плечи, бока, затрепетавшие от ужаса ягодицы, наклонил, крепко нажимая на шею, так что она уперлась лицом в сизые коровьи ляжки, и весело крикнув «кха!», как кричал, начиная рубку, вошел в нее, даже не дав почувствовать боль — так крепко держал он ее своими клещами за зад.

Убили Гришу позже, когда она уже работала в кафе, куда он ее устроил. На похороны собралось так много родственников, что она могла думать только об одном, о глупом: как же он говорил, что при стольких родственниках выпить нес кем...

Заведующая выгнала ее в день похорон: пусть твои жида тебе местечко подыщут.

Вот тогда она, может быть, впервые и вспомнила жену своего дядьки, тискавшего ее, деревенскую неумеху. Жена все кричала, когда дядька, так и не справившись со строптивой племянницей, багровый, с белыми от водки глазами лежал, вывалив наружу все свое обвисшее хозяйство: «Дашь ты ему, ироду проклятому или нет? Или я вас обоих крысидом отравлю!»

Вспомнила ее впервые, когда после увольнения из кафе зашла бессмысленно в хозяйственный магазин. После поняла, что не бессмысленно.

В комнатенке, что ей оставил Гриша, луна по ночам светила ему прямо в глаза, и он не мог спать, вздрагивал и так страшно кричал, что соседи стучали в стену. За день до смерти заходили они в этот магазин, присмотреть шторы. Штор не было и сегодня. Она отошла к соседнему прилавку и вдруг увидела небольшой пакетик, притулившийся сбоку. По салатно-зеленому было написано затыливым шрифтом, не сразу и прочтешь, «крысид». Ноги сами собой отнесли ее к кассе. «Крысид, крысид» — сразу все ожило — и отъезд из деревни, и замурзанные сестренки, и дядька, который выпучив глаза, нависал над нею, сопя и стараясь ухватить ее за горло, и тетка, его жена, кричавшая про крысид.

Потом много было всякого, и разного и хорошего, разного, как у всех. Плохого больше. Но выкрутилась. Выкрутилась. И сидит теперь в своем собственном кафе. Да еще на Малой Бронной. В самом центре. Хозяйкой сидит. Правда, размордела как следует, расплылась, дочка в Штаты сбежала с одним... все художником себя называл, а оказался... прости, Господи! Сын тоже вот — в отсидке, грабить людей задумали с пацанами, дураки. Уж лучше бы у нее попросил. Много не дала бы, а уж так... что грабить ходить не надо было бы... А в общем, что... Даже один профессор к ней в кафе ходит. И все намеками, мол, жена у него померла. Она у соседей подразунала, те говорят — и верно профессор. Чудно! На старости, считай лет, профессоршей стать...

А тут приходят трое. Она их сразу узнала, вычислила. Лобастые, стриженные, с мобильниками все. Мобильники на стол, это у них мода такая, и к ней:

«Как бизнес идет, мать?» А сами чуть старше ее сына. Рожи бычат, а губенки-то слюнявые, трусят, падлы...

— Бизнес нормально, грех жаловаться! — она сняла трубку и позвонила вниз, на кухню. — Грачик, принеси нам закусить что-нибудь, на четверых. Много не надо, легонькое что-нибудь... — и засмеялась, увидев, как они насторожились.

— Что испугались-то?

— Чо испугались? — отозвался старший. В наколках и пожирнее.

— Ты что, наш, вятский? — она опять засмеялась через силу. — Наши вятские, парни хватские.

— Вятский, вятский, — неохотно подтвердил он. — Делиться надо, мать.

— Надо так надо, — неожиданно быстро, даже с облегчением согласилась она.

Грачик сам принес холодное мясо-ассорти, рыбной нарезочки и фирменные «свиные ушки»: в язычок нежная ветчинка с сыром-пармезанчиком завернуты и все это на зеленом салатном листке.

Принес и, хоть неробкого десятка парень, жизнь видел, все же побледнел слегка: «Может еще чего? Из горяченького?»

Кто жизнь знает, тот поймет, что Грачик в виду имел.

— Да нам тут особенно расслаживаться некогда, да, ребята? — И достала из столика-сейфа фирменный армянский коньячок. Три дня назад, словно толкнуло что, достала она его, давно заготовленный, и принесла из дома в кафе, в кабинет. — Откроет кто? — она повернулась к братве. — Ну? — и протянула бутылку старшему. Вятскому.

Тот бутылку осмотрел, нюхнул зачем-то и, достав из брюк нож, ловко смахнул золотенькую верхнюю упаковочку с горла.

— Ух ты, — с уважением стрельнул он глазом на бутылку. — Пробка настоящая! — и взял у нее штопор.

Она разлила сама. Поровну по трем высоким, с золотым обрезом, стаканам.

— Ему поменьше, он за рулем, — сказал вятский, отодвигая один из стаканов.

— Да ладно, такие ребята крепкие, что с полстакана будет-то? Это я уж, — она поднялась, подошла к холодильнику и достала оттуда запотевшую, начатую уже бутылку шампанского, — это я уж... мне еще работать... — и подняла бокал. — За крышу? — и засмеялась.

Допили коньяк, отлакировали шампанским и подробно поговорили о крыше и деньгах.

— Сейчас нет, ребята, налички, рано еще, завтра подготовлю и приезжайте. Только телефон оставьте, если что. А то уже ко мне заглядывали тут всякие...

— Ну и чо, отбивалась? — размяк старшой. — Кто придет, прямо телефончик дай — и канай отсюда, конкретно.

Потом она зачем-то протерла все стаканы, стирая следы (позже, на суде, ей сто раз припомнят: зачем, дескать, стирала отпечатки пальцев, что скрыть хотела?), в перчатках, остороженько взяла бутылку из-под коньяка и сунула ее в полиэтиленовый пакет, завернув потуже и обвязав скотчем. Посидела, повспоминала жизнь свою, дочку с ее заразой-художником, сына-дурака, припомнила и профессора и даже достала его визитку из стола. Узнать хоть чего он профессор, а то умрешь — и не узнаешь. И позвонила в милицию, начальнику угро и своему клиенту, особому любителю «свиных ушек» на халяву.

— Петрович, — сказала она, чувствуя как страшная усталость и безволие накатывают на нее, как когда-то, когда маленький и страшный Гриша поманил ее пальцем в рубочную. — Приезжай, Петрович, я тут одних бандюков крысидом траванула...

Потом она сидела на суде почти не слушая и не слыша, что гундосо читала маленькая судья с сединой в редких рыжих волосах и толстых очках, сидящих на носу криво.

Судья торкала пальцем в переносицу и злобно поглядывала на нее.

— Вы что хихикаете, подсудимая, — наконец не выдержала судья, — трех человек отравила и хихикает!

А она не хихикала. А может и было такое, но просто она думала, что вот снова придется ей вертеться, теперь уже в тюрьме. И она знала, что будет вертеться. И выкрутится.

Хоть бы ей и пришлось вертеться, как мартышке на... у посла Бурунди.

Поэзия белорусской эмиграции*

С белорусского. Перевод Ивана Бурсова

Алесь Смоленец (1893 — 1966)

Будка 175

Меж пригорков две стальные змейки —
Ржавые следы узкоколейки.
По бокам высокие столбы.
Переезд... Лишь рельсы уцелели,
Стены будки в оспинках шрапнели:
Вбитые в кирпич следы борьбы.
Видно, громко здесь звенели пчёлы,
Заливался пулемёт весёлый,
И живых и мёртвых веселя...
Здесь сегодня жито ждёт покоса,
У криницы ало рдеет роза —
Кровью здесь пропитана земля.

На старой позиции

Куда ни глянь — везде следы боёв:
Окопы, рельсы, вырванные рамы,
На батарее два лафета без стволов —
Свидетели недавней страшной драмы.
Провисла проволока и сползла в окопы,
На самом дне витки ужами выются.
Людей не видно — на чужбине хлебобобы...
Бог знает, суждено ли им вернуться.

* Все стихи, вошедшие в подборку «Поэзия белорусской эмиграции», отобраны для перевода из книги «Туга па радзіме»: Мінск, «Мастацкая літаратура», 1992. На русском языке публикуются впервые.

Алесь Смоленец (Александр Ружанцов) родился в Вязьме. Закончил Московский университет и Алексеевскую военную школу. Прошел Первую мировую войну. После 1917 г. сражался и за «белых», и за «красных». В 1920 г., во время войны с белополяками, возглавлял белорусский батальон в Литовском войске. В 1944 г. уехал в Германию, позже — в США, где и скончался.

Расстрел

Посвящаю М. Гарецкому

Промелькнула, как молния, мысль: «Я умру!»,
Чтоб пропасть на кровавом ветру...
В обомлевшее тело воткнули
Свои рыльца голодные пули.
И упало оно, и слышались стоны
Возле тёмной стены опалённой.

Фонари вдруг погасли...
Задымив папирсой,
Кто-то выругался из матросов.
Лужу крови перешагнул кто-то...
Жизнь закрыла свои ворота.

Наталья Арсеньева (1903 — 1997)

Не цалавала рук нікому я ў жыцці,
Табе ж, мая зямля,
Я цалавала б ногі...

Наталля Арсеннева

Вместо меня

Я — не живу...
Луга в зелёной дымке,
и солнце над квадратами полей.
То за меня цветут
деревья-невидимки:
кружится над землёй
пух верб и тополей.
И летом не живу...
В желтеющей пшенице
синеют васильки —
и взгляд мой в их глазах.

А страдную порой
поют на поле жницы, —
печаль моя звучит
в их чистых голосах.
И осенью опять —
вместо меня осины
свой красный гасят свет
в седом тумане дня.
И плачет мелкий дождь
уныло и тоскливо
по солнцу и весне, —
он плачет... за меня.

1937

Наталья Арсеньева родилась в семье Алексея Арсеньева, родственника М.Ю. Лермонтова. Детство и юность прошли в Вильно, где с 1921 г. она печаталась на белорусском языке, а в 1927 г. вышла первая книга стихов Арсеньевой «Пад сінім небам». После объединения Западной Беларуси с БССР в 1939 г. работала в «Сялянскай газэце». Весной 1940 г. ее как жену польского офицера ссылают в Казахстан, но по просьбе Союза писателей Беларуси в мае 1941 г. освобождают. Война застала Арсеньеву в Минске. Во время оккупации работала в «Менскай (белорусской) газэце». В 1944 г. вместе с семьей уехала в Германию, в 1950 г. — в США. К столетию со дня рождения поэтессы в Минске вышел однотомник избранного «Выбраныя творы».

Твоё имя

Маці родная, маці краіна,
Не усцішыцца гэтакі боль...

М. Багдановіч

О, Беларусь,
о, Беларусь моя!
Твоё мне имя — жгучий символ боли!
Но искренне её благословляю я:
ведь с ней я — человек:
на воле и в неволе.
Со мною эта боль повсюду и везде:
и не гнетёт совсем, и не порочит,
что словом неродным меня встречает день,
чужими снами провожают ночи...
Родная эта боль, она со мной на «ты».
песком присыпав сор обид и умолчаний.
Боль эта по утрам от местной суеты,
надежно оградив, собою защищает.
А вечером она снять помогает мне
весь груз дневных забот
и побороть усталость,
и все обиды дня, осевшие на дне,
порвать, чтобы они со мною не остались...
Все сны мои — как явь,
а явь — всего лишь сон,
с души сметает пыль
всех дрязг и мелкой злобы...
Весёлой Вилией поёт седой Гудзон,
домами Вильни тают небоскрёбы.
Я возложить хочу на струны,
как Баян, пять пальцев-лебедей,
чтобы сыграть — всем сердцем, всей душою:
о, Беларусь,
о, Беларусь моя,
сквозь боль свою играть Тебе, Тобою!

*Рыгор Крушина (1907 — 1979)**Родные звуки*

Снова родные мне слышатся звуки,
Я не один — вдохновенье со мной.
Тревожная дума во время разлуки
Тянется следом певучей струной.

Рыгор Крушина (Григорий Козак) родился в Беларуси на Слуцщине. Впервые со стихами выступил в 1927 г. и тогда же издал два поэтических сборника «Разгон» и «Паэзія чырвонаармейца». В 1935 г. окончил Московский институт кинематографии, а в конце 30-х была запрещена публикация его произведений. Во время войны оказался в оккупированном Минске, откуда в 1944 г. уехал в Германию, потом — в США. В эмиграции издал 7 книг стихов, стал первым белорусским членом Международного ПЕН-клуба. В 2005 г. в Минске вышел однотомник стихов Рыгора Крушины «Сны і мары», а в 2007-м (к столетию) сборник «Кантакт самотных».

Слово, которое властно, навечно
В жизнь мою, в чувства и в мысли вплелось,
Словно ржанные колосья под ветром
Бурной волною во мне поднялось.

Слово поёт. Торжествует. Ликует.
Песнь материнская слышится в нём.
В нём нахожу я правду святую —
Мир, целый мир бьётся в сердце моём.

Надежды свои доверяю я песне,
Я в ней утешенье всегда находил.
Она помогала, когда были вместе,
И утешала, когда был один.

Вновь ощущаю я творчества муки,
Они поднимают меня над землёй.
Родные во мне пробуждаются звуки...
Я не один —

моя МОВА со мной.

А здесь иначе

У нас зимой был всюду снег,
Искрился, взгляд лаская.
В снежки играли... Шутки... Смех...
И речь вокруг родная.

На крышах белые холсты.
Сосульки, словно бусы,
И придорожные кусты
Все в белом, как индусы.

А по ночам трещал мороз,
Позёмкой снег царапал.

И ветви молодых берёз,
И медь дубов и грабов.

И снег кружился над землёй
Счастливый и довольный...
Здесь всё иначе... Солнце, зной
И кипарис безмолвный.

Нетрудно и сойти с ума,
Ни льда, ни листьев прелых.
Одна зелёная зима,
И только люди в белом.

* * *

Под окном стокрылый клён.
Дом родной, как милый сон.
В дымке слёз крыльцо, жасмин,
А в груди кленовый клин.

Я к нему уже привык,
Эта боль со мной везде.
Я гляжу на Божий лик...
О, Иисус мой на кресте!

Боже, чудо для души
Сотвори,
Пусть рухнет зло,
Чтоб добро не в миражи,
А в мой край меня вело.

Там шумит стокрылый клён,
Как и прежде, под окном.
Слышу я, тоскует он
И зовёт в родимый дом.

Фёдор Ильяшевич (1910 — 1948)

* * *

Сердце чувствует:

немного

Мне дано на свете жить...

Скоро кончится дорога,

Жаль, что некуда спешить.

Вот бы заново родиться,

Пострадать за отчий край...

Мне бы солнышку молиться —

Не хочу в небесный рай!

А умру, пусть тёмной ночью

Вспыхнут две звезды во мгле ...

Пусть мои тоскуют очи

По покинутой земле.

1928

Друзьям

Осенний шторм. Чужой мне листопад.

Метёт листву холодный ветер.

Сижу один... Кто глянет на меня,

Решит — бездомный оборванец.

Где вы, друзья?

Вам, незнакомые друзья,

давно пишу я,

днём и ночью

слагаю этот стих.

Но мне руки никто не подаёт,

И слова доброго ни от кого не слышу.

Погибну, видимо, один я на дороге

Или замёрзну, как собака в поле,

На небо воя...

...Как зябко и пустынно на земле,

лишь дождь и ветер...

Вы слышите мой голос?

Ночь. Тишина.

Чужой мне листопад.

Но я упрямый...

Слышите, смеюсь я?!

Ведь это всё —

для лучшей доли

нашей Беларуси.

Фёдор Ильяшевич родился в Вильно. Окончил исторический факультет Вильненского университета. Во время войны 1941 — 45 гг. был редактором газеты «Новая дарога» (Белосток). В 1944 г. выехал в Германию, где и погиб в 1948 г. в автокатастрофе.

*Алесь Дудицкий (1911 — 1976)**Уста и песни*

Пробуждайтесь, уста и песни,
чтоб душа не погибла в плесени,

чтобы ветры и блики рекламы
стёжки узенькой не запятнали,

и не этой, протоптанной в поле —
той, что нас породнила с болью, —

неисхоженной, неизжитой,
с тихим шёпотом верб над житом,

где рябины в мякише ночи
ало гроздьями кровоточат

и тоскуют по осени лунной
близких выюг печальные струны...

Пробуждайтесь, уста и песни,
чтоб душа не погибла в плесени.

*Венесуэла, 16.10.1949**Чёрная карта**Самому себе*

Как тот колос в поле — один...
На горбу никакой поклажи,
Говорю сам себе — иди,
а куда — пусть сердце подскажет.

Ведь немало уже пришлось
поскитаться по свету пешим...
Всё лицо от жары запеклось,
но дышу зато воздухом свежим.

Ведь упорство — совсем не блажь,
Помогает оно в каждом деле...

Ну, а бросят в глаза: «Не наш», —
значит, близок ты к светлой цели.

Обгоняй отстающих, рискуй!
Нелегка к удаче дорога.
И пусть сила кривую версту
распрямляет на черепе рока...

А свершатся надежды и сны,
Сможешь ты рассказать без азарта,
Как с трудом, из зубов сатаны
Была вырвана чёрная карта.

Венесуэла, 18.2.1955

Алесь Дудицкий (Гутько) родился в дер. Дудичи на Минщине. Учился в Минском педтехникуме. В 1933 г. арестован и осужден по обвинению в «нацдемовщине». Три года лагерей отбыл в Новосибирске и Мариинске и год высылки — в Казахстане. Война застала его в Минске, откуда началась эмиграция — Германия, США, Венесуэла. Бесследно исчез во второй половине 1970-х. Стихи начал писать до войны. В середине 1990-х Белорусский Институт Науки и Искусства в Нью-Йорке издал том его произведений «Напярэімы жаданням».

Кусочек неба

К стеклянному кругу окна
неба прилип кусочек —
и говорит мне: «На,
возьми меня, если хочешь...»

Не верю себе. Обман.
Не слышал я про такое,
чтоб мог простой мальчуган
святыню достать рукою...

От волнения всё сжалось в груди:
это ж надо, вот оно — небо!

Захотелось к нему подойти —
вместо двери каменный невод.

Только проблеск неба не гас,
Чаровал меня понемногу —
видно, он в глубине моих глаз
смог души разглядеть тревогу:

«Я знаю, кто ты и чей —
Поступить не можешь иначе.
Меч возьми — один из лучей,
и — с Богом! Желаю удачи!..»

Южная Америка, 1.10.1955

Владимир Клишевич (1914 — 1978)

Колокола

Церковные звонят колокола,
Как много в них душевного тепла.

Вечерний час. Морозная зима.
Пустынны улицы... Притихшие дома...

И этот тихий колокольный звон...
Кого сегодня отпевает он?

1931

* * *

Мне в неволе жить надоело,
Смерть приму, как спасенье от мук.
Сам на душу, на бречное тело
Наложу пальцы скованных рук.

Счастье людям даётся на свете
Очень рано, всего один раз,
Достаётся оно только детям,
И сегодня оно не для нас.

Время птицей стремительной мчится...
Годы, годы, к чему эта прыть?
Как хотелось бы снова родиться,
Хоть немного ребёнком побыть.

Была молодость и... пролетела.
Не вернётся — зови не зови!
Разлучилась душа моя с телом —
С той поры моё сердце в крови.

Владимир Клишевич родился на Слуцчине. Работал учителем. В 1936 г. поступил в Минский пединститут, в этом же году был репрессирован и оказался на Колыме. В 1940 г. привезен на пересмотр дела в Минск, где его и застала война. Оказавшись на воле, вернулся в Слуцк и работал в редакции «Газеты Слуцкчыны». В 1944 г. уехал в Германию, потом — в США. В эмиграции издал несколько книг стихов. Дважды приезжал в СССР.

Пой же, ветер, в холодной Сибири
И в метельной колымской глуши!
Как душа может с сердцем жить в мире,
Если нет уже больше души?

Ничего мне не надо от доли...
Хватит плакать и незачем петь!
Одного бы хотел я — на воле,
На сторонке родной умереть.

Злобный рок угрожает мне смертью,
Но угроз его я не боюсь:

Не погасит никто в моём сердце
Мою веру в мою Беларусь.

Время с неумолимою силой
Гонит жертву, как в вихре, кружа.
Не страшит меня встреча с могилой,
Ведь уже не со мною душа...

Мчатся кони, как белые тени,
Их копыт слышу дьявольский стук...
Лучше сам я на душу и тело
Наложу пальцы скованных рук.

*Январь, 1939,
Колыма, прииск Верхний Ат-Урах.*

Фантазия

Слово за словом и — мысли метелицей:
Вот уже плавают, кружатся, стелются.

Вихрь то холодный, то, следом, горячий
Прносятся с воем, визгом и плачем.

И всё обрывается... Крыть больше нечем —
Бессмысленный звон в мозгу человечьем.

Все мысли-слова ветром вечности сдуты...
Боже! Как страшно в такие минуты!

Михась Кавыль (1915 — ?)

Помнишь, мама?

Помнишь, мама, тот город в глубинке?
Белый дом с часовыми... острог?
При свидании ты мне ботинки
Отдала, сняв с натруженных ног...

Часовой торопил нас: «Быстрее!..»
Распрощались мы тихо, без слёз.
А завтра туда, где не греет
Летом солнце,
нас поезд повёз...

Много слёз превратилось там в льдинки —
На глазах тех, кто выжить не смог...
Не твои если б, мама, ботинки,
Я остался бы тоже без ног.

Часовые торопят: «Быстрее!»...
Всё снесу терпеливо, без слёз.
Жду, когда ж меня солнце согреет
В том краю, где родился и рос?!

1934, Седанлаг, Дальний Восток

Михась Кавыль (Иосиф Казимирович Лешенко) родился на Слуцшине. Член литобъединения «Молодняк». В 1933 г. арестован и приговорен к трем годам лагерей. Наказание отбывал на Дальнем Востоке. В конце 1935 г. досрочно освобожден за ударный труд и хорошее поведение. Жил в Воронеже, учился в пединституте и работал учителем. В 1941 г. был призван в армию, воевал на Украинском фронте. В 1942 г. попал в плен. В 1944 г. уехал в Германию, потом — в США. Печататься начал еще до войны. В эмиграции издал 5 поэтических сборников.

Журавли

Из далёкой заморской земли,
Где зимы никогда не бывает,
Беззаботно летят журавли
В край, который их ожидает.

Чтоб за Неманом где-нибудь
Прокурлыкать на Празднике лета,
И в обратный отправиться путь
С голосистым выводком деток.

Ну, а мне возвращаться куда?
Что меня домой не пускает?
Где струится «живая вода»,
Что все тяжести с сердца смывает?

Журавли, я в последний свой миг
 Попрошу вас, — назад полетите:
 По дороге в Святую Святых
 Мою душу с собой заберите...

1976

Янка Юхновец (1926 — 2004)

Ещё на востоке не было рассвета

(В день 21 июня 1941 г.)

Ещё на востоке не было рассвета.
У края земли еще розово не курчавились облака,
и волшебнo не изгибались,
восходя по пурпурным ступеням, —
а на Родине
давно уже начался день —
люди сами его разожгли среди ночи:
там морщинулся воздух в клещах адской жары,
и чадающий дым глубоко ранил небо.

Млела земля под огненным плугом,
лоснилась пластами перепаханных нив.
Жаворонок падал с неба и прятался под межой —
рокотом моторов клекотала синь.

Ветер яростно спорил с пулями
за певучесть своих шмелиных струн,
но пули прилипали:
к деревьям
и кирпичам. —
свои имена высекали. .

А на пожарищах петухи:
справляли панихиду:
отпевали погибших —
храбрецов и трусов —
охрипшими голосами....

1947

Янка Юхновец родился в деревне Забродак на Витебщине в крестьянской семье. С приходом на Беларусь немцев был арестован. В 1944 года вывезен в Германию. Получил юридическое образование в Мюнхенском университете по специальности «Западно-европейское право» (1949). В этом же году он уезжает на жительство в США. С 1947 года его стихи появляются на страницах эмигрантских журналов.

Вечерний лучик солнца угасал

Вечерний лучик солнца угасал
и прятался неспешно за горами.
Последней тенью исчезал с земли
и становился бронзовым закатом.

Смолкали песни,
шорохи стирались —
терялись в необъятной тишине.

Но вскоре ржавый мрак пропал,
растаял в темноте дубрав и ночи.

И только жёлтый месяц в небе
блуждал по переулкам звёзд.

И долго жуть ночная в тишине
лежала среди людских тревог
в постели из ночной росы и мха
рожала новый день.

И день настал. И новый день родился,
и длился сколько мог.
Но... ничего не мог решить и этот день.

1947, Бавария

Ежедневный водопад

Вода там льётся через плотину,
шумит,— будто лес кругом.
Мысль моя иногда случайно
навещает этот забытый дом.

Серебристым цветением водопад
украшает речное дно.
Старая мельница на откосе —
брызги летят в окно.

Там окна давно без стёкол,
плынь сквозь жернов растёт.
Дорога, которая шла сюда гатью,—
сегодня пошла в обход.

Быстрые чайки прямо с полёта
ныряют в поток с высоты.
Каждая, будто хочет собою
добавить в ставок воды...

Разбитая гать и забытая мельница —
старого мельника тень.
Вода, словно песня, льётся и льётся —
изо дня в день...

1951

*Алесь Соловей (1922 — 1978)**Крестный путь*

Ты родился — был с тобою
Иисус Христос.
Тщились смыть Тебя волною
силы бурь и гроз.

Волны день за днём кипели —
шёл за валом вал,
но в бушующей купели
на ноги я встал.

Крест несли мы общей боли —
Ты и я с Тобой.
Мы тащили цепь неволи
торною тропой.

Чёрт опутывал цепями,
не жалел угроз.

Мы терпели — вместе с нами
Был Иисус Христос.

А потом... Твой лик стал хмурым,
Ты в огне был весь.
Нас разъяли злые бури —
стал тяжёлым крест.

Не минул с тупой толпой я
Ни одной версты.
Там, где Ты — был я с Тобой,
а где я — там Ты.

Тот для новых дней воскреснет,
кто всё перенёс.
Мы идём, и с нами вместе
Иисус Христос.

1945, Австрия

Плачущая мать

Оторвали, схватили, силком повели.
Онемевшие тучи. И отзвуки грома.
У какого он края земли?
Ждать иль нет его дома?

И ночами и днями — от поздна допоздна —
До сих пор страх надеждою дышит.
И тоскливая, ходит Она —
Сына, сына всё ищет.

А на лучике солнца капля света — всего...
Туча в небе — свинцовая льдина.
— Где найти? Как увидеть его —
Полонённого сына?

— Замолчать! — и морщинки на душу легли...
Горечь слёз... Боль солёного кома...
Может, жив он у края земли?
Ждать, иль нет — его дома?

И ей кажется веком минута одна.
Без конца ткёт паук паутину...
В бесконечных потёмках — Она.
Плачет, плачет по сыну...

1945

Алесь Соловей (Альфред Васильевич Радюк) родился на Минщине. Печататься начал до войны. Во время оккупации работал верстальщиком в «Менской газете». С 1942 г. — секретарь журнала «Новы шлях» в Риге. В 1944 г. эмигрировал в Германию, жил в Австрии, откуда в 1949 г. выехал в Австралию. В 1982 г. Белорусский институт науки и искусства издал том его избранного «Нятуская краса». В Беларуси вышла его первая книга: «ТВОРЫ: паэзія, проза, лісты»...

Вгрызается сталь в земное ядро.
 В дьявольском грохоте слышно:
 — Долби! Долби! — Откроется...
 Не прогляди!
 А тех, кто теперь остановится,
 ждёт беда впереди!
 Первой схватки закончился гром.
 И опять на незримых волнах —
 То вверх, то вниз —
 замигали.
 Поплыли гуськом
 Огонёк за огоньком...
 С углём смешавшись во мгле
 Лежат пласты мрака липкие.
 Слезами чёрными всхлипывая,
 Видно, жалуются на что-то земле.

Осенняя песня

Падают листья, падают с клёнов
 Музыкой тихой и монотонной.

 Стелются листья в сумраке дальнем
 Счастьем прошедшим, вздохом прощальным.

 Золото листьев, синь поднебесья,
 Жёлтая осень, грустная песня.

 Тихой молитвой сладко ей литься:
 Падают листья, падают листья.

1953

Масей Седнёв (1913 – 2001)

Страх

Ночь в темноте держала нас	Тюремный двор в тяжёлом сне
На ледяных ножах.	Все звуки заглушил.
Тюрьма... Безумным блеском глаз	Не знал я в этой тишине —
Дрожал в решётках страх.	Я жив или не жив?

Масей Седнёв родился в дер. Мокрое на Могилевщине. Учился в Минском пединституте, вместе с 12 студентами был репрессирован и отбыл 5 лет в колымских лагерях. Перед войной его привезли в Минск на пересмотр дела. 26 июня 1941 г. должен был начаться суд, но началась война. Всех заключённых тюрьмы погнали на восток двумя колоннами: в одной — уголовники, в другой — «враги народа». Эту колонну расстреляли, но Седнёв сумел вырваться на волю. В 1943 г. выехал в Белосток, затем в Берлин, а оттуда в США. В 1992 г. реабилитирован.

Крик темноту прорезал вдруг
И рухнул, весь в крови,
И чей-то голос:
— Пальцы рук
Дави ему! Дави!

И плачем двор на этот грех
Откликнулся в тиши.

И кровь, забрызгавшая всех,
Окрасила ножи.

Я думал, с нами ночь сейчас
Смерть примет на ножах...
Вокруг безумным блеском глаз
Дрожал и плакал страх.

Минск, тюрьма

На закате солнца

Как будто с неба они свалились,
эти святые гонцы:
за железной оградой разместились,
уселись рядышком, как мудрецы.

Ожидают, кто и когда их купит,
заывают: — Смотрите и выбирайте!
Что, не хотите быть с нами вкупе?
Веропродавцы!

— Ишь! Убегают, словно чужие, —
А мы же родственники вроде...
Памятники, вслед вытягивая шеи,
гнусавили: — Глупые, ещё вернётесь!

Чтоб нас бояться — нету причины —
мы посланцы мира и лада...
Вон задержался какой-то мужчина.
Давай, подходи, — бояться не надо!

Я замер от дьявольского приглашения,
а лысина будто в росе вся.
А памятник тем временем —
прыг мне на шею
и на плечах уселся.

— Неси! — выдохнул каменным телом,
и кольцом сомкнул руки...
Заходящее солнце кроваво рдело
от страданий и муки.

1948

Сон

Неизвестно, что дальше, — кто подружится с нами?
Первый раз на чужбине ночь пришла ко мне снами:

Совсем маленький, шёл я по выгону босо,
и в прозрачных глазах нёс июльские росы.

Пастухи на желейке играли — старались,
чтобы вымя коровье молоком наливалось.

Пастухи веселили зелёные дали,
и меня — хоть был рядом я — не замечали.

Ну, хотя б улыбнулись — ни слова, ни ласки,
Позабыли совсем о мальчишке-подпаске.
Моё сердце вдруг сжалось от нахлынувшей боли,
и побрёл я в деревню по знакомому полю.

Отыскал я то место, где хата стояла,
но знакомое место уже пустовало.
Так прошёл я во сне по родной Беларуси —
распрощалась душа с тем,
куда не вернусь я...

Илья Огнев

Два рассказа

Параллельные миры

Он оторвал взгляд от экрана монитора и посмотрел на часы, висевшие на безжизненно серой стене над дверью в кабинет издателя. Часы были большие, круглые, с золотым ободом, золотыми монетами вместо цифр и слитком золота на циферблате. Рабочий хозяйственной службы, стоя на шаткой стремянке и прилаживая их на гвоздь, покачивал седой головой: «Правду говорят: время — деньги. Умные люди понимают, потому так и живут. Не то, что мы, дураки».

До обеда оставался целый час.

Он на мгновение прикрыл веки, надеясь, как в детстве, с легкостью отгородиться от мира, спрятаться ото всех и, представив себя путешественником, мореплавателем, покорителем новых земель, оказаться далеко-далеко... Но под веками дрожала одна густая непроницаемая тьма.

— Хватит дрыхнуть на работе. Пойдем покурим, — раздался за спиной громкий мальчишеский голос. Дизайнер Витя хитро подмигивал и пританцовывал на месте, из ушей у него торчали проводки наушников и змеясь тянулись к боковому карману джинсов, откуда выглядывал серебристый плеер.

— Ты же знаешь, я бросил.

— Оттого и смурной. Я тебе вот что скажу: перекур окрыляет; от перекура работа спорится; с перекуром по жизни. Записывай, пока я добрый.

— Обязательно. Сделаю пару звонков и сразу поставлю твои афоризмы прямо на обложку.

Он так и сказал: не «позвоню», а «сделаю пару звонков». На работе он и думать начинал на этом ненавистном ему офисном языке: «отзвониться, будем на связи, скиньте предложение мне на мыло, приаттачьте письмо, уехал на встречу»...

Он устало откинулся в кресле, нарисовал на обороте какого-то рекламного проспекта сигарету с убегающей вверх спиралькой дыма, обвел кружком и перечеркнул по диагонали.

Илья Огнев (Оганджанов Илья Александрович) родился в 1971 году. Закончил Литературный институт им. А.М. Горького, Международный славянский университет, Московский государственный лингвистический университет. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Урал», «Сибирские огни», «День и ночь», «Крещатик» и др. Живет в Москве. В «ДН» публикуется впервые.

Главный редактор просил его поторопить двух авторов со сдачей материалов. Один был их давний внештатный сотрудник, интеллигентный старичок, библиофил и книжный червь, писал им про великих людей искусства. В редакции со всеми раскланивался, целовал девушкам ручки, секретарша Люся прозвала его Господин Будьтелюбезны. В прошлом году у него обнаружили рак. Просил никому не говорить. «Не то, кто их знает, перестанут из жалости заказывать статьи, и лишусь я последних средств к существованию». Обещал больше «не срывать графики». «Просто боли замучили... Я на днях обязательно допишу». За гонорарами уже несколько месяцев приходила его жена, в выцветших нарядах советских времен, и стыдливо зажимала деньги в сухенький кулачок.

Другая была молодая девица, недавно после журфака. Вела раздел моды. Щеголяла в каких-то невообразимых платьях, лихо повязанных шарфиках и под разными благовидными предложениями переносила сроки сдачи. А с недавно открывшейся беременностью стала и вовсе невозможно необязательна.

Зазвонил телефон. Он снял трубку.

— Я тебя не отрываю? — голос жены звучал виновато, просительно.

— Нет.

— Малыша измерили и взвесили. Мы выросли на сантиметр и прибавили двести граммов. Врач сказал: все идет по плану. Ты рад?

— Конечно.

— А я надеялась, что ты сам позвонишь...

— Было много работы.

— Ну не буду мешать. Ты сегодня не поздно?

— Как обычно.

Он собирался еще что-нибудь нарисовать, но тут пискнул мобильник — пришла эсэмэска: «Пообедаем? Я соскучилась со вчерашнего вечера. И не смотри на меня так, пожалуйста, мы же на работе».

«В два на нашем месте», — ответил он и первый раз за день посмотрел на нее.

Она сидела у прохода, и он мог видеть из-за перегородки ее гладко зачесанные, собранные в пучок темные волосы, высокий лоб, нежную мочку уха с капелькой жемчуга, покатое плечо и полную грудь под пушистой шерстяной кофтой. Ее рабочий стол пестрел от всяких безделушек: медный скарабей, муха в янтаре, морская раковина, миниатюрная венецианская маска, кружка с Эйфелевой башней, точилка в виде сомбреро. На углу — семейная фотография в рамке: они с мужем, сыном лет двенадцати и маленькой дочкой где-то на море. Муж высокий, крепкий, скуластый, с густой проседью в волосах, про таких говорят: «с ним как за каменной стеной». «Он у меня программист, любит путешествовать, бегают по утрам — следит за здоровьем, даже кругом положительный. Сын на него похож, такой же молчун, целый день в компьютере. А дочка... она скорее на меня... нос вот только курносый... Но это отдельная история, я тебе потом как-нибудь расскажу».

Она устроилась к ним в редакцию после декретного отпуска. И сразу легко и ровно со всеми сошлась, как-то исподволь умея расположить к себе. Их издатель, обычно общавшийся с сотрудниками, как капризный отличник с неучами, представляя ее коллективу, приглаживал остатки волос на шелушащейся яйцевидной лысине и был сама любезность, весь сияя, точно выиграл в

лотерею: «Познакомьтесь, это наш новый менеджер по рекламе». Она умудрилась понравиться даже секретарше Люсе, в первый же день пообещав ей принести брошюру с какой-то супермодной и сверхэффективной диетой, при которой можно все есть и не бояться раздаться вширь, и, посидев на которой, одна ее подруга моментально выскочила замуж.

После декрета у нее что-то не заладилось на прежнем месте работы — сокращение, или новый начальник, или просто наскучило и захотелось перемен, — из ее обтекаемых объяснений ничего не смогли выудить и самые опытные редакционные кумушки. Но допытываться никто не стал — в рекламном отделе вечная текучка и люди всегда нужны.

Он вышел из редакционной комнаты и не торопясь направился к лифту. Звук шагов таял в мягком, недавно постеленном ковролине. Ярko горели окна-аквариумы соседних организаций. За окном PR-агентства молоденькая, густо накрашенная секретарша сосредоточенно перепечатывала быстрыми розовыми пальчиками какую-то бумагу. Напротив нее на стуле сидел курьер, лет сорока пяти, и преданно, по-собачьи следил за каждым ее движением, его спутанные сальные волосы стояли торчком, точно съехавшая набок корона. Этот курьер работал здесь давно и с самого утра ерзал на своем стуле и мял в увесистых ручищах лыжную шапочку, ожидая очередного задания. А секретарши постоянно менялись. Одну звали Валей, она готовила очень вкусный сырный пирог и носила цветастое кружевное нижнее белье — «я в нем, как мотылек, да милый?»...

Было солнечно и морозно. Снег искрился и скрипел, точно резиновый, ледяной воздух щипал ноздри, и у самого лица клубилось густое облачко пара. Он на ходу поднял воротник дубленки и поглубже натянул ушанку.

Сдавленно пискнул в кармане мобильник. Пришло сообщение от жены: «Купи домой хлеба и банку молочного питания. И ты опять забыл выключить свет в туалете... А малыш покакал. Мы тебя любим и целуем».

Несколько лет назад он решил, что для него все уже кончено и больше в его жизни ничего стоящего не случится, и надо, как все люди, создать семью, завести детей. Жена была сильно моложе его, добрая, восторженная, увлечена литературой, знала наизусть его стихи и гневно осуждала читательниц бульварных романов. Но вскоре в квартире стали пачками появляться журналы для будущих мам, дома только и разговоров было, что про отошедшие воды и ложные схватки, а после рождения ребенка он стал всюду — в комнате, на кухне, в туалете — натекать на журналы для молодых родителей и книгу доктора Спока...

Он ждал ее в итальянском кафе. Здесь было уютно, круглые столики с клетчатыми скатертями, ретрофотографии — площадь Сан-Марко, собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Колизей, хрипловатые голоса Челентано и Тото Кутуньо, а главное — кафе располагалось довольно далеко от их работы, три остановки на троллейбусе или двадцать минут пешком.

Он изучал захватанную карту бизнес-ланча. Блюда в ней обновлялись ежедневно, пять раз в неделю, а с понедельника все повторялось по заведенному кругу, и он проверял, угадал или нет сегодняшнее меню. Молодой официант у барной стойки приветливо кивнул ему и понимающе снисходительно ухмыльнулся.

Она слегка опоздала. Приостановившись в дверях, сняла капюшон, распу-

стила волосы и цепким взглядом окинула зал. Никого знакомых не было. Она подошла, плавно лавируя между столиков, скинула короткую лисью шубку ему на руки, утерла платком нос, по-детски шмыгнув, и потянулась к нему. Он неловко ткнулся ей в прохладную щеку и поймал губами краешек ее мягких губ.

Суетливо подскочил официант.

— Что у вас сегодня? — ласково поинтересовалась она.

— На выбор: салат «весенний» или «мимоза», суп дня или борщ, на второе — отбивная или курица, сок, чай или кофе.

— Странно, кафе итальянское, а меню какое-то нижегородское, — сказала она, озорно взглянув на официанта.

— Ты всякий раз этому удивляешься, словно впервые.

— Может, мне до сих пор кажется, что это у нас впервые?

Официант нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

— Я буду салат «весенний», а остальное на твой вкус, ты же мужчина и должен принимать решения, — она счастливо заулыбалась, и в уголках ее глаз веером разошлись к вискам лучики морщинок.

Как же они назывались эти морщинки? Такое смешное название... Он смахнул со скатерти крошку. Память совсем ни к черту.

Она поправила свои тяжелые волосы и еще раз быстро огляделась.

— Ты думаешь, на работе о нас не догадываются? — спросила она.

— Какое это имеет значение?

— Для меня большое. Пока это наша тайна, мы словно в другом измерении, в параллельной реальности. Понимаешь? А стоит узнать кому-то, взлезть в наш мир, и все сразу развалится, точно карточный домик. ...И мне придется и от вас увольняться.

— Знают, не знают — мне безразлично.

— А как же моя репутация?

— Разве тебя это волнует?

— Тебя, похоже, ничего не волнует. Ты совсем мне не рад?!

— Перестань, пожалуйста. Какая муха тебя укусила?

Она торопливо принялась за салат.

— Прости, страшно проголодалась... Как твой малыш?

— Нормально. Растет, кричит, ест и пачкает памперсы.

— А мой Андрюшка вчера из школы с фингалом заявился и не признается, с кем подрался, наверно, из-за девочки, а Маринка, представляешь, выдала: «у меня в детском саду есть целых два жениха, и, может, будет третий, я пока ничего не решила», — она говорила прерывистой скороговоркой, прихлебывая обжигающий борщ.

— Ты меня не слушаешь? Тебе неинтересно?

— Почему? Интересно.

— Опять куда-то улетел? Рассказ сочиняешь или стишок?

— Да нет...

— А мне твои рассказы очень нравятся, они трогательные.

— Ты уже говорила: милые и трогательные.

— Прости, я, наверно, не умею правильно выразить.

— Это ты меня прости. Я что-то сегодня расклеился.

Он положил кубик сахара в кофе и стал помешивать. В чашке завертелись концентрические круги. Похоже на пластинку.

- Тебе когда отдавать ключи?
- Толик возвращается вечером.
- Значит, нам снова снимать номер?
- Ты больше не хочешь в гостиницу?

— Просто привыкла к домашней обстановке... Но в гостинице тоже было чудесно. Помнишь, как мы угадывали, на что похожи облака, и ты сказал, что облака какие-то дремучие, былинные, а потом открыли окно на запруженный машинами проспект и будто слушали шум прибоя, представляя, что мы на море... Давай в следующий раз представим, что мы поехали куда-нибудь в Европу? В Париж, например. Ты был в Париже?

— Нет.

— Прекрасно. Тогда я покажу тебе Париж. А летом ты возьмешь отпуск и обязательно туда съездишь.

— Обязательно. Но зачем? Вот лет бы двадцать назад...

Он прикрыл веки, пытаясь представить, что было бы, вернись он лет на двадцать назад или раньше, и проживи свою жизнь по-иному... Он помрачнел и повернулся к окну. Солнце заволокло тучами, и хлопьями косо сыпал снег, точно зарябил экран телевизора.

Она тоже посмотрела в окно.

— Снег, — словно самой себе, сказала она, — какой пушистый, как в детстве под Новый год, когда мечтаешь, что все желания исполнятся.

Она сделалась непривычно серьезной, а у висков застыли и не разглаживались лучики морщинок, будто она продолжала счастливо улыбаться.

И тут он наконец вспомнил, как назывались эти морщинки.

Это было давно. Он опаздывал в школу и в спешке завтракал на кухне, а мама собиралась на работу и, стоя в прихожей перед зеркалом, вдруг горько вздохнула: «Вот и дожила до гусиных лапок. Господи, что же дальше-то будет?»

Прошлый век

Как-то непривычно тихо в квартире. Слышно, как проносятся машины, позвякивает и гроыхает на повороте трамвай, твякнула фальцетом собака, за стеной у соседей о чем-то оживленно заспорили. Молчит телевизор, не звенит в раковине посуда, и жена взхлеб не обсуждает по телефону с матерью очередную покупку или светскую сплетню из модного журнала. Она уехала утром, в пансионат, с подругой: «Надо же и мне когда-нибудь отдохнуть. Не скучай, я скоро вернусь. Всего-то три дня». Заперев за ней дверь, я прилег на диван и проспал до вечера.

В мышином сумраке комнаты грозными силуэтами вырисовывались книжный шкаф, торшер, кресло, спинка дивана. Урчал на кухне холодильник, из пустой спальни доносилось тиканье будильника, словно на кафельный пол падали свинцовые капли. На журнальном столике пискнул мой смартфон — подарок жены к юбилею. Наверно, пришло сообщение. Я поднялся с дивана и надел тапочки, расшитые, с загнутыми носами, тоже подарок жены, из Турции. «Доехали отлично. Мы с Дашкой уже в сауне. Целую!» И в конце — желтый смайлик с ухмыляющейся тупой хамской рожей. Я неуверенно ткнул пальцем в

экран, зачем-то пролистнул несколько страниц, нажал какую-то сенсорную клавишу и в раздражении положил смартфон обратно на столик.

— Это совсем не сложно и очень удобно, — словно ребенка уговаривала меня жена, вручая подарок, — ты быстро привыкнешь. А то куда же это годится: до сих пор с записной книжкой — прошлый век какой-то. Вот перепишешь все телефонные номера на «симку» и сразу освоишь передовую технику. Заодно, может, бывшей своей позвонишь и пассий своих доисторических вспомнишь.

Свет зажигать не хотелось. Я сидел, откинувшись в кресле, в густевшей полутьме, словно в спасительном коконе. В «хрущевке» напротив, на третьем этаже, зажглось окно — оранжевое, теплое, уютное. Там сейчас живет молодая девушка, наверно, менеджер в какой-нибудь средненькой фирме. Встает рано, пьет из кружки растворимый кофе, быстро одевается — деловой брючный костюм или темная юбка с белой блузкой — и бежит на работу. Возвращается поздно, всегда в одно и то же время, до двенадцати смотрит телевизор, потушив ночник, и тогда окно ее мертвеет, окрашиваясь в голубовато-серый цвет. В пятницу вечером к ней приходит молодой человек, высокий, широкоплечий, коротко стриженный, с узким лбом и кирпичным затылком. Они плотно закрывают шторы, до воскресенья. Временами девушка выходит на балкон покурить. В белом махровом халате, глухо запахнувшись, стоит она, опершись о перила, втянув голову в узкие ломкие плечи, с потухшим отсутствующим взглядом. Прежде эту квартиру снимали две плоскогрудые лесбиянки, они не закрывали занавесок, ходили по комнате в одних трусах, и жена игриво спрашивала меня: «И как там наши девочки, не завели себе мальчика?» До этого хозяева сдавали квартиру семейной паре с ребенком, а еще раньше там жила скрюченная старушка и утром трясушимися руками поливала из пластиковой бутылки цветы на подоконнике.

Я нащупал на шнуре выключатель и включил торшер. В круг света попали журнальный столик, промятое кресло, потертый ковер. На слабо освещенных полках темнели корешки книг, в углу — письменный стол, заваленный запыленными бумагами. Жена устроила в доме все по своему вкусу — хромированная мебель в стиле хай-тек, зеркальный шкаф-купе до потолка, пятнистые виниловые обои, но мой кабинет не тронула и согласилась какое-то время не заговаривать о ремонте. «Ты же работаешь, тебе нужен покой и привычная обстановка». Правда, я давно и прочно ничего не писал, но она по привычке с пиететом относилась к моим писательским потугам, как и вообще к любого рода умственным занятиям.

Я достал из ящика стола записную книжку и удобнее устроился в кресле. Я купил ее школьником в киоске «Союзпечати» на сэкономленные от завтраков деньги. На первых страницах — телефоны экстренных служб, меры величин, площадь территории СССР, названия всех пятнадцати республик и гимн Советского Союза. Книжка была с застёжкой, распухшая от вложенных в нее бумажек с какими-то адресами и пометками. Пожелтевшие листки по краям сильно обтрепаны. Чернила выцвели, и некоторые номера, записанные карандашом, местами стерлись. Телефоны шли по алфавиту, и в начале страницы почерк был старательный, а затем становился все небрежней и небрежней, превращаясь к концу в нечитаемые каракули. Имена, фамилии, прозвища. «Иных уж нет, а те далече...» С кем-то рассорился, расстался навсегда, кого-то и не вспомнить — кто такой и как сюда попал. Твое имя стояло первым на букву «Т» и было жирно

обведено красным фломастером. Я и книжку-то эту купил ради того, чтобы записать твой телефон. Ты снисходительно продиктовала мне его на перемене, предупредив, что не стоит названивать с утра до вечера, это глупо и неприлично. И строго сдвинула смоляные брови.

Ты всегда была такой, с первого класса. Не носилась на переменах как угорелая, не болтала на уроках, не передразнивала за спиной учителей, не участвовала в заговорах и бойкотах. И даже когда на школьном дворе прыгала с подружками через резиночку или в классики, придерживая складчатую коричневую юбку с белым фартуком, на твоём румянном лице сохранялось серьёзное выражение, будто ты решала сложную задачку, насупив брови и чуть склонив набок голову в барашках косичек. И когда за тобой приходили — мама или бабушка, — ты безропотно оставляла все игры, послушно брала ранец и шла домой. Папа приходил за тобой редко, может, раз в месяц или реже. Едва завидев его фуражку с лихо заломленной тульей, ты бросалась к нему со всех ног, он на лету подхватывал тебя и звонко целовал в раскрасневшиеся щеки. Потом, одернув свой капитанский мундир болотного цвета, брал тебя за руку. И в этот момент твои сумрачные глаза счастливо лучились.

Расстались мы скверно. Была какая-то обреченность в нашей любви, как, наверно, и во всякой первой любви. Мы были уже студентами, поступили в один институт, я тогда увлекся театром, забросил учебу, стал посещать театральную студию и там познакомился с девушкой. Она была старше меня, играла в любительском спектакле Офелию, с придыханием читала наизусть Гумилева и грезила о большой сцене. Мне казалось, у нас с ней много общего... Позже до меня дошли слухи, что ты наглоталась таблеток и тебя еле откачали. Несколько раз я порывался позвонить тебе, попросить прощения, узнать, не нужна ли помощь, но никак не осмеливался, не решался. И что это могло изменить?..

По-настоящему я заметил, выделил тебя, лет в четырнадцать. Наш класс, как обычно, должен был выступить на концерте в честь Дня Победы. Репетировали в актовом зале стандартную программу: приветственное слово ветеранам, интермедия — нечто патетическое в стихах и прозе, а под занавес — песня. Все дурачились, балагурили, как будто готовили капустник. Классная руководительница, не выдержав, ушла курить в учительскую, срывающимся голосом гневно поручив старосте привести это дикое стадо в человеческий вид. На что исполнительная и безвольная староста болезненно поморщилась, растерянно развела толстыми короткими руками с облезшим розовым лаком на обгрызенных ногтях и чуть не плача уселась в углу читать учебник биологии. И тогда ты подошла к Серому, нашему главному заводиле и драчуну, — он вызывающе попыхивал сигаретой в открытое окно, — круто развернула его к себе и, горя от возмущения, негромко, но твердо и резко, так что тебя слышали в самом дальнем конце зала, произнесла: «Неужели за таких вот бесстыжих сопляков умирали наши деды?!» И потом на концерте, когда ты вместе со всеми пела «Вьется в тесной печурке огонь», твоя едва округлившаяся неокрепшая грудь вздымалась также высоко и порывисто, словно на финише стометровки, когда, распаренная, с капельками пота на лбу и на темном пушке над верхней губой, ты не могла отдышаться, радостно сжимая кулачки и вся сияя от победы над своей извечной соперницей из параллельного «Б».

Помню, мы учились в девятом классе, и на последние выходные сентября был назначен двухдневный поход с ночевкой. Утро было пасмурное, прохладное.

Я очень торопился, боясь опоздать. Рюкзак приятно оттягивал плечи, на шее висела гитара, и ветер по-вдовьи завывал в резонаторном отверстии.

Наша группа сгрудилась у информационного табло. Надо всеми возвышался физрук, мастер спорта по боксу. Ему было за сорок, он недавно устроился к нам в школу и чувствовал себя не совсем уверенно. Вскидывал правую руку, поглядывая на часы, и то и дело пересчитывал всех, сверяясь со списком, который высоко, так, чтобы ему было видно, держала наша классная. Она смотрела на него снизу вверх подкрашенными близорукими глазами, отрываясь на секунду — прикрикнуть на нас: «Не разбредаться! Скоро посадка». Но разбредаться никто не собирался. Все толпились вокруг сваленных в кучу рюкзаков и баулов с палатками, на которых развалясь полулежал Серый, скрестив ноги в драных кедах. Озабоченные пассажиры недовольно обходили нашу крикливо разраставшуюся компанию, приостанавливаясь и настороженно прислушиваясь всякий раз, когда дикторша по вокзалу, заглушая разговоры, неживым голосом объявляла время отправления и прибытия поездов. Я скинул с плеч рюкзак и снял гитару. В начищенных кирзачах, тельняшке и жесткой хрустящей ветровке я чувствовал себя бывалым путешественником.

Ты вошла ровно в девять, легко ступая по каменным плитам в коротких синих резиновых ботиках. Я не сразу тебя узнал, так непривычно было видеть тебя не в школьной форме. Бежевая курточка, повязанный вокруг шеи полосатый платок, джинсы и рюкзак за спиной.

— Я не опоздала? — спросила ты мягким и тоже будто изменившимся, не школьным голосом, словно пришла на свидание.

В электричке я сел напротив тебя. Ты смотрела на холмистые поля, облетающие рощи, на бегущие за поездом, ныряющие волны проводов, жмущиеся друг к другу дощатые дачные домики и покосившиеся срубы деревень. И, не замечая меня, рассеянно улыбалась, будто сквозь сон, убаюканная мерным постукиванием колес и бесконечной однообразной лентой пейзажа.

— А давайте что-нибудь споем?! — бодро предложила наша классная руководительница.

Я не спеша достал гитару, уселся поудобней, потеснив соседа, подстроил струну, взял пару раскатистых аккордов и, театрально раскланявшись, чужим наигранным голосом, чтобы произвести наибольшее впечатление, спросил:

— Итак, чего желает почтенная публика?

Мы затянули какую-то песню. Ты подхватила вместе со всеми, растягивая гласные, раскачиваясь в такт и смахивая завитую, как новогодний серпантин, прядку, падавшую на глаза. На первом же куплете Серый презрительно цыкнул, демонстративно встал и вышел курить в тамбур, по дороге с силой отпихнув кого-то.

Мы сошли на обветшалой платформе на краю березовой рощицы. Станция была без названия. Вернее, название у нее было, но такое, словно его и не было: «Сто первый километр».

К полудню прояснилось. Проглянуло солнце. Подул свежий ветерок. Облака поредели, и в огромных небесных полынях открылась промытая бездонная синь. Стало припекать. Закружили какие-то мошки, мотыльки, загудели комары, но как-то робко, заунывно, обреченно.

Сначала шли, растянувшись нестройной колонной, по жесткой колкой стерне. Солнце празднично золотило, оживляло ее, но стоило ему спрятаться, и

пожухлая трава, торчавшая из земли сиротливым остриженным бобриком, безжизненно тускнела. По всему полю, до самой кромки леса, синевшей на горизонте, были разбросаны циклопические рулоны спрессованной соломы, точно следы присутствия инопланетян.

В лесу было свежо. Пахло грибами и прелым листом. Сквозные пожелтевшие кроны пронизаны дымными лучами, едва достававшими до мшистой земли, устланной ржавыми раздвоенными хвойными иглами, похожими на старые бабушкины шпильки. В тени густо чернели сырые стволы и голые ветви кустов и деревьев. Идти было легко, заглохшая тропинка пружинила под ногами.

Я зорко вглядывался в густоту леса, высматривая зверя или птицу и представляя себя охотником. Сколько раз, лежа в теплой постели, мечтал я побродить по лесу с ружьем и верной охотничьей собакой. Выследить дичь и, затаив дыхание, целясь в серебристую утреннюю дымку, спустить курок и подстрелить какую-нибудь живность, все равно какую, хоть галку. Вздрыгнув, качнется ветка, кубарем скатится с нее темный взъерошенный комок, цепляясь трепещущим крылом за соседние ветви, и плюхнется в траву. И тут главное — успеть подбежать, отогнать собаку и, замирая от жгучего когтистого ужаса и жуткого обморочного восторга, увидеть, как стекленеют черные бусинки глаз, поджимаются и замирают костяные чешуйчатые лапки и, судорожно пульсируя, навсегда уходит из тела жизнь. Полночи я ворочался, не в силах заснуть от предвкушения этой страшной, нестерпимо манящей, несбыточной тайны... Но в тот день вместо ружья у меня наперевес висела гитара, нещадно натирая веревкой шею.

Мы вышли на залитую солнцем опушку, и по цепи с облегчением прокатилось: «Привал!» Физрук, что-то отметив на карте, излишне громко крикнул: «Мальчики налево, девочки направо!» И снова уткнулся в карту.

Привал был недолгим. Мы расселись кто где. На пеньках, на кочках или просто на земле, подстелив куртки. Вытащили из рюкзаков термосы, свертки. Зашуршала фольга, промасленная пергаментная бумага, и в пластмассовых и железных стаканчиках задымился пахучий чай. Ты жадно откусывала бутерброд, быстро пережевывала его, так что у тебя смешно надувались щеки, запивала чаем, и на твоём лице появлялось сытое, незнакомое выражение.

До команды физрука «Подъем!» девочки успели набрать кленовых листьев и сплести из них пышные венки. И в этих огненных коронах стали похожи на лесных нимф.

Сразу за опушкой тек широкий ручей.

— Будем переходить вброд! — скомандовал физрук, и с досадой проворчал: — На карте обозначен мост, но его что-то нигде не видно...

Он играючи поднял нашу классную на руки и понес на другой берег. Она обхватила его за шею и замерла, приоткрыв бескровные губы. В толстых стеклах ее очков отражалось его неподвижное лицо с гладко выбритыми скуластыми синеватыми щеками, перебитым приплюснутым носом и глубоким шрамом над левой бровью. Она была маленькая, худая, коротко стриженная под Цветаеву, в синем полинялом тренировочном костюме, в новеньких кроссовках, и совсем не красивая.

Ребята, у кого были высокие сапоги, переносили тех, кто был без сапог или у кого они были короткие. Сажали на закорки или разбивались по двое,

сцепляли руки так, что получалось сиденье, и переносили через ручей. Я потянул Толика за рукав и подошел к тебе:

— Хочешь, поможем? — запинаясь, сказал я. — А то зачерпнешь воды...

Ты послушно утвердительно кивнула. Мы подняли тебя и понесли. Пьянея, ощущал я упругую тяжесть твоих бедер, и с колотящимся сердцем вдыхал лавандовый обморочный запах твоих распущенных волос, щековавших мне кончик носа. На середине ручья я неловко наступил на скользкий камень и пошатнулся. Твой венок свалился в воду и, кружась, поплыл по течению. Ты ойкнула и рассмеялась:

— Совсем как погребальный...

У небольшой запруды венок зацепился за гладкую гнилую корягу. Там был пережат, и вода пенилась и жалобно журчала. Венок слегка потрепало, он распался, и листья стремительно унесло течением.

Серый угрюмо сидел у ручья, бросая в коричневую взбаламученную воду камешки.

— И тебя что ли перенести, как девочку? — подтрунивали мы над ним.

В ответ он криво ухмылялся. Потом вдруг решительно, не развязывая, стянул с себя кеды, закатал треники выше колена, оголив загорелые крепкие икры, и с криком «на бордаж!» кинулся вброд, пуская фонтаны брызг. На том берегу восторженно завизжали и захлопали.

Расплавленное янтарное солнце коснулось верхушек деревьев, клочья облаков, разбросанные по гаснущему небу, окрасились лилово-фиолетовым, и в лесу быстро стемнело. Физрук несколько раз беспокойно оборачивался на растянувшуюся цепочку походников, вытаскивал из кармана компас, всматривался в карту, и наконец, кивнув сам себе, устало выпалил:

— Стоп машина! Здесь разбиваем лагерь.

И, обратившись к нашей классной, виновато добавил:

— Конечно, намеченного расстояния мы не прошли. Но это ведь ничего? Наверстаем завтра. Правда?

Застучали топоры, мягко зашуршал лапник, мы устилали им землю и поверх ставили брезентовые палатки, натягивая веревки и глубоко вбивая колышки. Физрук разжег костер, откуда-то появился треножник и большой закопченный котелок, из рюкзаков вынули тушенку, гречку, хлеб, и скоро был готов пахучий, наваристый ужин.

Заметно похолодало. Лес вокруг сделался непроглядным, угрожающим. Все достали теплые вещи и расселись вокруг костра. Ты надела белый пушистый свитер и перехватила резинкой волосы на затылке, открыв тонкую длинную шею. Затянули походные песни, и от их простых, глуповатых слов на душе становилось тепло и спокойно.

Серый знаком показал мне — «бренчать без остановки», чтобы отвлечь физрука и классную, пока наши по двое, по трое незаметно вставали и пробирались к палатке, в которой хранились тайные запасы спиртного — три бутылки портвейна. Мне обещали оставить.

В костре потрескивали сучья, будто кто-то продирался сквозь валежник в грозно чернеющей за нашими спинами чаще, где, как безумные, плясали гигантские бесформенные тени, отбрасываемые высоким пламенем. Огненные языки остервенело лизали темноту, взметая в угольное небо снопы красных искр.

Меня пришел сменить Толик. Многозначительно подмигнув мне сильно косым глазом, он пробурчал сквозь непослушную губу:

— А ну-ка дай и я сбацаю кой-че.

Физрук и наша классная ничего не заметили. Завороженные огнем, они сидели, тесно прижавшись друг к другу.

После яркого пламени глаза не сразу привыкли к темноте. Я пробирался почти на ощупь. В нескольких метрах от палатки, среди стволов, мелькнул твой белый свитер... Чьи-то руки бесстыдно мяли и гладили его. Сердце рухнуло куда-то в бездонную пропасть, в горле пересохло, кровь застучала в висках, и, почти теряя сознание, я увидел твою покорно откинутую в поцелуе голову с растрепанными волосами и нависший над ней бугристый, бритый под ежик, крепкий череп Серого...

Я никогда не говорил тебе, что видел вас тогда ночью в лесу, и никогда не спрашивал, что у вас было с Серым и почему это закончилось. Никогда. Ни в тот день, когда ты дала мне номер своего телефона и я первый раз позвонил тебе, ни во все другие наши бесконечные телефонные разговоры, когда все пересказано, а прощаться не хочется, и слушаешь в трубке вздохи и напряженное дыхание. Ни потом, когда однажды после уроков я дежурил и остался убирать класс, и ты заглянула в приотворенную дверь, воровато заперла ее на швабру, вплотную подошла ко мне, посмотрела помутневшим взглядом и вдруг обжигающе поцеловала, долго не отрывая мягких влажных губ, словно не могла утолить жажды. Ни в нашу первую и последнюю зиму, когда я провожал тебя вечерами домой и мы стояли у подъезда, и снежинки таяли у тебя на лице, и я словно в бреду целовал твои мокрые, пахнущие морозом щеки, счастливые преданные глаза, отзывчивые ищущие губы. Ни в те редкие, словно украденные у судьбы минуты нашей торопливой, неловкой, неумелой и оттого, может, самой прекрасной близости. Никогда, никогда не говорил я тебе о той ночи... И уже никогда не скажу.

Алексей Малащенко

Заметки по национальному и иным вопросам

Почему я определил этот материал как «заметки»¹? Поверьте, автор в силах написать нормальную статью с введением, заключением и, как это теперь модно делать в зарубежной научной литературе, с рекомендациями — что и кому надлежит делать в сложившемся положении. Таких статей написано много, большинство похожи друг на друга, и читать каждую до конца не всегда интересно.

Жанр же заметок позволяет, перескакивая с одного сюжета на другой, порой игнорируя логику, высказываться безответственнее. Мне нравится читать именно заметки, в которых больше парадоксов и дерзостей.

Предложенная журналом для разговора тема звучала так: «Формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности и воспитание чувства взаимодействия между народами России». Правильная тема. Но есть два изъяна: во-первых, она обсасывается четверть века — писать и говорить принялись еще в канун развала Советского Союза. Далее — тема стала слишком пафосной. Впрочем, не только в России. Лет 10 тому назад я оказался на евромусульманском диалоге в Гааге. Был зал в огромном храме, в нем долгие ряды столов... можно было курить. Веяло добром и миролюбием. В первый день все любили и даже каялись друг перед другом. На следующий — переругались. Да-да, светочи терпимости перешли на взаимные оскорбления типа «ты экстремист», «сам ты экстремист». Встречи такого рода ритуальны и в большинстве своем бессмысленны.

Во-вторых, советами и директивами (в нашей стране все официальные советы директивны) по улучшению состояния отношений между народами и религиями положения не поправить. Говорим, говорим, а воз и ныне там. Даже не там, а в еще более глубоком, со скользкими краями овраге. Выбираться надо, дело делать надо. А как?

Как говорил устами Сатина (пьеса «На дне») Максим Горький, «человек — это звучит гордо». «Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном». Так что мы человеки, а не толпа на площади и

Алексей Всеволодович Малащенко — востоковед, исламовед, политолог, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Сопредседатель программы «Межнациональные отношения в России и СНГ», член научного совета Московского Центра Карнеги.

даже не «электорат». Каждый из нас отвечает за себя. Следовательно, ведет свой собственный диалог с другим человеком. Или не ведет.

Но прежде чем говорить об отношении к другому, подумай, как ты относишься к себе. Ты себя уважаешь? Кем ты себя полагаешь? Не разобравшись в себе самом, не выступишь нормальных отношений с другим.

Чем гордиться русскому человеку? Тем, что он русский? Сталинградом, Куликовской битвой, Гагариным? Но тогда надо проклинать себя за поражения, за варварство, за Сталина. Сын за отца не отвечает. Или все-таки русский сын отвечает за русского отца? Отвечать надо только за себя — так порядочнее и разумнее.

Можно гордиться газом и нефтью. Например, в арабском мире придерживаются мысли, что нефть в неимоверных количествах ниспослана арабам Всевышним за то, что они первыми приняли ислам. В России тоже много углеводородов, так может и это есть «божий дар» за наше православие?

Еще можно гордиться тем, что Россия спасла Европу от кочевников — пожертвовала собой. Но вот что интересно: Европу спасли, заложили ее грядущее процветание, обеспечили ей славную жизнь. Теперь же европейцев, нами же спасенных, проклинаем.

За границей нас любят каждого по отдельности, но всех чохом... не получается. В связи с украинским кризисом эта любовь иссякает быстрее. Это напоминает Чехословакию после 1968 г.: до оккупации русских в этой стране искренне любили, после — стали искренне не любить. Чехам не понравилось, что их приехали учить, как надо жить, на танках.

В 2014 г. в четырехзвездочный отель «Бриони» в чешском городе Острава русских туристов не пустили. За это хозяина судили местным чешским судом. (Но ведь и в Москве в объявлениях пишут — сдам квартиру *только* русской семье.) Неужто лицам русской национальности в Европе теперь придется пояснять, что, дескать, мы — «хорошие русские», ни в кого не стреляем, чужого, в том числе землю, не отбираем?

Есть мнение, что в последние годы нас полюбили за то, что мы вдруг стали богаты и денег не считаем. С другой стороны, аборигены в Европах, как в Китае, и даже на признавшем независимость Абхазии и Южной Осетии острове Тувалу, над русскими пальцами враслопырку посмеивались. Ведь любят не русских, а наши деньги. Деньги любили всегда и везде. Тем более, что наши приезжают за кордон не с рублями и евразийскими таньгами, а с евро и долларами. Как там у Маяковского — «я достаю из широких штанин...» (далее текст мой. — А.М.) «пачку зеленых тугриков, чтоб разом увидели все вокруг, я — из Российской республики». В конце 2014 г. рубль упал так, что гордиться содержанием широких штанин не приходится.

Первый, кто обязан критиковать русских, — сами русские. «Скучно все вокруг, солнца нет, люди все невеселые, улыбаются редко, смеются еще того реже, ходят лениво, нехотя. В полях везде растут розги. Везде много пьяных». Это — Максим Горький. Подмечено в 1914-м году. Почему я привел именно это высказывание? Да потому, что сто лет спустя, спускаясь в московское метро, вижу те же самые не улыбочивые лица. И еще тяжелые взгляды.

Слава богу, у нас еще с советских времен сохранилась самоирония. Помните песенку «Зато мы делаем ракеты...»? Без скепсиса относительно самих себя мы

останемся «великим», но пошлым антиподом Запада, мессией верхом на «жигулях».

Вот Антон Павлович Чехов всю жизнь смеялся над нашей «физиологической» любовью к власти, сочетавшейся с животным страхом перед нею. Сходу назову десяток рассказов, хотя бы из школьной программы — «Смерть чиновника» и «Хамелеон» и далее — «Торжество победителя», «На гвозде» (где муж терпит ухажеров жены, потому что все они его начальники), «Водевиль». Представляете, что бы писал Антон Павлович о советской, да и о нынешней нашей любви к власти? Он же отмечал две самые распространенные в нашем отечестве болезни: злая жена и алкоголизм. Русофоб, понимаешь.

У Юлиана Семенова в старинной книжке «ТАСС уполномочен заявить...» есть замечательный диалог. Советский разведчик Виталий Славин спрашивает у прогрессивного американского журналиста Пола Дика:

— Слушайте, а почему вы меня зовете Иваном?

— Для меня все русские Иваны. Это же замечательно, когда нацию определяют именем. Нас, например, Джонами не называют, а жаль.

— Почему?

— А потому что мы идем враскосяк, каждый за себя, в нас нет общей устремленности. Вы же монолит, как вам скажут, так и поступаете.

Советский разведчик начинает, ссылаясь на Толстого и Достоевского, оправдываться, дескать, русские такие разные, но делает это как-то лапидарно и не убедительно.

Интересно другое: устами этого журналиста читателю внушается, что его (уже народа, а не читателя) сила именно в том, что он — ведомый начальством монолит, и в этом его преимущество перед американцами. Без этого монолита мы — ничто. Кто бы в 1980 г., когда был издан юлиан-семеновский роман, мог подумать, что *советский* монолит рухнет в одночасье? Но вот что интересно: спустя четверть века после его обрушения обществу стараются внушить, что он возродился, но уже на *русской* основе.

На Русском Соборе, в 2014 г. состоявшемся сразу после праздника народного единения 4 ноября, патриарх Кирилл заговорил о величии русского народа, о его особой роли по сравнению со всеми прочими. Он покусился на понятие «россияне», противопоставив его слову «русские». Потом на том же Русском Соборе все выступавшие после патриарха светские политики, в том числе спикер госдумы Сергей Нарышкин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, микшируя патриарший пафос, настаивали на том, что Россия все-таки многонациональная, поликонфессиональная страна. Контраст очевиден. Была ли речь патриарха спонтанной или все-таки осознанной, знаковой?

Владимиру Михайловичу Гундяеву не откажешь в последовательности. Еще будучи митрополитом, занимая пост главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), он утверждал, что Россия — «православная страна с национальными религиозными меньшинствами». Предположим, Кирилл прав. Но тогда, попадая на Северный Кавказ, в Чечню или Дагестан, надо признать, что оказываешься вообще в другой, мусульманской стране со своим собственным национальным и религиозным меньшинством, то есть русскими. Когда-то я определил Северный Кавказ как «внутреннее зарубежье», за что неоднократно подвергался критике. Однако получается, что и я, и патриарх — мы оба правы,

только, так сказать, с «разных концов», он — с русско-православного, я — с кавказско-мусульманского.

Проблему своей идентичности автор упростил: я — москвич, причем не только коренной, но даже потомственный. Знаю людей, которые считают себя прежде всего питерцами, казанцами, иркутянами, парижанами, каирцами, и эта городская идентичность им роднее, чем этническая или конфессиональная. А вам не приходило в голову, что идентичность можно и выбрать, или отказаться от неприемлемых для себя черт своей, так сказать, исконной, «родовой» идентичности?

Отступление: в условиях изоляции России и ухудшения ее экономического положения на церковь возлагается трудная миссия — подготовить людей к наступлению еще более тяжелых времен. На праздничных мероприятиях в честь дня единения народа обращение патриарха для меня ассоциировалось со сталинским текстом сорок первого года, начинавшимся с испуганного «Братья и сестры...». «Человек особенно напряженно начинает думать о своем благополучии, когда возникают экономические трудности. <...> Нет денег, работы. <...> Курс (доллара. — А.М.) растет...» Это — из «Слова Святейшего в праздник Казанской иконы Божией Матери». «Нужно сделать нравственный выбор: повернуться от себя к ближним <...> служить другим сейчас, жертвуя чем-то»/ Это уже из патриаршего послания ко Дню народного единства.

Накануне 4 ноября 2014 г. в Пятигорске члены Общественного совета Северо-Кавказского федерального округа обсуждали вопрос о формировании у местного населения «общегражданской идентичности в обстановке противостояния враждебным влияниям западного глобализма и восточного фундаментализма». Почему, чтобы сформировать идентичность, надо обязательно чему-то и кому-то противостоять? Тем более, что отвергать глобализм невозможно, ибо в противном случае можно закинуть в беседке своей идентичности.

С «восточным фундаментализмом» тоже не все так просто. По сути дела речь идет об исламском фундаментализме, который многолик, амбивалентен и вместе с членами Общественного совета СКФО также противостоит «западному глобализму». И еще как противостоит!

На том же мероприятии полпред президента в СКФО Сергей Мерзликов предложил провести ревизию музейных экспозиций и поддержал унификацию учебников истории. Ныне в соответствии с последними идеологическими установками чиновники и близкие к ним профессора эту идею заобожали. Но ведь ясно, что впоследствии этот единый учебник будут менять и переписывать. Было в прежних советских, тоже единых, учебниках «татарское иго»? Было. Потом оно стало татаро-монгольским, потом ордынским, похоже, в очередном едином учебнике никакого «ига» вообще не останется. Вместо него пропишут «средневековые цивилизационные основы евразийской интеграции». Дарю эту формулировку составителям новейшего учебника истории.

Государство всеми этими проблемами крайне обеспокоено, выделило 7,2 млрд. руб. на принятую в 2013 г. федеральную целевую программу «Укрепление единства российской нации и этнополитического развития народов РФ до 2020 г.» и будет еще выделять деньги. В октябре 2014 г. в Ярославле на заседании Совета по национальной политике предлагалось создать патриотический молодежный телеканал, поддержать интернет-портал «Этнорадио», обя-

вить для СМИ конкурсы на лучшее освещение вопросов по укреплению межнациональных отношений. Но, пока суд да дело, по признанию директора Центра политических исследований Майи Аствацатуровой, в конфликтных ситуациях «этническая и конфессиональная принадлежность, как правило, берет верх».

Действительно, сплочение быстрее происходит при наличии внешнего врага. Так оно понятнее. Звучит как-то неловко: нынешняя антизападная в определенном смысле ксенофобия позитивна, потому что консолидирует еще не сформировавшиеся и российскую нацию, и русский этнос. Ни реформы, ни то, что у нас принято именовать демократией, народ не сплотили, а только рассорили. Неужели мы обречены воссоединяться только на основе неприязни, вражды к чему-то, в «боевой обстановке»? Не приведет ли это в конце концов к одиночеству нас, «сплоченных»? Не опасна ли *такая* консолидация?

Любая авторитарная власть заинтересована в ксенофобии. А российская с ее претензиями на сверхдержавность и вечной боязнью потерять свои позиции, — тем более. Величия в истории ищут только идеологи с комплексом неполноценности, с неуверенностью в нем (величии).

На ум приходит вдруг совсем уж кощунственный вопрос: а что, Великая Отечественная война привела к абсолютному сплочению советского народа, как нам многократно показывали в художественных фильмах? Ответ-то непростой. Полтора миллиона советских граждан сражались на стороне немцев; сколько миллионов сочувствовало оккупантам, сколько надеялось, что немцы сломают советскую власть? Никто и никогда не считал.

Из письма немецкого солдата: «Здесь царит страшная нужда. Два столетия здесь терзали и угнетали людей. Нет уж, лучше умереть, чем принять муку и нищету, выпавшую на долю этого народа»². Были немцы, которые нас жалели. Гуляют рассказы о шоколадке, которую Ганс и Курт протянули маленькой русской девочке.

Еще война привела к этническим катастрофам. Чеченцы, балкарцы, ингуши, крымские татары свою депортацию в «мертвых вагонах» не забудут никогда. Даром такое не проходит. После аннексии Крыма на местных татарских кладбищах появилось несколько свежих могил. В них похоронили тех, кто помнил высылку 1944 г. и боялся, что она может повториться. Историческая память намного сильнее, чем может показаться, особенно если ее реанимации способствует политика. «Пепел Клааса стучит в мое сердце».

Философ Александр Неклесса, перечисляя имеющиеся в наличии у России «цивилизационные ресурсы», называет: 1) христианство как таковое, которое связывает нас с Европой, 2) православное христианство, которое «дает возможности для взаимодействия, особенно в таких острых горячих точках как Грузия, Украина и — в перспективе, учитывая некоторые наметившиеся трещинки — в ситуации с Белоруссией», 3) «евразийский капитал»⁵. Теоретически Неклесса, возможно, прав. Но на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Сегодня эти самые «цивилизационные ресурсы», точнее, то, как они используются государством, отдаляют Россию от остального христианского мира. Тверды различия между западным и восточным христианством. Одно из них, возможно, не самое важное, но в чем-то символическое, упоминает в своей работе «Восток-Запад в споре вер» архиепископ Русской православной церкви в Западной

Европе при Вселенском Патриархате священник Владимир Зелинский. Западные христиане, пишет он, «удивляются нашей постоянной озабоченности потусторонним, тому наваждению страха перед загробной судьбой, присущему если не всякой "восточной" душе, то всей нашей духовной, молитвенной, литургической традиции. Зачем сорок раз взывать "Господи, помилуй!", если Бог и так нас любит?»⁴.

Что касается «евразийского капитала», то его еще придется «капитализировать». В 2014 г. выяснилось, что сделать это очень непросто. Украинский кризис выявил зыбкость этого капитала. Тем более искусственным представляется евразийство как некая общая культура, принадлежность к которой дружно признают «евразийские народы». Вы слышали от нормального «среднего русского» (Александр Дугин не в счет), казаха, белоруса, узбека, армянина, что он, дескать... евразиец, тем более «неоевразиец»?

Ну а как заговорим о миграции, на нас, русских, да и нерусских, а вообще на *коренных* жителей, обрушиваются цифры. Я цифры не люблю. Я им не полностью доверяю. Хотя бы вот почему: в свое время накануне прихода к власти в Иране аятоллы Хомейни какие-то умники провели опрос среди местного населения. И выяснили, что а) никакой исламской революции в этой «мусульманской Франции» быть не может и б) никакому Хомейни там ничего не светит. А он, наплевав на социологические проценты, взял да и стал тем, кем он стал. Про учиненную им революцию можно спеть советскую песню с припевом — «есть у революции начало, нет у революции конца».

Но полностью игнорировать социологические опросы не надо, особенно если они проводятся систематически. Так вот, по данным Фонда общественного мнения, положительно относятся к мигрантам из Закавказья 19% россиян, Средней Азии — 16, Северного Кавказа — 14. Опросы ВЦИОМ выявили, что 53% требуют ужесточения закона миграции, и только 6% предлагают облегчить въезд. По данным «Левада-Центра», 73% — за выдворение мигрантов, причем с 2006 г. число таких ответов выросло на 20%. Согласно данным Исследовательского центра портала Superjob.ru, 52% уверены, что иммигранты повышают уровень преступности. (Впрочем, среди 587 тыс. заключенных России мигранты составляют лишь 4,5%.)

По мнению аналитиков из Института национальной стратегии, подготовивших материал «Социальные риски миграции», мигранты подкладывают под российские города «демографическую бомбу». Наиболее активную часть мигрантов составляют молодые мужчины; среди мигрантов-киргизов их 30,1%, среди таджиков (и вьетнамцев) — 31%, среди узбеков (и афганцев) — 32%. Кровь бурлит, поведение становится чересчур активным. Спрос рождает предложение. В результате, если в 2000 г., по данным МВД, число проституток в России колебалось от 267 до 400 тыс. штук, то сейчас их 1 млн. Еще одним печальным следствием омоложения миграции стал рост количества изнасилований.

У пожухшего юмориста Михаила Задорнова в одном концертном номере был такой текст: «...но тут пассажир из Узбекистана (дело происходит в самолете) снял ботинки...» После этого сообщения все понимающе смеялись. Прошли годы. И вот на Первом канале в программе «Жить здорово» ее ведущая Елена Малышева объясняет телезрителю, с представителями каких народов и рас не следует пить водку, в частности, по ее мнению, не следует садиться за

алкогольный стол с «узкоглазыми» и «луноликими». Тема, с кем пить, всегда была приватна. Тем более выносить ее на обсуждение с расовым уклоном во всю ширь федерального телевизора как-то неприлично.

Помните песенку из «Иронии судьбы...» — к нам «ходят в праздной суете разнообразные не те»? Ну, прямо про иммигрантов. И все же без паники! Мы не одни такие. Есть Европа, где ситуация — кто говорит, лучше, кто — хуже. Далее, попробуйте отнестись к миграции... ну, как к неизбежным изменениям климата. Слышу в ответ: нашел, с чем сравнивать, климат-то от Солнца, от космоса, от Бога наконец. Но, заметьте, и человеческая история тоже есть в немалой степени следствие климата, рельефа местности, природы. Кочевники шли туда, где больше травы, мигранты едут туда, где больше денег.

Взглянем на миграцию чуть шире, отрешившись от бытовых стереотипов (понимаю, как это трудно). Тогда легче догадаться, что миграция — не только перемещение людей в поездах, на самолетах и лодках, но это еще и движение народов, причем не обязательно самых, как теперь модно говорить, креативных. Вспомните гуннов и их вождя Атиллу. Радуйтесь, что киргизы с узбеками — не гунны, разломавшие Римскую империю, и не монгол Тимур, которого в современном Узбекистане почитают родоначальником тамошнего государства.

История покатила вспять: то мы осваивали их, теперь они — нас. А может, она пошла по кругу: в средние века шли с Востока на Запад, потом Запад шел и осваивал Восток, теперь освоенный или полуосвоенный им Восток потянулся на Запад? Есть в этом движении смирение, признание восточной неполноценности, но есть и вызов: мы будем жить у вас, но по нашим правилам, а коли получится, то и вас заставим жить по нашим. Некоторые мусульманские богословы, например, знаменитый теолог Юсуф Карадави, говорят о европейском шариате для меньшинств, полагая при этом, что шариат для меньшинства когда-нибудь обернется и шариатом для большинства. В России в 2014 г. адвокат Дагир Хасавов заявил, что в России попытки помешать выполнению решений шариатского суда приведут к насилию и «Москву зальет море крови». «Мусульмане, — развивал он впоследствии свою мысль, — не хотят ввязываться в многоступенчатую судебную систему, она им чужда». За это высказывание его, конечно, осудили российские имамы и муфтии, но в чьей-то памяти хасавовский эпатаж сохранится надолго.

Задуматься о том, что миграционный процесс необратим, диалогизировать с входящими в нашу жизнь новыми этнокультурными социумами все равно придется. Не нам, так внукам, правнукам уж точно придется. Да и правнуки эти будут более «полиэтническими».

Самая многочисленная и проблемная миграция — мусульманская. Раньше к нам устремлялись несчастные, просто узбеки и таджики, исподволь пившие водку. Теперь в Россию на работу приезжают не узбеки-таджики-киргизы, но мусульмане, и как мусульмане они ощущают себя уже по-иному. Чем отличается средний мигрант 2014 г. от мигранта десятилетней давности? Тем, что он молится по несколько раз в день, что ему нужна мечеть. Социологических опросов сам не проводил. Но наблюдаю, как творят мусульмане на моем участке молитву, и я отхожу в сторону... чтоб не отвлекать. В Москве 4 мечети на — по разным данным — от одного до полутора миллионов мусульман. По мнению чиновников, если город будет строить мечети, то получится, что — для «чужих», еще

больше поощряя их приезжать. Но они и так будут приезжать. При мизерном количестве мечетей на праздник Курбан-байрам вокруг Московской соборной мечети, что в Выползовом переулке, собирается до 100 тыс. верующих. Это создает напряженность, вызывает раздражение у окрестных жителей, которые не могут пройти к своим домам. Возникают нелицеприятные межэтнические и межконфессиональные диалоги.

Сами москвичи в своем большинстве против строительства новых мечетей. Конфликты в этой связи уже случались. Например, на митинг против строительства мечети в районе Митино вышла одна тысяча человек. Митинг был почти спонтанным. Много это или мало? Не знаю. Зато коммунистам, чтобы собрать 200 чел. пришлось проводить длительную идейно-организационную работу.

В России складываются самостоятельные, живущие по своим законам «параллельные» этнорелигиозные ареалы. В 2011—2013 гг. поговаривали о возможности появления «мусульманских гетто». Между прочим, на опасность такого развития событий указывал Совет муфтиев России. Россия и Европа, при всех исторических различиях, сталкиваются с одной и той же проблемой — как вписать мигрантов в свою страну и общество. Механизм пока не найден. Не сработала ни адаптация, ни ассимиляция, ни даже мультикультурализм, на который еще недавно так сильно уповали.

Ситуация архитревожная. Правда, по данным Центра изучения национальных конфликтов и федерального агентства «Клуб регионов», с апреля по сентябрь 2014 г. проявления межнациональной вражды сократились на 35% (притом, что интернет-экстремизм вырос на 24%⁵). Однако такое понижение не слишком утешает, поскольку произошло оно в результате переориентации ксенофобских настроений с внутренних «врагов» на внешних — Запад и Украину. В российском лексиконе утвердилось подленькое «укры», или «укропы». Раньше, чтобы обидеть, говорили «хохлы». «Хохлы» не обижались, и киевские друзья моего папы именовали матч 1964 г. между киевским «Динамо» и «Селтиком» из Глазго (киевляне были первой командой, участвовавшей в Кубке европейских чемпионов) «Хохляндия-Шотландия». И все смеялись.

Проведенный в декабре 2014 г. опрос Фонда общественного мнения засвидетельствовал: плохо к Украине относятся 59% россиян, и рост враждебности только за минувший год составил 33%. Да что проценты! Покупаю водку в рыночной палатке. Вижу, стоит украинская «перцовка». Прошу две бутылки. Тетка дает одну и говорит, что это — последняя, и продолжает: «Больше ее не будет, мы у них не покупаем, вы ж знаете, что они нам отравленную водку продают».

Я обозвал ее дурой и ушел с одной бутылкой. А тетка-то не виновата. Даже при голосовании среди либеральных слушателей «Эха Москвы» (22 дек. 2014 г.) обнаружилось, что более 20% считают, будто Украина готовит теракты в России.

Однако переориентируя свою ненависть на американцев и «укров», неприязнь к «азиатам» мы все же сохраняем. Лидер объединения «Русские» Дмитрий Демушкин на Русском марше, в ноябре 2014 г. напомнил, что от борьбы с миграцией националисты отказываться не собираются.

Признаем и признаемся, что в России происходит интенсивное проникновение национализма в гражданское общество или как у нас там эта штука называется. Гражданское общество считалось панацеей от всех бед. Но это не

совсем так. Государство заражает это наше хлипкое гражданское общество национализмом, а противопоставить этому нечего. Нет у нас нужного иммунитета.

Делать-то что? Будет ли найден оптимальный, «один на всех» выход, чтобы раз и навсегда установилась дружба народов? Сомневаюсь, что ООН или «Всемирный совет мудрецов» изобретет идеальную модель человеческого общежития. Последней такой попыткой была Вавилонская башня. Но испуганный консолидацией созданных им же по своему образу и подобию творений Всевышний конструкцию обрушил, а людей разделил так, что они до сих пор не могут договориться между собой.

Между делом мы ищем выход сами, на подсознательном уровне. Два года тому назад в нашем дачном кооперативе, что под городом Наро-Фоминск, появился мужчина из Узбекистана по имени Али. Мигрант как мигрант, только обращался он к моей жене не иначе как «сестра Наташа». Мы посмеялись, стали называть его брат Али. Брат Али честно и хорошо выполнял разного рода ремонтные работы, начал трудиться на благо всего кооператива. Он стал своим. Если хотите, «своим мигрантом», но все же упор ябы сделал на прилагательном — «свой». Мы и ругаемся с ним по-свойски, но мы притерлись психологически. Наш сосед по московскому дому под Новый год притащил дворникам-киргизам шампанское. Не подумайте только, что наша семья представляет символ «дружбы народов», а «брат Али» — идеальный образчик мигранта. Скорее всего, у обеих сторон, так сказать, оказался пониженным порог ксенофобии. Впрочем, как и у многих других людей.

Кстати, по дороге между нашим кооперативом и Наро-Фоминском года три тому назад построили очень добротную и солидную по меркам Московской области мечеть, в этом году на нее водрузили небольшой купол с полумесяцем. И никому не стало от этого хуже.

Что такое толерантность? Это когда ты терпишь другого, даже того, кто тебе малосимпатичен. Василий Розанов в «Опавших листьях» говорит: «Есть дар слушания голосов и дар видения лиц. Ими мы проникаем в душу человека»⁸. Проникать в душу не обязательно, но слушать и пытаться понять... Чем сильна Америка? Там все изначально были приезжими. И привыкли к тому, что нужно терпеть соседа. С индейцами и неграми промашка вышла, их за людей не считали. Обстановка немного разрядилась благодаря романам Гарриет Бичер-Стоу и Фенимора Купера. Но ведь и индейцам все эти ирландцы, немцы, англичане и прочие «шведы» виделись наглыми и жестокими «гастарбайтерами».

Ты меня терпишь, я — тебя. Приучаться к терпению нужно, начиная с себя, с семьи. Если не воспитывать человека с раннего детства, то еще до школы ребенок быстро усвоит, кто свой, кто чужой, кто плохой. Но помимо семейного воспитания существуют и школа, и улица, и пропаганда — раньше советская, а теперь постсоветская, которая упорно навязывала и навязывает ксенофобию коренным жителям — славянам и не только. Известно, что для наших татар иной незваный гость из Центральной Азии или Северного Кавказа «хуже татарина».

С другой стороны, и «гости» слишком часто ведут себя неадекватно. И потому, когда я говорю о необходимости воспитывать уважение к иному, то имею в виду все семьи, к какому бы народу они ни принадлежали. Молодых

выходцев с гор их отцы, матери, набравшиеся житейского опыта старшие братья должны предупреждать, что Москва и Санкт-Петербург — не большой аул, а нечто другое. В противном случае гласный и негласный запрет на вход кавказцев в бары и ночные клубы, что практикуется в Москве, Орле, Санкт-Петербурге, Саратове, Твери, Якутске будет иметь свои оправдания.

По данным ВЦИОМ, в 2014 г. 33% россиян признавали, что за последние годы люди друг к другу стали более нетерпимы⁹, и кривая нетерпимости растет².

Терпимость, однако, имеет свои границы. Где они проходят, сказать трудно. Терпимость — обоюдоострый инструмент, поскольку порой терпимость одной стороны воспринимается другой стороной как слабость. В сознании российских граждан сохраняется убежденность, что «Кавказ признает только силу».

В СССР с диалогом культур дело обстояло сравнительно просто. Мы вступали в него по официальным праздникам и декадам советских народов. Приезжали на юбилейные даты местные творческие коллективы — плясали, пели на родном языке (в основном, конечно, плясали). Злобный Михаил Веллер об этом писал так: «Во Дворце съездов шло супердейство "Великому Октябрю — пятнадцать декад национального искусства пятнадцати братских республик!". И республики прогибались и пыжились счастьем будьте спокойны (пунктуация и синтаксис оригинала. — А.М.). Плясуны выкаблучивали, хористки вскрикивали, музыканты лязгали, граждане выключали телевизоры и шли чистить зубы перед сном»⁶. В советском просторечье народная среднеазиатская музыка именовалась «один палка, два струна». Впрочем, и русская гармошка не встречала понимания у декхан Ферганской долины. «Этнические танцы» — дело скучное, нудное, если, конечно, самому в них не участвовать.

Однако был и иной диалог. В Махачкале стоит памятник русской учительнице — молодая женщина в сапогах, с раскрытой книгой в одной руке, другой опирается на глобус. Я говорил со многими моими дагестанскими друзьями, они помнят, как звали их учительниц.

Коллега-этнолог поведала мне историю о «русской среднеазиатке», которая, вернувшись на свою историческую родину, зашла в церковь и попросила священника помолиться за ее родных. «Батюшка был выпивши, стал ругаться. А у нас (в Таджикистане. — А.М.) как хорошо было — зайдешь к мулле, дашь ему рубль, он и помолится». Отдельным людям разных религий куда проще договориться между собой, чем самим религиям.

Диалог происходил и при очень печальных обстоятельствах. Писатель Георгий Пряхин рассказал, как в село Николо-Александровское (на границе Калмыкии и Дагестана) большевики пригоняли тысячи азиатов, по большей части узбеков — «баев», «басмачей» и их «пособников»⁷, а на самом деле самую обыкновенную бедноту, как потом та же власть гнала сюда уже русских «кулаков» и «подкулачников». Как гнобили и тех и других — «смерть усердно прореживала и узбеков, и русских». И как поддерживали, спасали люди друг друга. В общем, создали большевики все условия для диалога цивилизаций. Потом «прощенные» советской властью узбеки вернулись домой. От них осталось кладбище, в котором лежат кости семи тысяч человек. Кладбище превратилось в пустырь. Нельзя ли узбекским властям, состоятельной диаспоре

обратить внимание на эту, по выражению Пряхина, «акупунктурную» точку на безбрежном российском пространстве?

Думаю, что позаботиться об остатках кладбища обойдется не дороже, чем монумент Тимуру.

«Официальный» диалог религий и цивилизаций больше выглядит фикцией.

Каким может быть диалог между религиями, если каждая заведомо уверена, что она мудрее и «истиннее», чем та, что напротив. Ислам — последняя религия, протестантизм — самая успешная, православие — самая духовная, буддизм — тот вообще вообрал в себя все религии... Мы — за мир, вы — за мир, они тоже за мир. Но мы за мир больше, чем вы. Может, правильнее говорить о *монологе цивилизаций*, каждой цивилизации? «Монолог цивилизации» звучит естественнее.

Религии — конкурирующие системы в борьбе за человека, за общество и за государство. Они схожи своим стремлением присутствовать на мирском — социальном и политическом — пространстве, они борются за место под солнцем.

В Евангелии от Матфея приводятся слова Христа: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч» (Мф., 10:34). Сказано честно. Можно давать разные теологические и «светские» толкования этому месседжу, но суть высказывания не изменится. Николай Бердяев писал, что «самая крайняя реакционность и самая крайняя революционность одинаково готовы оправдать себя христианством»⁸. А в исламе разве не так? А в других монотеизмах? Да, сегодня крайности наиболее ярко обозначены в исламе. Хотя что здесь неожиданного? Ислам всегда был самой обмирщенной, самой политизированной религией. Пророк Мухаммад был *политиком*, ставившим перед собой *политические* задачи и добивавшимся на этой стезе успеха.

Исламское государство есть, а христианского нет, исламская экономика тоже есть, есть исламский банк, а православной (хотя есть придуманная в РПЦ православная бизнес-этика) и буддийской экономик нет, как нет и католического банка. Впрочем, ошибаюсь: пока готовился материал, в РПЦ додумались и до православного банка. В декабре 2014-го, в самый канун Нового года председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что «у группы российских финансистов есть конкретный план по развитию православного банкинга». Бог им всем судья, но зато какие перспективы для партнерства с Исламским государством!

Другой вопрос, что исламского государства, как исламской экономики, никто в глаза не видел. Зато борьба за него идет и будет идти вечно, что в Иране, что в Афганистане, что на Ближнем Востоке, что на Северном Кавказе.

Диалог подразумевает желание понять другого, в данном случае — целую цивилизацию, в том числе разобраться, в чем она может оказаться лучше твоей собственной. А оно нам нужно? Без знакомства с другой цивилизацией, без уразумения ее преимуществ жить спокойнее. Конечно, кое-какая потребность в чужом опыте имеется. Каждому нужна передовая технология, изобретать которую одни цивилизации научились, а другие нет. Во всех цивилизациях люди хотят иметь iPad'ы и компьютеры. Зато не хочется заимствовать чужие цивилизационные ценности. Это правильно, ибо научиться стучать пальцем по клавишам проще, чем разобраться, в чем причины успеха обитающего по соседству создателя клавиш. Вдруг придется признать, что одна из глубинных —

культурных, исторических — причин материального успеха — это религиозное реформаторство или приоритет личности над общиной, или контроль общества над государством. Вдруг придется признать, что твоя цивилизация «попроще» «ихней», что она заметно отстает!

Скрепя сердце приходится соглашаться, что самой успешной является еврохристианская (западная) цивилизация, ныне без устали проклинаяемая идеологами Исламского государства и российской телепропагандой. Кстати, и исламские халифатисты, и кремлевские идеологи вовсю пользуются результатами западных достижений.

Запад «прорезает» Восток. Под его воздействием с начала XIX века медленно, а затем все быстрее там формируются вестернизированные элиты, которые становятся локомотивами развития Востока. Восток, конечно, тоже проникает в Запад. Но делает это куда в меньших масштабах, точно, что ли. Счет принявшим ислам европейцам идет на тысячи (число русских оценивается от 6 до 10 тыс.), в ислам перешел, например, великий океанолог Жак-Ив Кусто, кто-то увлечен буддийскими штудиями, кто-то — китайской философией. Но речь идет, скорее, о любопытстве, о тяге к экзотике. Говорить о серьезном количественном внедрении Востока в Запад я бы не стал.

Экспансия Запада привела к обострению обстановки внутри Востока, где непонимание, трения между частью общества, погруженной в традицию, и «модернизаторами» становятся все более заметными. Напрашивается, пусть и зыбкое, сравнение с «западниками» и «славянофилами» в России.

Введение демократических норм в мусульманском обществе в некоторых случаях способствует усилению в нем фундаменталистских сил. На выборах в Иране, Палестине, Тунисе, Египте, да мало ли где еще, победу одерживали фундаменталисты. И кто знает, каких успехов они могли бы достичь в других мусульманских странах, если бы там существовали демократические нормы. Однажды в 2002 г. имам одной мечети в Ферганской долине, проникшись ко мне доверием, сказал, что, если бы выборы в его стране были честными, то Бен Ладен победил бы уже в первом туре. Преувеличение, конечно, но, если серьезно, то в те годы мусульманские радикалы пользовались в Центральной Азии, и особенно в Узбекистане, значительной популярностью. Вот ведь как получается: именно с утра до ночи нарушающие права человека авторитарные режимы оказываются последней инстанцией на пути исламистов.

Следствием — понятно, не единственным — разногласий между модернистами и «арабофилами» оказалась «Арабская весна», в ходе которой главной атакующей стороной стали приверженцы радикального ислама, сторонники исламской альтернативы. Это был прежде всего внутрицивилизационный конфликт, что было признано в принятой в начале 2013 г. «Концепции внешней политики РФ», где арабская весна трактовалась как «стремление [арабов. — А.М.] вернуться к цивилизационным корням» и констатировалось, что «политическое и социально-экономическое обновление общества зачастую проходит под лозунгом утверждения исламских ценностей»⁹. Впрочем, главным тезисом российской официальной идеологии остается то, что арабские революции есть продолжение «революций оранжевых» и спланированы они Западом.

Каждая отдельная цивилизация лепится из этносов, конфессий, локальных и региональных культур, и противоречия внутри нее не менее остры, чем «столкновение между цивилизациями». Только два примера: Варфоломеевская

ночь 1572 года и неприязнь между суннитами и шиитами. Внутри христианства диалог между протестантами и католиками состоялся, в исламе возникшее в Средние века взаимное отторжение сохраняется, а в некоторых случаях переходит в нескрываемую ненависть. Внутрицивилизационный конфликт поставил на повестку дня внутрицивилизационный диалог, который не менее важен, чем «общение» между цивилизациями.

Что случится, если в отношениях между цивилизациями вдруг возникает равенство материальных сил? Очевидно, в исторически короткое время такое может произойти между Западом и Китаем. Внутренний валовой продукт КНР уже превзошел американский. Китай не только страна, это цивилизация, единственная полноценная цивилизация, имеющая государственные границы. Китай как был загадкой, так ею и остался. Возникает чувство, что между китайцами и всеми прочими стоит Великая Китайская стена, за которую можно заглянуть, но которую нельзя пересечь. Китай, китайцы настолько самостоятельны, что никакой диалог им вообще не нужен. Они без него обошлись. Я имею в виду не экономическое сотрудничество, сборку в Китае «пежо», «фольксвагенов», а теперь еще и аэробусов. За китайцами можно подсматривать, но не более того.

Что отделяет китайцев от некитайцев? Иероглифы. Вот именно ими и выложена Китайская стена. Понравится вам сия метафора или нет, не знаю. Но может ли не-китаец мыслить иероглифами? Можно думать по-французски, по-английски, даже по-арабски, но чтоб иероглифами...

И уж коль речь зашла о языке, точнее, о языках. Никогда не мог уразуметь, для чего Бог устроил смешение языков? Наказать публику за гордыню, конечно, следовало. Но вводить такие жесткие санкции... Останься для всех единственный язык, было бы проще верить в Единого творца. И диалог упростился бы, да и на переводчиков, этих «ямщиков литературы», не надо было бы тратить. А так ведь что получилось? Во французском языке есть слово «l'amour». Амур он и есть Амур, голый нагловатый человечек с большим луком, посредник между мужчиной и женщиной, секс-provokator. Во франко-русском словаре против «amour» написано русское слово «любовь». Слово тяжелое, не в меру «философичное». В разных языках слова «стул», «стол», «шкаф», «кровать» разного рода — где мужского, где женского. И получается, что, разбирая перед сном кровать, одни разбирают *ее*, а другие *его*. Лично мне приятнее спать на ней, а не на нем.

Нашел о чем писать, только бумагу переводит, — возмутится читатель и будет прав. Но я заранее предупредил, что текст этот не более чем заметки. Это раз. А два — это то, что наша национальная традиция, культура каждого народа формируется не только на базе великих побед и поражений, но также из мелочей, к которым мы привыкли, на которые не обращаем внимания или обращаем, когда они вдруг попадают в перекрестье политики и их подкармливают конфликты. Ну, посмотрите хотя бы на оказавшуюся в центре диалога (да и не диалога, а целого скандала) цивилизаций проблему головного платка или хиджаба — что носить, кому носить, где носить...

Но продолжим о языке, теперь уже только о русском языке. Разве селившиеся в Средней Азии, Прибалтике русские стремились хоть как-то выучиться

местным языкам? Пришелыцы, простите за выражение, иммигранты (внутренние, разумеется), относились к коренному языку снисходительно. Существовал некий «комплекс колонизатора». Сразу оговорка: комплекс был условным; «наши колонизаторы» не разгуливали в колониальных шлемах. Как-то в середине 1970-х попал я на ташкентский шинный завод, где, трудясь на вредном производстве, губили здоровье русские бабы. Лучше уж носить хиджаб...

Отстраненность от местного мира была естественной. В разных регионах это было обусловлено разными причинами. Например, в Средней Азии русские были заняты почти исключительно в современном секторе экономики, тогда как местные жители работали в традиционных секторах — аграрном, в торговле. Бесконечно долго можно говорить о культурных различиях. Но была и общая причина, состоявшая в том, что советская власть, главными носителями которой были русские, навязывала свою волю силой, разрушала существовавшие до нее социальные, человеческие связи. С этой точки зрения, уничтожение в 1930-х гг. до полутора миллионов кочевников-казахов, а до того сотни тысяч декхан-«басмачей», высылки латышей (126 тыс. человек), литовцев (130 тыс.), эстонцев (20 тыс.) — явления однопорядковые. Это можно считать и формой колонизации, но прежде всего это была *советизация*, под нож которой попадали не столько по этнической, сколько по социальной принадлежности.

Итак, советизация приводила к естественному отторжению русских, но, с другой стороны, столь же естественной была и русификация, главным аспектом которой было распространение русского языка. Знание языка «метрополии» стало обязательной ступенькой для карьеры. В восточных и южных регионах СССР для местной молодежи русский язык открывал новые культурные пространства, через русский в местную культуру вводились новые термины и понятия. В какой-то степени его миссию можно сопоставить с миссией английского языка.

Вот и не было у «понаехавших» русских мотивации изучать местный язык. Не было даже простого интереса к овладению местными «наречиями». Редкие попытки обучить русских чужому языку оказались безуспешны. Однажды это попробовал сделать Сергей Довлатов, решив познакомить русских детей с эстонским языком. Он организовал в «Вечернем Таллине» «Эстонский букварь», где напечатал такое стихотворение:

У опушки в день ненастный
Повстречали зверя (на картинке был изображен мишка. — А.М.).
Мы ему сказали: «Здравствуй!»
Зверь ответил: «Тере!»
И сейчас же ясный луч
Появился из-за туч.

Инструктор местного Центрального комитета партии назвал это «шовинистической басней», в которой намекается на то, что эстонцы — звери. Довлатову дали по шапке, и дело тем кончилось.

В трудные годы царизма работавшим в Туркестане русским чиновникам за знание местных языков полагалась доплата к жалованью, если не ошибаюсь, до 15%. Спросите теперь, сколько сотрудников российского посольства в Казахстане знают казахский язык, в Узбекистане — узбекский, а в Азербайджане — азербайджанский. А ведь, не зная языка, не поймешь, до конца не прочувству-

ешь, где живешь, где работаешь. Классиком было отмечено, что русские вообще «не любопытны». Образцом нелюбопытности мне долго служил один трудившийся в Алжире полковник, гордившийся тем, что в городке, где он проживал, дальше рынка нигде не был. К тому же он призывал своих подчиненных.

Был совершенно не любопытен и не способен к диалогу коммунизм, на котором воспитывалось три советских поколения. Позиционировавший себя как религия, как совершенная общественная цивилизация советский коммунизм был агрессивен больше, чем любая другая религия, но все равно уверял, что именно он и есть «религия мира». Вот характерные высказывания советских политиков: «мир капитализма обречен», «у нас с вами (Западом. — *А.М.*) главное разногласие по земельному вопросу — кто кого раньше зароет», «мы еще покажем последнего попа». Нас систематически отучали от диалога, да и просто не пускали за границу, для чего существовала так называемая «выездная виза».

Коммунизм схож с атеизмом, последователи которого честно заявляют, что Бога нет, что они не нуждаются в этой «гипотезе». Дело, однако, в том, что при советской власти атеизм из частного убеждения превратился в государственную политику и стал почти таким же страшным, как и коммунизм.

«У советских собственная гордость», и далее: «на буржуев смотрим свысока». Но смотрели свысока не только, и даже не столько на буржуев — своих истребили, а до чужих было не доехать. «Свысока» смотрели вообще на все. Официально смотрели. Неофициально всемучужому, «буржуйскому» завидовали.

Как долго сами приучались, приучали и приучили остальные народы СССР к тому, что русские им старшие братья! Мы и китайцев к этому чуть не приучили, но Хрущев нарвался на Мао Цзэдуна, который живо объяснил Никите Сергеевичу, что его, китайца, учить не надо. После одной из встреч с Никитой Сергеевичем Мао говорил своим приближенным: «Их истинные намерения контролировать нас. Они пытаются связать нас по рукам и ногам, но ведут себя как идиоты...» Интересно, что бы сказал председатель КНР о нынешних российско-китайских отношениях?

В Восточной Европе почему памятники советским солдатам крушат и передвигают с глаз долой? Потому что у местных жителей эти памятники вызывают ощущение, будто «старший брат» навсегда у них обосновался в роли надзирателя. Да к тому же еще до сих пор назойливо требует благодарности за совершенное 70 лет тому назад. В 1968 г., когда СССР оккупировал Чехословакию, появился анекдот: что думает чех, когда утром видит под своими окнами танк? — Брат приехал.

И будто в наказание за советское политхамство, при Путине, «встав с колен», Россия превращается в младшую сестру Китая.

Когда братья-славяне от имени РСФСР, УССР и БССР в 1991 г. подписывали в Беловежской Пуще известный договор, они, как потом выяснилось, не хотели разрушать Советский Союз. Они были уверены, что не разваливают страну, но просто ее переделывают, а все прочие неславяне (короче — «чурки») прибегут, приползут и подпишут все, что им повелят. Но не приползли.

Между прочим, есть мнение, что стань в то тяжелое время президентом лежавшего в коме СССР неславянин Назарбаев, недавняя история могла

оказаться иной. Не хочу ни с кем на этот счет спорить, но что-то подсказывает реальность «назарбаевского сценария» выживания Союза.

Образ «старшего брата» намертво встроен в отечественную политическую культуру. Порой он переносится на другие культуры и народы. Как страстно убеждает Кремль французов с немцами, у них тоже есть старший, «большой брат» — американцы! Потребность европейцев в «большом брате» оригинально истолковал национал-подросток и большевик Эдуард Лимонов, однажды утверждавший, что Запад обожал Сталина, «его сапоги, усы, трубку, фуражку и звезды генералиссимуса и (западники. — А.М.), как нашкодившие дети, презили о наказании, чтобы суровый отец народов снизошел до их порки». И далее: «Запад зайдет в экстазе, если в России восторжествует суровый и красивый, молодой, стройный хищный зверь без лишних мышц»¹⁰. Ошибся писатель. Пришел и суровый, и стройный, но мазохистских настроений в Европе и Америке незаметно. Да, в паре рейтингов «сурового и стройного» поставили на первое место среди мировых политиков. Но ведь это первое место «со знаком минус».

Обидно другое. По лености Россия теряет свое культурное, как принято называть, русскоязычное пространство. Она оказалась неспособной защитить эту культуру, точнее, правящий класс не захотел ее защищать. Ведь пользы для его личного кармана от этого никакой. Разговоры на эту тему на девяносто девять процентов остаются формой популизма и пропаганды одновременно. Произносимые словеса благородны, но за ними ничего не стоит, не считая парадных мероприятий и наградений. Понятно, противостоять натиску английского, этого тарана западной культуры и западных технологий, невозможно. Да и незачем. А вот сохранить заповедник, лучше сказать, оазис русской культуры, было возможно. Что стоило повысить за счет федерального бюджета зарплату преподавательницам русского? Понятно, что это сошлется не так помпезно, как оказавшийся неподъемным мост через Керченский пролив. Не то обидно, что через 30 лет наши постсоветские внуки будут общаться между собой на английском. Плохо, если русский останется совсем уж маргинальным, ненужным.

Пока что русский где-то сохраняется как второй официальный, где-то — как язык межнационального общения. Практика показывает, что договориться о статусе языка всегда возможно. Другое дело, что этот вопрос оказывается инструментом политической интриги. Его разыгрывают как местные националисты, так и российские «патриоты», включая тех, кто состоит в политическом истеблишменте. В результате русский становится каким-то «обиженным», вечно нуждающимся в защите языком, а то и «языком оппозиции», в чем также мало хорошего.

Правда, в какой-то мере русский язык поддерживают мигранты, которые, с одной стороны, овладевают им в рамках производственной необходимости, зато с другой, будут нуждаться в его освоении по мере того, как какая-то их часть оседает на российских просторах. И посылает своих детей в московские, Санкт-Петербургские, Саратовские и прочие школы.

Заметки подходят к концу. Они далеко не эвристичны. Я ничего не открыл, нового ничего не предложил. Однако выводы делать придется, хотя я этого не

люблю. Выводы эти относятся к лицам всех национальностей, включая азиатскую, кавказскую, русскую и пр.

Вывод первый. Сосуществование народов, культур, религий — вечная и всеобщая проблема. Мы — не враги, мы просто разные.

Вывод второй. Берегитесь собственных фобий, этнических и религиозных. Да, фобии заложены в человеческой натуре. Но учитесь сдерживать их. Одергивайте «своих» ксенофобов.

Вывод третий. Меньше верьте политикам и нынешней телепропаганде, вдалбливающим, что вокруг нас одни враги и американцы.

Вывод четвертый. Не проклиняйте миграцию. Движение народов было, есть и будет, ибо оно — один из движителей нашей общей цивилизации.

Вывод пятый. Не брезгуйте чужим. Заимствуйте то, что вам подходит. Когда-нибудь оно станет вашим.

Вывод шестой. Воспитывайте в себе любопытство, интерес к чужому. Попробуйте понять, почему одни тянутся к хиджабу, а другие к мини-юбкам. Почему одна цивилизация запрещает вино, а для другой — выпивка неизбежная часть культуры общения.

Вот видите, как все просто...

И все же...

P.S. Несмотря на всю мою терпимость, есть на постсоветском пространстве один народец, который мне (и не только мне) несимпатичен. Он держится сплоченно, ведет себя вызывающе и постоянно дает тебе понять о своем превосходстве. Я сталкивался с выходцами из него в Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, в Москве, в Казани — словом, повсюду. Несмотря на дисперсность, у этого «этноса» единые поведенческие нормативы, психология и даже одежда. Это — гаишники. Про российских даже не говорю. Но однажды я переезжал из Алматы в Бишкек, а спустя несколько дней обратно. Шофера-казаха сразу остановили киргизские «полицейские», на обратном пути шофер-киргиз был схвачен их казахстанскими коллегами. Оба водителя отозвались о стражах порядка одинаково — «ну и *народ*».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Избави Бог подумать, что название украдено у В.И. Ленина, озаглавившего в 1913 г. свою статью — «Критические заметки по национальному вопросу». Я сам додумался.

² Кершоу Роберт. 1941 год глазами немцев. Москва, «Яуза-Пресс», 2009. С.305.

³ Неклесса А. И. Политическая стратегия России представляет собой непаханное поле. Цивилизационные активы и цивилизационные рамки национальной российской политики. Материалы постоянно действующего семинара. Выпуск № 6 (15). Москва, 2009.

⁴ Свящ. Владимир Зелинский. Восток-Запад в споре вер. Вера. Диалог. Общение. Проблемы диалога Церкви и общества. Свято-Филаретский Институт. Москва, 2005. С.362.

⁵ Мухаметшина Елена. Националисты притаились. Ведомости, 7 окт. 2014.

⁶ Веллер Михаил. Легенды Арбата. Изд. «Москва», 2010. С. 54.

⁷ Пряхин Георгий. Чтобы не улетела навсегда птица памяти. Российская газета, 11 декабря 2014.

⁸ Бердяев Николай. Философия неравенства. ИМА-ПРЕСС, Москва, 1990. С.21.

⁹ Концепция внешней политики Российской Федерации. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации.

¹⁰ Лимонка, 1996, № 31.

Юрий Каграманов

Кого ждет «триумф воли»?

Противоборство идеологий на Украине

В Средние века случалось, что художник изображал то или иное событие происходящим одновременно на трех уровнях: в небе, на земле и в аду. Вероятно, события на Украине тоже сопровождаются какими-то действиями в небе и в аду, только мы о них, естественно, ничего не знаем. Но и то, что доступно взору, совершается на двух разных уровнях: собственно на земле и в сфере, назовем ее так, земных испарений — идейной. На земле мы видим, что одно войско противостоит другому и между ними протянулась более или менее четкая линия фронта; пока, во всяком случае, дело обстоит таким образом. А в идейной сфере нет четких границ, а есть туманные образования, которые нередко переходят одно в другое, а то и простираются за границы самой Украины, то есть бывшей Украины.

Der Kampf geht weiter¹

В советские годы часто цитировали Брехта:

Ещё плодоносить способно чрево,
Которое вынашивало гада.

Речь — о фашизме, если кто не знает. Строки Брехта отдавали риторикой: фашизм, особенно в его германской разновидности национал-социализма, до такой степени был дискредитирован, что трудно было представить, чтобы он еще мог кого-то увлечь; небольшие кучки одержимых, которые всегда и везде находятся, не в счет.

Иначе думал известный французский писатель Морис Бардеш, единственный в стране «высоколобый», который в послевоенные годы выступал в защиту фашизма (ему удалось избежать тюрьмы за свои взгляды только потому, что в период оккупации он не был замечен в коллаборационизме). В своей книге «Что

Каграманов Юрий Михайлович — культуролог, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Вокруг "иранской идиомы"» (№ 12, 2009), «Что нам готовит год 2083?» (№ 12, 2011), «Крик Майастры. Перспектива консервативной революции в Европе» (№ 2, 2013); «Нерон высадился в Америке» (№ 8, 2013); «На подходе ко второму Просвещению» (№ 1, 2014); «Призрак Закона» (№ 7, 2014).

такое фашизм?» (1961) Бардеш утверждал, что фашизм вечен, но это не должно никого пугать: ужасы, связанные с гитлеризмом, объясняются привходящими обстоятельствами, вовсе не органичными для фашизма. Умозрительно можно представить, с точки зрения Бардеша, некий «чистый фашизм», представляющий собою вполне благообразную картину в нравственном и эстетическом отношении. В другой своей книге Бардеш писал, что «идеальный тип» фашиста равняется на высокие образцы древней Спарты, где «городом управляла каста воинов, которая никому не позволяла вмешиваться в дело управления. Она брала на себя бремя защиты родины и несла его всю жизнь... В этой среде вырастали дети, организованные в отряды, подобные балилье (организация молодежи. — Ю.К.) в фашистской Италии или Гитлерюгенду».² Так что в идеале фашизм прекрасен, утверждал Бардеш, а что касается гитлеризма, то это лишь «предварительный набросок» фашизма, во многом не удавшийся и подлежащий исправлению.

В соседней Италии не менее известный философ Юлиус Эвола, который защищал фашизм до, во время и после войны, занимал сходную позицию. Психология фашиста, писал Эвола, это вообще психология жителей осажденных городов, которая во все времена была одна и та же; конечно, осада рано или поздно снимается, но «сознательные» жители не позволяют себе расслабляться, готовясь к следующей осаде.

В обоих случаях аргументация — крайне хрупкая. Когда снимается осада, на стенах города остается, конечно, какая-то стража, но если нет непосредственной угрозы новой осады, трудно ожидать от остальных жителей, чтобы они сохраняли прежнюю кондицию. А подвиг «трехсот спартанцев» всегда вызывал и будет вызывать восхищение, но ведь не каждый день приходится защищать Фермопилы. В другие же дни жизнь в Спарте оставалась довольно-таки монотонной; в любом случае это была племенная архаика, в наше время невоспроизводимая. Несравнимо ближе нам «музыка» Афин с их великими мыслителями, художниками и поэтами; ее не очень портит даже гомон развращенной толпы (вызывавшей отвращение, например, у Аристофана).

Оба автора неоправданно распространяют фашизм на прошлое. На самом деле фашизм — феномен XX века; это реакция на прогрессизм в обоих его основных изводах, либерализм и коммунизм. И психология фашиста — очень специфическая, не имеющая аналогов в прошлом.

В интерпретации знаменитого психолога К.Г.Юнга фашизм — «мечь Вотана», древнегерманского «бога грозы и неистовства». Полтора тысячелетия Вотан спал на горе Кифгайзер, пока охранявший его ворон не возвестил о наступлении «утренней зари», что означало: пришел час восстать против Христа. Можно приблизительно установить время, когда ворон клюнул Вотана: это конец XIX — начало XX века.

К сожалению, и Бардеш, и Эвола оказались правы в том, что у фашизма есть будущее. Хотя то, что мы видим сегодня, — это отнюдь не «чистый» фашизм, совсем наоборот. Очевидно, есть два фактора, способствующие возобновлению фашизма.

Первый из них — ускорение морального разложения в широком ареале евро-американской цивилизации. На что фашизм отвечает регрессивным морализмом, находящим немалое число сторонников.

Второй фактор — пробуждение полузадавленного расового чувства, чему есть объективные причины: начавшееся вымирание европейской расы, которую теснят другие расы. От расизма былых времен это чувство отличается тем, что

является, так сказать, оборонительным. Как таковое, оно имеет право на существование; проблема здесь в том, чтобы не превышать пределов необходимой обороны. А современные фашисты целиком перенимают агрессивный расизм своих предшественников. И Бардеш, и Эвола ошибались, считая, что расизм и антисемитизм служат для фашиста чем-то вроде боковых приставок, совсем для него не обязательных. Эвола, правда, имел основания так считать, поскольку брал под защиту итальянский фашизм, изначально чуждый расизму и антисемитизму (Муссолини принял некоторые репрессивные меры против евреев лишь под давлением Гитлера, уже в поздний период своего владычества). Но современные фашисты (быть может, за исключением итальянских) равняются на национал-социализм со всем его идейным багажом, как на самый «яркий» образец фашизма.

Лет двадцать назад я писал в «Новом мире», что в противлении соблазнам фашизоидного образа мыслей Россия, пережившая «великие потрясения», может оказаться «слабым звеном». Но самым «слабым звеном» оказалась Украина.

Причиной тому история с географией. Необдуманное включение Галичины в состав УССР (в 1939-м) имело далеко идущие последствия. Населявший этот горный край «упрямый народец» (выражение Наполеона о черногорцах) не хотел мириться с чьим бы то ни было господством. Поднявшее восстание здешнее крестьянство организовалось в УПА (Украинскую повстанческую армию), движение, которое по духу своему напоминало тамбовскую антоновщину и могло бы даже вызвать некоторое сочувствие, если бы... Если бы не учиненные им зверские убийства евреев и поляков в невиданных доселе масштабах. И если бы оно не позволило оседлать себя другой организации, сравнительно малочисленной, но идеологически выдержанной — ОУН (Организация украинских националистов) Степана Бандеры. А вот это уже была организация последовательно фашистского типа. Ее ведущим идеологом стал Дмитрий Донцов (русский из Мариуполя, эмигрировавший еще до революции и умерший в Канаде), который перевел гитлеровский «Mein Kampf» на украинский язык и расценивал эту книгу как «руководство к действию» для украинских националистов. Киевский историк националистического направления И.Лисяк-Рудницкий пишет, что Донцов «всеим своим авторитетом направил украинский национализм в фашистское русло».³

Сталинский каток раздавил партизанщину на Галичине, хоть и не без длительных усилий. Но корни остались и пошли в рост, едва только пал Советский Союз. Потомки лесных партизан не только утвердились на Галичине, но поставили целью завоевание остальной Украины. Они сами называют это движение *Drang nach Osten*,⁴ как бы указывая на его изначальные импульсы. Они вообще любят употреблять немецкие слова и выражения, в той мере, в какой им доступен немецкий язык, в пик распротранившимся американизмам (на память приходит тургеневский Базаров: «Вы мне по-французски, а я вам по-латыни»).

По-настоящему они обратили на себя внимание, по крайней мере, за пределами Украины, только осенью 2013-го, на втором Майдане. Но «нагибать» Украину в желаемом ими направлении они стали гораздо раньше. Год за годом они или те, кто стали их «попутчиками», подчиняли своему влиянию средства массовой информации, издательства, учебные заведения, средние и высшие; а в последнее время, как утверждают эксперты, установили контроль над СБУ и МВД с их вооруженными формированиями, проникли в нацгвардию и вооруженные силы.

Как тут не вспомнить о гоголевском Хоме Бруте, на которого села ведьма!

Либералы на Украине и вне ее говорят, что не следует-де преувеличивать угрозу фашизма в стране, указывая на тот факт, что на парламентских и президентских выборах «Правый сектор», «Свобода» (на время спрятавшая прежнее свое название «Национал-социалистическая партия») и другие партии фашизоидного типа собирают вместе меньше 10 процентов голосов. Но сами укрофашисты не придают этому факту серьезного значения, ибо ставят своей задачей сколотить небольшое, но крепкое меньшинство, которое будет «делать свое дело», кто бы что ни думал и кто бы что ни говорил. Такова их изначальная установка. Как пишут М.Зиньковский и Е.Герасименко в книге «Борьба продолжается», ставшей катехизисом украинского фашизма, «только отдельные волевые личности и/или небольшие группы единомышленников, борцов во все времена были и остаются катализаторами исторических процессов».⁵ И в этом утверждении есть определенный резон: в с м у т н ы е времена роль борцовско-активных элементов, сравнительно с остальным населением, резко возрастает. Книгу пронизывает уверенность, что укрофашистов ждет «триумф воли» (напомню, что так называется известный документальный фильм Лени Рифеншталь о каком-то там съезде нацистской партии). Для вящей убедительности это выражение приводится по-немецки: Triumph des Willens.

Они уже овладели улицей, что позволяет им терроризировать население. Так же поступали их предшественники, немецкие штурмовики. Один из «зовов» фашизма состоит в том, что он позволяет хулиганствующей части молодежи «погулять», иначе говоря, реализовать свои агрессивные инстинкты, и только потом заключает ее, как и все остальное население, в ежовые рукавицы.

Вопреки Бардешу, ждавшему, что вот-вот объявит о себе некий «творческий» фашизм, нынешние укрофашисты слепо копируют «предварительный набросок». К гитлеровскому рейху они испытывают «влечение, род недуга». Если тот паразитировал на высокой немецкой культуре — достаточно назвать имена Вагнера, Ницше и Шопенгауэра (оставившего след в психологии фашиста своим представлением о мире как исполненном темной, слепой и губительной воли) — то укрофашисты просто воспроизводят «находки» предшественников, приправляя свои сайты в интернете руническими знаками, образами Вотана (один из сайтов, посещаемый, кстати, и в России, называется Wotanjugend), Вальгаллы и т.д. и т.п.

Укрофашисты решительно отмежевываются от добродушных, с острым юмором «хохлов» времен «Наталки-полтавки» и «Запорожца за Дунаем»; для них это люди с другой планеты. Даже националисты старой формации, вызревающие «в тени украинских черешен» (Пушкин), вызывают у них отторжение: они-де слишком сентиментальны и со своей преданностью *неньке* Украине слишком провинциальны. Укрофашисты мыслят шире. Ставя свою (сделавшуюся довольно условной) «украинскость» во главу угла, они планируют свои действия «в европейском масштабе». Их не привлекает Европа «прав человека»; последние, по их мнению, суть *жидівські побрехеньки*. Как пишет один из их лидеров Игорь Гаркавенко, «подлинная Европа, Европа под знаком мужества и "свободы воли" сегодня возрождается в Украине. После будут все остальные!»⁶ Выходит, что не Украина должна тянуться к Европе, а наоборот, Европе следует равняться на Украину.

Еще один лидер укрофашистов, Андрей Белецкий (командир батальона «Азов», ведущий, наряду с Дмитрием Ярошем идеолог «Правого сектора») насмехается над «культурно-языковыми националистами» как людьми вчераш-

него дня. Белецкий поднимает знамя расы, уроненное в Берлине в 45-м. Дело национал-социалистов не погибло, *der Kampf geht weiter*: «историческая миссия нашего народа в это переломное столетие, — возглавить и повести за собой "белые" народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование. Поход против навязываемой семитами недочеловечности (*недолюдства*, что можно перевести также как «изуверства». — Ю.К.)». ⁷

Заявляя о своих амбициях, укрофашисты сталкиваются с нелегким для себя вопросом об отношениях с Россией, с русским народом, в недавние времена именовавшегося «братским». Это понятие, возникшее в рамках советской политики «дружбы народов», было некоторой натяжкой, коль скоро оно относилось к азиатским народам СССР (не исключая христианских Грузии и Армении) и, с другого края, к прибалтам. Хотя трудно отрицать, что эта политика приносила добрые плоды. ⁸ Беда в том, что она оставалась скольконибудь действенной лишь в продолжение того, относительно короткого, по историческим меркам, периода, когда коммунистический Икар держался в воздухе.

Но в отношениях русских с украинцами, а также белорусами, концепция «братских народов» означала занижение их (отношений) прежнего статуса. Потому что до революции все три этническо-языковых образования считались единым народом; «украинцы» и «белорусы» были как бы «малыми определениями» в н у т р «большого определения» — «русские» (с этим были не согласны лишь относительно немногочисленные тогда украинские националисты). В раннесоветский период многое было сделано, чтобы обособить украинцев, но в дальнейшем эта политика была смягчена. В то же время усиление миграционных потоков привело к еще большему смешению русских с украинцами. И сегодня, по некоторым подсчетам, в Москве, например, каждый пятый житель носит украинскую фамилию, на Урале — каждый четвертый, в Сибири — каждый третий. С другой стороны, множество украинцев (даже за вычетом Новороссии) носит русские фамилии. Данное обстоятельство работает на старую концепцию единого народа. Недаром пишет видный киевский публицист прорусского направления Игорь Беркут: «Украинское имперское сердце бьется в Москве, на Урале и в Сибири». ⁹

Возвращаясь к укрофашистам, замечаем в этом плане некоторые разногласия между ними. У многих из них война обостряет чувство враждебности не только к Российскому государству, но и к русскому народу. Под эти чувства подводится расовая теория: *москали* с их «монгольскими черепами» должны уступить первенство украинцам как якобы чистым европеоидам. «Выдвигая идею украинской великодержавности, — пишут Зиньковский и Герасименко, — в будущем мы не должны допустить существования второй великой державы на наших границах и приложить максимум усилий для того, чтобы такой державы не было». ¹⁰ Великая держава на границах Украины — само собой понятно, Россия.

Эта задиристость не лишена некоторого комизма. Каким образом Украина, среднего роста держава, могла бы одолеть великаншу Россию, представить невозможно. И если уж мериться черепами, нельзя не заметить, что среди украинцев, помимо изящных европеоидных, есть множество черепов по своему происхождению половецких, хазарских и разных иных.

Другие укрофашисты отдают себе отчет в нерасторжимой (до сих пор, по крайней мере) близости русских и украинцев. В появившемся в июне минувшего года заявлении организации «Белый молот», одного из трех соучредителей

«Правого сектора» (два других — «Тризуб» и «Патриот Украины»), сказано: «Нас натравливают на Россию, но наш реальный враг — действующая власть еврейских проамериканских олигархов и их ставленников, они куда хуже и в разы опаснее. Русские — наши братья, и мы принадлежим единому Славянскому племени!»¹¹ После этого заявления верхушка «Белого молота» была исключена из ПС: Ярош понимает, какую роль в передвижении фигур на шахматной доске Украины играет американская рука, раздражать которую до поры до времени не следует. Тем не менее, прорусские, назовем их так условно, умонастроения в среде укрофашистов остаются очень заметными. Уже цитировавшийся Гаркавенко пишет: «Для меня, как для русского и украинского националиста в одном лице, то, что началось в Киеве, имеет своим обязательным продолжением Россию. И думаю, так считает достаточная масса здесь... Ни одна революция, которая не имела революционных целей за пределами государства, в котором вспыхнула, — не победила».¹²

А вот это уже опасно. Потому что в России барьер неприятия фашизма молодыми поколениями до некоторой степени сломен. Сила неофашизма в его критике современного общества. *Закавіка* в том, что зачастую она звучит на одной волне с христианским консерватизмом, не вполне еще у нас оформившимся, но имеющим некоторые шансы утвердиться в недалеком будущем. Оба направления выступают против одних и тех же «измов» — глобализма, мультикультурализма, неомарксизма, против разрушения семьи и разъятости общества на атомы, против упадочных явлений в искусстве, против нигилизма и пофигизма.

Но различия глубже сходств. Они вытекают из различия вер. Укрофашисты — или униаты, или откровенные язычники. Конечно, униаты тоже христиане, хоть и между двух стульев (католичеством и православием) сидящие, но униатство укрофашистов — «национализированное», а «национализированное» христианство — не христианство, оно ближе к языческому типу мироощущения. Зиньковский и Герасименко пишут, что украинский национал-социализм «осознает пользу от возрождения древних европейских языческих традиций и верований»,¹³ хотя и допускает «не иудаизированное христианство». Что это такое, остается загадкой. Христианство, как известно, вышло из иудаизма и отбросило его, как вторая ступень ракеты отбрасывает первую, но чтобы потом оно было вновь иудаизировано?! Разве что о кальвинизме можно так сказать, и то с большой натяжкой, но кальвинистов в Европе осталось мало и, конечно, не о них идет здесь речь. Чтобы заново иудаизировать христианство, пришлось бы изъять из него Христа; сможет ли оно в этом случае называться христианством?

Очевидно, укрофашисты следуют примеру Гитлера, считавшего христианство несовместимым с фашизмом, но из тактических соображений не подвергавшего его прямым гонениям, откладывая их на будущее. Слишком значительным оставалось еще тогда влияние христианства в Германии.

Христианской морали, представляющей собою сложную, «хорошо темперированную» гамму звучаний, фашизм противопоставляет моральный порядок самого элементарного, родо-племенного типа. Христианскому типу личности чужды как «либеральная» (изначальным либеральным проектом не предусмотренная) дряблость, так и каменная твердость, переходящая в бесчувственность. А языческий тип погружен в природу, в которой он ценит не мягкость ее, но звериную жестокость. Возможно, укрофашисты сами не подозревают, на что они способны, если, не дай Бог, придут к власти. Хотя Бандера на сей счет был откровенен: «Наша влада буде страшною».

Важнейшим в жизни человека является его представление о смерти.

Христианское обетование «жизни будущего века» формировало поколение за поколением, всю жизнь их освещая небесным светом. А фашист может строить свой Тысячелетний рейх (и тысяча минет, «как один день»), но персонально для него впереди маячит «Остров мертвых». Так называется знаменитая картина Арнольда Беклина (кто не видел ее, может легко найти в Интернете), существующая в пяти или шести вариантах — очевидно, тема преследовала автора. В художественном отношении картина удалась: от нее исходит, обволакивает зрителя жуть навсегда остановившейся жизни. Даже картины ада как-то веселее. Такое представление о смерти порождает отчаяние, которое легко может вылиться в агрессию. Недаром «Остров мертвых» был любимой картиной Гитлера, которая постоянно висела (в одном из вариантов) в его кабинете.¹⁴

И на сайтах укрофашистов можно видеть сумеречные образы, явившиеся из «Германии туманной» (низко стелющиеся темные тучи, какие-нибудь насупившиеся орлы, расправляющие крылья — навстречу битве и собственной гибели и т.п.), солнечной Украине вроде бы не показанные.

То ли весна, то ли предвесенье

«Шли дроздовцы твёрдым шагом...»

Марш дроздовцев

Лет десять назад Н.А.Нарочницкая так охарактеризовала восточную часть Новороссии, ту именно, где сейчас идут боевые действия: «Русскоязычные промышленные регионы Новороссии — самые атеизированные, обывательские и не способные сформулировать идейную альтернативу, которая стала бы в начале 90-х годов адекватным ответом на "галицийский вызов"».¹⁵ Вероятно, это была достаточно точная характеристика. Но подспудно в этих краях зрело сопротивление галицийскому «натиску на восток», ставившему целью, ни много ни мало, геноцид русских. Не в смысле физического убийства людей, а в буквальном смысле убийства рода. Главным орудием убийства стала школа, в котором русский язык вытеснялся украинским и, соответственно, изучение русской литературы вытеснялось изучением украинской литературы (самая яркая фигура которой — Шевченко, талантливый поэт масштаба нашего Никитина или Кольцова). Можно ли представить русского человека, не знающего наизусть ни одной строки Пушкина и Лермонтова, не знакомого с творчеством Тургенева, Толстого, и так далее, и так далее. Еще одно-два поколения, и русский стал бы в этих краях бытовым языком, которым бы говорили дома и на базаре, и не более того. А скорее всего, это был бы уже и не русский, а суржик.

Чтобы зажглась воля к борьбе за свою, как теперь принято говорить, идентичность, нужна была «точка возгорания». И она появилась очень вовремя.

13 апреля в Славянск вошел прибывший из Крыма отряд численностью шестьдесят человек во главе с полковником Игорем Стрелковым. У некоторых из них, начиная с командира, на рукаве красовался трехцветный шеврон, известными людьми опознанный как «дроздовский».¹⁶ Поэтому новоприбывших прозвали дроздовцами.

Приход добровольцев «расшевелил» местных, побудив их взять в руки оружие против укрофашистов. Мотивация их поведения была простая и

общепонятная: защита родного — дома, края, языка. Но в идеологизированном мире трудно обойтись без мотиваций более высокого порядка.

«Дроздовцы», как тому и следовало быть, явились под знаком Белого движения. Помощник Стрелкова Игорь Друзь так сформулировал их программу: «Мы за возврат к исторической России. Наша война — святая. Мы за Святую Русь, за православный тип государства, за религиозное, за социальное государство, против олигархов, либералов и фашистов».¹⁷ Примечательно, что главой Политуправления ДНР первоначально был назначен Игорь Иванов, занимающий пост председателя РОВС (Русского общевойска союза — прямого наследника Русской армии Врангеля).

Стрелкову и его сподвижникам удалось организовать сопротивление на территории двух областей, Донецкой и Луганской. В чисто военном отношении оно было блестящим: относительно немногочисленные и поначалу плохо вооруженные ополченцы отразили натиск многократно превосходивших их сил украинской армии и батальонов укрофашистов. Сложнее обстояло дело с идейным обеспечением движения.

Для многих донетчан и еще большего числа луганчан Белая идея оказалась неприемлемой. Красная идея пустила в этих краях глубокие корни, которые по сию пору не выкорчеваны. А противостояние с укрофашистами вызвало к жизни дух Ненавистного врага 41-го года и, как это бывает при вызывании духов, в зеркале возник противоположный ему призрак Красного воина. В поддержку ему стали перепечатывать плакаты того времени, например, плакат Кукрыниксов с такой надписью:

Бьёмся мы здорово, колем отчаянно —
Внуки Суворова, дети Чапаева.

Кем-то было замечено, что Суворов вряд ли согласился бы признать Чапаева сыном. Ничем особенно не замечательного комдива сделали знаменитым написанная о нем книга и особенно фильм. Куда уместнее было бы вдохновляться образом Василия Чернецова, казачьего полковника, воевавшего за белых примерно в тех же местах, где сейчас идут бои.¹⁸ Вот тот был всем героям герой. Увы, о нем и книг не написано, и фильмов не снято.

Стрелкова уже в августе отозвали в Москву отчасти из политических соображений, отчасти из-за его принципиальной «белизны», вызвавшей недовольство, как уже было сказано, у многих донетчан и луганчан. Еще раньше был снят с должности Иванов. В «Комсомольской правде» появилась статья Израэля Шамира «Ошибка полковника Стрелкова», где сказано: «Красные победили белых, дорогой полковник, не по несчастливой случайности. Они честно победили в самой лучшей и дорогой избирательной кампании — в гражданской войне. Русский народ проголосовал винтовками и выбрал — красных».¹⁹ Нынешние красные считают уместным взять у белых только «православный элемент» — как «хорошее пополнение советскости».

Удивительно, до чего «втемяшилась» (вспомним Некрасова) в головы ложь, прописанная в советских учебниках истории. Уж теперь-то хорошо известно, что народ в подавляющей своей части не «голосовал» ни за ту, ни за другую сторону, а просто ждал, чем окончится гражданская война. А в том, что красные своей победой обязаны целому ряду случайностей, признавался сам председатель Реввоенсовета республики, уж ему-то это было известно лучше, чем кому-либо еще. И не было здесь противостояния «русской аристократии и тяглового

земства» (как пишет сегодня публицист Дмитрий Куницкий). Из трех генералов, поднявших знамя Белого движения, Л.Г.Корнилова, М.В.Алексеева и А.И.Деникина, ни один не мог похвалиться «голубой» кровью: первый был казак, два других — внуки крепостных крестьян. А из трех тысяч участников Ледяного похода, положившего начало Белому движению, только каждый пятый был потомственным дворянином.

И пора начать разбираться с тем, что представляла собой Белая идея. В политическом плане белые выдвинули принцип непредрешенчества: надо сначала прогнать большевиков, а после народ должен сам решить свою судьбу путем созыва Учредительного собрания. Это принцип безупречный, но, как не раз было замечено, умалчивающий о том, чего хотели сами белые. Между тем, ведущие идеологи Белого движения И.А.Ильин и П.Б.Струве ясно указывали, что основные цели Белого движения предшествуют социально-политическим вопросам: это восстановление Духовной вертикали и исторической преемственности. Притом преемственности выборочной: отбрасывающей все, что следует считать дискредитированным (что именно — должно быть предметом обсуждения), и сохраняющей и развивающей все ценное — включая подлинные достижения либерализма. Оба философа, в ряду русских философов выделившихся своим (затребованным временем) волюнтаризмом, делали акцент на воспитании воли, личностной и коллективной, питающей «героизм, ясный и прямой» (Струве). При том Ильин относил волю к числу «вторичных сил русской культуры», выводимых из ее первичных сил — из сердца, из созерцания, из свободы и совести.

И, наконец, пора различать в советской истории красных и их наследников, которые только называли себя красными. Очень не хочется воздавать хвалу тов. Сталину за что бы то ни было, но нельзя не отдать ему должное: это он сокрушил большевизм, это при нем Красная идея была разбита на мелкие осколки, бережно сохранявшиеся до конца советской власти. И все реальные достижения советского периода, включая сюда техно-экономические преобразования, распространение культуры «вширь» и, конечно, победу в Великой войне (которая, впрочем, не может заслонить катастрофические поражения начального ее этапа) следует отнести на счет сталинского реставраторства, пусть и частичного, и топорного. Советский режим при Сталине и после него — это хамелеон наоборот: он меняет свою сущность, оставляя неизменной окраску, дабы убедить всех и самого себя, что он по-прежнему красный.

В головах «советских людей» царил путаница, которую невозможно воспроизвести, и нелепо к этому стремиться.

Как бы то ни было, мнение, что «Стрелков — благородный белогвардеец, но Новороссия — это Красный проект», насколько я могу судить, явно преобладает в Луганске и разделяется многими в Донецке. Для полноты картины замечу, что кроме «белых» и кроме «красных» сталинистов, в обеих республиках есть еще и коммунисты ленинско-троцкистского пошиба, и анархисты, и даже увлеченные читатели «Mein Kampf» (да, да, и они тоже!), «зигующие» при встрече. Der Nebel des Krieges, «туман войны» (выражение знаменитого Клаузевица) дополняется и осложняется идеологическим туманом.

Надежды на то, что Новороссия в ее нынешнем, «сжатом», включающем две области, виде сделается своего рода стартовой площадкой, отталкиваясь от которой «русский мир» рванет вперед, что именно здесь пробудится «русская весна», которая с хохотом прогонит зиму (воспользуюсь образом поэта), вряд ли имеют основания.²⁰ Скорее события в Новороссии могут стать катализатором

духовных процессов, которые идут в России. Это в Москве возрождается православный консерватизм, по многим признакам близкий Белой идее (хотя об этом обычно не говорят открыто), а Ильин становится едва ли не официальным идеологом Кремля. К сожалению, усвоение такого рода консерватизма остается пока поверхностным и в то же время верхушечным, слабо затрагивающим реальную культуру в различных ее проявлениях. Строка, написанная Константином Случевским более ста лет назад, гораздо актуальнее звучит сегодня, чем в его время:

Есть нефть, но нет жрецов огней.

(Нефть тогда добывалась почти исключительно на Апшеронском полуострове, древнем пристанище огнепоклонников, но, конечно, о «жрецах огней» поэт говорит в фигуральном смысле.) Сегодня не хватает «жрецов огней», способных зажечь умы и сердца стремлением к подлинному обновлению жизни. Но слава Богу за то, что появились хотя бы отдельные «точки возгорания».

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Борьба продолжается (нем.).

² Bardeche M. Fascismo 70. Sparta e I Sudisti. «Edizione del Borghese». Roma. 1970, p. 83.

³ Ruspravda.info/Pochemu-Zapad-vdrug-razglyadel-na-Ukraine-fashistov-7695.html

⁴ Натиск на восток (нем.).

⁵ Зиньковский М., Герасименко Е. Борьба продолжается. Национал-социализм как он есть. Харьков. ЧП «Див», 2008. С. 10.

⁶ <http://wotanjugend.info/articles/2014/08/rus-kak-metafizicheskiy-proekt-dlya-ukrainyi/>

⁷ marochkina. wordpress.com/2010/03/22/analiz-ultrapravyyh/

⁸ По опыту службы в армии (1954—1957, задолго до появления «дедовщины») свидетельствую: в отношениях между «срочниками» разных национальностей преобладало дружелюбие или, по меньшей мере, терпимость.

⁹ vu.ua/article/Igor_Bercut/web_chats/76.html

¹⁰ Зиньковский М., Герасименко Е. Указ. соч., с. 134.

¹¹ avrsiya.info/xerberler/743-obraschenie-boysov-belogo-molota-pravogo-sektora-i-chasti-sotnikov-samooborony.html.

¹² <http://wotanjugend.info/news/2014/10/intervyu-igorya-garkavenko-revoljutsiya-nachataya-v-kieve-prodolzhitsya-v-rossii>

¹³ Зиньковский М., Герасименко Е. Указ. соч., с. 139.

¹⁴ Между прочим, сохранилась фотография, на которой Гитлер снялся в своем кабинете с Молотовым как раз на фоне «Острова мертвых». Это вышло, наверное, случайно, но вышло символично: встретились носители двух глубоко различных идеологий, которым (идеологиям) суждено было сойтись в одной роковой точке. Гость из СССР «представлял» идеологию, исполненную земного оптимизма, который подкреплялся еще сохранявшимся в русском народе крестьянским эпическим спокойствием перед круговоротом рождений и смертей.

¹⁵ www.pravoslavie.ru/analit/5147.htm

¹⁶ Дроздовский полк (по имени полковника, впоследствии генерала М.Дроздовского) — один из четырех офицерских полков Белой армии (у каждого из которых была своя особая форма). Летом 1920-го в ходе последнего наступления, предпринятого белыми из Крыма, дроздовцы, развернутые в дивизию, воевали как раз на территории нынешних Донецкой и Луганской республик. А мелодия Марша дроздовцев была хорошо знакома в СССР, будучи положенной на новый текст: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...»

¹⁷ [/2014_01/140902antonov_glavnaja_oshibka_liderov_novorossii.pdf](http://2014_01/140902antonov_glavnaja_oshibka_liderov_novorossii.pdf)

¹⁸ «Сейчас», то есть в момент, когда пишутся эти строки, на календаре конец января.

¹⁹ Nyka-huldra.livejournal.com/7096087.html

²⁰ Их, наверное, было бы больше, если бы Новороссия возродилась в своих исторических границах, включающих такие культурные центры, как Харьков и Одесса.

Александр Тарасов

Одесса: обнять и заплакать

Многих удивляют — особенно после трагедии 2 мая — покорность и апатия Одессы, так контрастирующие с восставшим Донбассом. В соцсетях буквально тысячи пользователей успели написать «Одесса слилась», «Одесса сдалась», «Одесса скурвилась». Одесситы — противники киевской власти на это реагируют болезненно, но толком ничего объяснить не могут. Действительно, ведь речь идет о том самом городе, который уже 23 февраля ответил на переворот в Киеве десятитысячной стихийной демонстрацией протеста (в Донецке в тот день на митинг пришло не более 3 тысяч, а в Луганске — и вовсе не более 500 человек, причем митингующих обстреляли, трое были ранены), а 23 марта собрал тридцатитысячный антиправительственный и антифашистский марш и митинг, чем может похвастаться, кроме Одессы, один только Севастополь. И вдруг — после 2 мая — все кончилось. Антиправительственная активность упала до уровня Харькова, если не ниже. Где же эти тридцать тысяч?

Сетевые «стратеги», которые только сейчас заинтересовались политикой, пишут: не может 2 мая так запугать миллионный город. Наоборот, дескать, трагедия в Доме профсоюзов должна вызвать гнев и желание мстить. Почему, дескать, нет одесских «народных мстителей», одесской «Молодой гвардии», одесской РАФ?

Во-первых, конечно, может. И именно в Одессе. Хотя из города и уехало огромное количество евреев, Одесса по-прежнему считает себя «очень еврейской» — и именно Всесожжение (Шоа, Холокост) должно было произвести на одесситов особенно травмирующее и парализующее впечатление. Во-вторых, Одесса действительно не Донбасс.

Я побывал еще в той, допереворотной Одессе — и использовал поездку для социолого-политологических наблюдений. Даже хотел написать об этом статью и назвать ее «Город, медленно добиваемый капитализмом». Не написал, так как не понимал, кому это может быть интересно и для чего нужно. Вот теперь, когда «старой мирной» Одессы больше нет, я понял, для чего эти наблюдения нужны.

Одесситам присущ экзальтированный (и показной) городской патриотизм. Они настойчиво пытаются всем доказать, что Одесса — уникальный, чудесный, выдающийся (в том числе по своему духу) город, родина огромного числа великих писателей, музыкантов, артистов, беней криков и анекдотов. «Жемчужина у моря», «город каштанов и куплетистов», «и Молдаванка, и Пересыпь», «все равно в Одессе будет тесно», «в цветущих акациях город»...

Все это в прошлом. Одесса перестала быть «культурной столицей» и уникальным городом. Никакая «Юморина» тут не поможет, тем более что выглядит эта «Юморина» — как и вся Одесса — удручающе провинциально. За

двадцать три года «незалежности» город превратился в заштатный облцентр — заброшенный, на глазах деградирующий, но пытающийся пыжиться.

Пылкие патриоты Одессы допустили ситуацию, когда город даже внешне дошел до неприличной запущенности. Таких разбитых в хлам тротуаров (понятно, не на Дерибасовской и вообще не в «туристической» зоне в центре, а во *всем остальном* городе) я не видел и в российских облцентрах в 90-е. Непонятно, как по этим тротуарам перемещаются старушки, инвалиды и мамы с колясками. Зато автодороги содержатся в очень хорошем состоянии. Сразу видно, кто, с точки зрения властей, люди первого сорта, а кто — второго. В городе — огромное количество десятилетиями не ремонтировавшихся медленно разрушающихся домов. Зайдите в такой типичный дворик — и у вас возникнет полная иллюзия, что вы попали если не в дореволюционную, то в послевоенную Одессу. Местное телевидение, пока я был в городе, без конца давало сюжеты о заполненных нечистотами подвалах, обваливающихся лестничных маршах, протекающих крышах и т.п. Один сюжет был по-своему примечательный. Съёмочная группа поднялась с жильцами на чердак, чтобы показать вот такую дырявую крышу, и жильцы при этом рассказывали, что эта крыша по документам, оказывается, отремонтирована еще пять лет назад, поэтому убедить городские власти в необходимости ремонта невозможно. На самом деле, конечно, деньги на ремонт украли. И вдруг в углу чердака пришедшие обнаружили здоровую кучу рулонов рубероида. То есть все не так плохо! Пять лет назад украли, оказывается, не все деньги! Украли только те, что были отпущены непосредственно на ремонтные работы, а сам материал, оказывается, честно закупили! Жильцы были несказанно удивлены. Они думали о городских властях хуже.

Пока я был в городе, то там то сям без конца происходили экстренные отключения электричества. Энергетики утверждали, что дело в перегрузках: понаставили, мол, кондиционеров (тогда слово «кондиционер» еще не было синонимом разрушительного оружия). Одесситы в ответ утверждали, что дело в обветшалых электросетях, которые никто лет по двадцать не обновлял...

Самое печальное, что горожане к этому привыкли и запущенность Одессы *не замечают*. И только когда им на это указываешь, они словно просыпаются и соглашаются с тобой. Но часто добавляют: «Это вы еще не видели, что было при Жабе!» «Жабой» в городе зовут Эдуарда Гурвица, который был мэром Одессы в 1994–1998 и 2004–2010 годах. Герой многих криминальных скандалов, человек, по которому плачет тюрьма, расхититель и приватизатор и, конечно, украинский националист (сейчас — «ударовец»), Жаба прекрасно себя чувствует и сегодня, пытался недавно стать мэром и считается одним из организаторов «Одесской Хатыни» 2 мая — в этом его публично обвинил даже один из ближайших соратников. Из постоянных отсылок к «Жабе», кстати, следует, что при Януковиче тут воровали меньше, чем при националистах.

Поразительна запыленность города. То, что Одесса — пыльная и в ней проблемы с водой, это еще из Пушкина известно. Для расположенного в причерноморской степи и незамощенного города это было естественно. И так длилось вплоть до революции, почему все сколько-то богатые одесситы на лето из города сбегали. Совсем не левая (кадетская) газета «Одесский листок» в начале XX века публиковала такие вирши:

Крез на даче ароматной
Забывает пыли гнёт,
А бедняк весь день, понятно,
Пыль глотает, пыль клянёт...

Советская власть — отдадим ей должное — улицы заасфальтировала, город обильно засадила зеленью, проблему с водой решила. Но чтобы ситуация не ухудшалась, не должно быть уплотнительной (тем более многоэтажной) застройки, старые зеленые насаждения, убиваемые автомобильными выхлопами, надо заменять новыми, улицы надо чистить, подметать и поливать. Первый пункт в условиях власти денег неосуществим, второй и третий требуют наполненного городского бюджета, что для «незалежной» — проблема. Сами одесситы (особенно молодые), похоже, уже не замечают, что город запылен, из всех, с кем я разговаривал, другой — непыльной — Одессу помнит один-единственный дедушка-болгарин, коренной одессит 1928 года рождения. Он говорит, что проблема с пылью была решена в 60-е и все было более или менее нормально следующие лет двадцать пять.

Дырявый городской (и областной) бюджет — это результат экономической катастрофы 90-х, от которой более всего пострадала промышленность (по промышленному спаду Украина тогда обогнала даже Россию). Конечно, промышленность обвалилась по всей стране, включая Донбасс. Но в Донбассе было столько предприятий, что сколько бы шахт и заводов ни обанкротили и ни закрыли, оставалось еще очень и очень много. А Одесса всегда была торговым, портовым и курортным городом. Ее промышленный потенциал был куда меньше и, кстати, куда меньшим престижем пользовалась работа в промышленности. У меня сложилось впечатление, что город в последние годы спасали Одесский порт, предприятия нефтехимии (в первую очередь НПЗ и Припортовый завод), предприятия пищевой промышленности и обслуживающие их (оборудование для пищевого производства, ремонт, тара) плюс курортный сезон. В советский период Одесса была очень крупным машиностроительным центром. Машиностроение уцелело, но это — более чем бледная тень прошлого.

Меньше доходов — меньше налогов. Удивительная фискальная система, созданная на Украине, когда все налоги уходят в Киев, а Киев потом по своему усмотрению часть денег возвращает на места под именем «дотаций», заведомо обрекала и обрекает Одессу на роль заурядного провинциального города — без всяких шансов на возрождение. Деграция промышленности повлекла за собой культурную деграцию: сокращенному, раздробленному, занятому *выживанием* производству не нужна научная база (всякие там НИИ) и большое количество специально подготовленных кадров. Университеты переориентировались на выпуск «менеджеров», то есть *никого ни для чего*. Люди, получившие хорошее высшее техническое образование (а то и два), переквалифицировались во владельцев всяких кафешек, для которых это образование явно избыточно (а для официантов и кассиров избыточно любое образование выше семи классов школы).

За счет чего, кстати, выживают эти кафешки, понатыканные иногда через дом, я не понимаю: даже в сезон не видел переполненных, *всегда* полно свободных мест, даже вечером. Зачастую кафе вообще пустуют. В несезон, видимо, должны пустовать тотально. Похоже, больше половины этого бизнеса существует для отмывания денег.

Кроме кафе, Одесса поражает переизбытком аптек, банков, маникюрных салонов и мелких, говоря московским языком, риэлторских контор (в Одессе эти конторы важно именуются «агентствами недвижимости»). В отличие от Москвы, в этих конторах принято вешать объявления прямо в витрине (или на специальном стенде рядом). И все витрины забиты объявлениями «продам квартиру». Ни разу я не видел слова «куплю». Что тоже свидетельствует об упадке города: народ из Одессы разбегается. Вообще, складывается впечатление, что люди в этом городе рождаются для того, чтобы получить образование, продать квартиру, положить вырученные деньги в банк, затариться лекарствами, сделать маникюр — и слинять из Одессы. Моя квартирная хозяйка рассказала: из всей ее параллели в школе (три выпускных класса) в Одессе осталось *четыре* человека! Остальные разъехались по миру — от Харькова, Киева и Москвы и до Нью-Йорка, Иерусалима и Сингапура.

Такого позорища, как городской парк им. Шевченко в Одессе, я с 90-х годов нигде не видел. Высохшие фонтаны, чахлая трава, искалеченные памятники, какие-то облезлые заборы и ворота (как потом выяснилось, ведущие на детскую площадку), совершенно безобразного вида руины, заросшие кустарником (просто Чернобыль!)... При попытке узнать у стариков-одесситов, что это за руины, выяснилось, что руин там масса: Зеленый театр, построенный в 30-е годы, плескательница, шахматный павильон, эстрадная площадка «Ракушка», да еще развалины Карантинной стены и некогда элитного роддома № 6... А ведь это — центр города! Центрее некуда: с одной стороны — знаменитая Греческая, с другой — еще более знаменитый Ланжерон. Посмотрев на этот позор, я понял, что типичному одесситу, как бы сильно он ни бил себя в грудь и ни кричал о любви к городу, на все, что не приносит дохода, в Одессе плевать. И вот тут очень хорошо видно отличие Одессы от Донбасса. Донецкая агломерация возникла в такой же безводной степи, да еще и усугубленной терриконами, курящимися серой и прочими полезными химическими веществами. Озеленять и благоустраивать местность начали только с 1926 года. Без канала Северский Донец — Донбасс в этой агломерации просто невозможно было бы жить, моря под боком, как в Одессе, нет. Но терриконы методически засаживали лесом, а новые насыпали уже с учетом природоохранных требований. Городские скверы, парки и вообще насаждения даже в 90-е поддерживались в очень приличном состоянии. Тот самый «страшный» Ахметов, которого сегодня в чем только не обвиняют, знал, что без зелени в Донбассе не выжить, — и выделял на озеленение деньги. И в июле, и в августе в Донбассе с каким-то даже вызовом — уже под обстрелами и бомбежками — работали коммунальщики-озеленители. В отличие от одесситов, донбассцы *гордились* своими парками и скверами и работу в них не считали зазорной, пусть она и не приносила барыш.

А ведь форменных развалин в Одессе и без этого парка полно. Даже я, приезжий, видел развалины на Молдаванке, натуральные руины заводских корпусов на Котовского, развалины больницы на Пастера. Но самое сильное впечатление — и как признак деградации города, и как свидетельство социального расслоения — на меня произвели трущобы на улице Куйбышева. Представьте себе: знаменитый Привоз, напротив которого сооружена целая линия шикарных домов в стиле постмодернистского маразма, с бутиками и прочим роскошеством на первых этажах, а в тылу этого великолепия (*буквально* в тылу, с задней стороны этих домов) — небольшая улочка Куйбышева (она, конечно, переименована в Старорезничную, но таблички с надписью «Куйбышева»

висят!), на которой — куча каких-то старьевщиков, собирателей бутылок, коммисионок и т.п. И главное — дома. Настоящие разваливающиеся трущобы — как в кино про страны «третьего мира» или о капитализме первой половины XIX века. В грязных жуткого вида двориках, с серой от пыли чахлой зеленью среди грязных собак под разбитыми окнами копошатся маленькие грязные дети, играют — обсыпают друг друга этой серой пылью! Я думал, тут расселенные дома и живут бомжи. Я был не прав. Это — «нормальное» жилье, известное как «Климовский квартал», где из поколения в поколение живут коренные одесситы. В мае 2013-го один из этих домов частично обрушился, два человека попали в больницу (крушение произошло в середине рабочего дня, иначе пострадавших было бы больше). Многие пострадавшие до сих пор маются без жилья. В октябре прошлого года обвалилась другая часть того же дома. Кстати, выяснилось, что после майского обрушения люди там два месяца жили без электроэнергии. После чего одесситы заинтересовались, а сколько у них в городе вообще таких аварийных домов. Оказалось, *сотни*. С 2011 года жильцов тех домов, что официально признаны аварийными, в Одессе освобождают от квартплаты. В 2014 году таких жильцов оказалось четырнадцать тысяч, а число домов, признанных аварийными, дошло до 980 (почти тысяча!) и продолжает расти.

И это кричащее неравенство и социальное расслоение — трущобы рядом с шикарными новостройками для нуворишей — можно увидеть не только около Привоза. По всему побережью — так близко к морю, как только позволено — вырастают дико безвкусные, уродливые, но «модные» высотки, за забором и с частной охраной. А рядом — здания начала XX века. Например, на ул. Веры Инбер это очень эффектно смотрится. Правда, старенькие домики выглядят как-то по-человечески, мило и уютно, а новые «шикарные дома», такое ощущение, что построены специально для биороботов и садомазохистов. Но, видимо, они как раз отвечают вкусам «новых украинцев». На Фонтанах, кстати, то же самое: плохонькие частные дома соседствуют с новопостроенными безвкусными поместьями и гостиницами. Правда, на новостройках я видел плакаты «срочно продам», а «шикарные» многоэтажки явно были не заселены и наполовину. На 16-й станции Большого Фонтана прямо внутри трамвайного кольца высится огромная заброшенная стройка. Не знаю, может, к настоящему моменту дом достроили, но сомневаюсь. Кризис-то углубился.

Еще один признак упадка и обнищания города — барахолки. В Одессе по меньшей мере три барахолки — у Северного рынка, у Южного и у Староконного. У Староконного — самая большая. По одну сторону рынка — то, что в Москве называется «Птичка», Птичий рынок. Торгуют там разными животными, в том числе явно криминально добытыми (мне предлагали двух совят разных видов, одного, кажется, «краснокнижного»), а с трех других сторон — на *кварталы* (!) вдоль Мастерской, Раскидайловой, Ленинградской, Ризовской — огромнейшая барахолка, где торгуют (вернее, пытаются торговать) всяким старьем: одеждой и обувью, мебелью, книгами, посудой (в том числе совсем жуткой, выщербленными чашками без ручек и т.п.), открытками и конвертами, значками, пуговицами, игрушками, орденами и мундирами, флагами, проводами и розетками... Несчастного вида бабушки и дедушки, алкогольной внешности старьевщики (в Одессе их зовут «тряпичниками») пытаются продать вещи, которые явно никому не нужны и которые в здравом уме никто не купит. Например, старые шариковые ручки. Непарные туфли. Ржавые плоскогубцы. Сломанные часы. Я видел водолазный костюм 40–50-х годов, который может потребоваться разве что

музею (но в профильном музее такой наверняка есть). Видел перочистку (господи, кому может быть нужна перочистка и какой процент населения вообще помнит, что это такое?!). Только полное безденежье может заставить людей стоять долгими часами (иногда на жаре, иногда под дождем или снегом) и пытаться продать за сущие копейки эти обломки ушедшего быта. Самое неприятное: множество одесситов *не понимает*, что эта грандиозная барахолка — свидетельство того, какое количество горожан живет в бедности и нищете; эти одесситы барахолкой *гордятся*: дескать, смотрите, какая у нас барахолка, сколько там всего!

В Донецке — тоже городе-миллионнике — до нынешней гражданской войны, как и в Одессе, было три барахолки: у Дворца спорта «Шахтер», у Привокзального рынка и у радиорынка. Но даже все три, вместе взятые, они по размерам и в подметки не годились барахолке на Староконном. И главное, они были даже не барахолками, а типичными для Европы «блошиными рынками»: тут продавали в основном то, что называется антиквариатом и винтажем. Скорее это были «клубы по интересам», где перед каждым продавцом толпились собственные приятели-покупатели: у букинистов — свои, у филателистов — свои, у нумизматов — свои, у ценителей винила — свои. И это не потому, что Донецк был богаче Одессы. Наоборот, экономическая катастрофа 90-х здесь была круче. И 90-ми не кончилось. В 2000-х на предприятиях одного только Ахметова сократили свыше тридцати пяти тысяч мест. Дело в другой, «совковой» ментальности: в Донецке торговали, но не гордились этим, как в Одессе, и барахолки были не столько отчаянным способом выжить, как толкучки во времена гитлеровской оккупации, сколько стихийным инструментом психотерапии...

Еще одно свидетельство обнищания и упадка Одессы — огромное количество комиссионных и секонд-хендов. Буквально в шаговой доступности, где бы ты ни жил — как минимум пара секонд-хендов. И там всегда есть народ. В дорогих магазинах в центре тоже есть народ. Но меньше и другой.

Впечатляют, кстати, одесские «новые украинцы». В России таких нет уже лет десять-пятнадцать (разве что в глубинке): либо перестреляли друг друга, либо пообтесались. Каких персонажей я там наблюдал, с какими татуировками, с какими «голдами», с какими «гимнастами»! Ведут себя соответственно — демонстрируют, как полагается «быкам», презрение к окружающим. Рассказали мне, что на Фонтанах перед одним маленьким кафе есть самодельный памятник Карлсону. Съездил посмотреть, нашел, сфотографировал. Внезапно откуда-то вылетел типичной внешности жлоб и с характерным западенским произношением стал кричать, чтобы убирались, потому что тут частная собственность, и фотографировать нельзя, потому что частная собственность. О том, что мультипликационный Карлсон — тоже в некотором роде частная собственность (на него есть авторские права у создателей мультфильма), этот жлоб, конечно, не задумывался.

Между тем вот эти «понаехавшие» — такой же важный фактор культурной деградации Одессы, как и деиндустриализация с коммерциализацией. Массовое закрытие предприятий стало одной из причин массовой же эмиграции одесских евреев и греков. Еврейской и Греческой улицам вернули их старые, досоветские названия, вот только самих евреев и греков почти не осталось. Даже греческий музей «Филики Этерия» существует на средства дефолтной Греции (афинского Фонда культуры), без которых он давно бы загнулся. Уже упоминавшийся

дедушка-болгарин жаловался, что раньше в Одессе никто не принимал его за еврея или грека (легко отличали), а теперь это происходит постоянно — особенно с «понаехавшими с Винницы». Эмигрировавшие одесситы два десятилетия потихоньку замещались переселенцами — частью из других городов и сел Одесской области, а частью из соседней Винницкой. Этих винницких селян коренные одесситы очень не любят, зовут, разумеется, *рогулями* (именно в Одессе я впервые услышал это слово) и потешаются над их попытками выглядеть потомственными местными жителями: одеваться якобы по-городскому, говорить, как им кажется, по-русски с примесью одесских жаргонизмов, корчить из себя «патриотов города» и т.п. Это действительно смешно: приезжих выдают отсутствие вкуса и бескультурье, незнание города, наконец, акцент. Коренные одесситы говорят хорошим и правильным русским языком, с произношением, отличным от московского или питерского, но не южнорусским, они «акают», а не «гакают», говорят не «Одэса», а «Адеса». Когда на каком-то митинге одесского Майдана появился плакат «Вова, Одесса тебе не мама. Гэть!!! Бекицер домой!!!», одесские блогеры разразились издевательскими комментариями, что ни один настоящий одессит не напишет «гэть» и «бекицер». Действительно, *настоящий* одессит напишет «*бикицер*». Старики, с которыми довелось поговорить, все дружно последними словами крыли фильм «Ликвидация» с его псевдоодесским языком: как они говорили, это — шаржированный язык одесских еврейских анекдотов, а не язык советской Одессы.

Вообще, в городе оказалось можно говорить только со стариками, букинистами и тряпичниками: все они (даже пьяненькие тряпичники) были неизменно вежливы, благожелательны и готовы ответить на любые вопросы, все рассказать и, главное, знали город. И единственные радовали знаменитым одесским юмором. И все при этом вполне аргументированно объясняли, насколько губительным оказался для Одессы капитализм. Букинисты, собирающиеся на Куликовом поле недалеко от трамвайного круга, рассказали, что когда-то у них было в Одессе «Общество книголюбов», но при капитализме оно пало жертвой классового расслоения — и одни любители книг или уехали, или пребывают в таком вот жалком виде с этой стороны Куликова поля, ближе к Итальянскому бульвару, а другие, кто сделал из продажи книг бизнес, теперь владеют красивыми книжными рядами на Александровском проспекте (букинисты из принципа именовали его «проспектом Мира»). Побывал я в этих рядах (одесситы называют их «Книжкой») — и ничего не купил. Покупать там было нечего: это были не букинистические ряды, там были книги, изданные в последние годы в Москве и Петербурге, таких и в московских магазинах полно. И разговаривать с продавцами было не о чем. И выглядели они соответственно: купчиками, которым все равно, чем торговать — книгами или презервативами...

Только торжествующая победа местного торгашеско-гешефтмахерского жлобья в симбиозе с жлобьем винницко-рогульим могла породить в Одессе такое воплощение пошлости, как бульвар Жванецкого. И сам-то по себе Комсомольский бульвар, срочно переименованный в «незалежной» в бульвар Искусств, не шедевр. Но надо было его окончательно испохабить, назвав — при жизни, а еще ругаются на Сталина! — именем сомнительного юмориста и «украсив» табличками с разными пошлыми высказываниями Жванецкого, вроде «Одно неловкое движение и вы отец» (орфографию и пунктуацию сохраняю, так — с двумя ошибками — табличка и висит). А начало бульвара изуродовать довольно-таки безвкусным памятником Апельсину, постмодернистски эклек-

тичным и более всего напоминающим воплощение в бронзе иллюстраций Кирилла Соколова в книжной серии «Пламенные революционеры»... Одесситы обозвали это убожество «памятником Взятке» (он действительно увековечивает взятку апельсинами императору Павлу I), но единственное, чего смогли добиться, — это чтобы его перенесли на бульвар от Археологического музея, где памятник торчал как натуральное глумление над изящным классицистским зданием и к тому же напрочь убивал соседнюю мраморную копию Лаокоона.

Изменение в составе населения города сказалось на всех областях жизни и культуры Одессы. Скажем, на театре. Примитивизация публики заставила примитивизировать и опошлить репертуар, а заодно и отняла стимулы к хорошей игре: зачем стараться, если разбогатевшие «селюки» нюансов не видят и с радостью принимают любое исполнение, да еще и реагируют даже на хрестоматийные вещи так, словно не учились в средней школе. Да и театров в Одессе для миллионного города недопустимо мало: три-четыре. Но когда «при Жабе» именно так публично сказал Иосиф Райхельгауз (который — как коренной одессит — готов был даже для исправления ситуации взять какой-нибудь из театров на себя), его заклеили как «очернителя». В Одессе, дескать, двадцать театров. Да, это правда. Но в основном это *очень странные театры*. Например, Первый театр мыльных пузырей (первый, понимаете, первый! скажите это испанцу Пепу Боу!). Или Одесский театр рок-оперы им. Е.Лапейко. Я, как человек, не чуждый советскому року, просто впал в ступор: это кто же такой был Е.Лапейко, что его именем назвали целый рок-театр?! Оказалось, не был, а есть. Оказалось, это местный якобы рок-композитор, сочинитель якобы рок-опер. А еще, рассказали мне, он играл в совершенно вторичной местной группе «Провинция», сочинил убогий (и не без плагиата) гимн «Юморины» и остался у некоторых в памяти как автор адресованной невротизированным подросткам песни «Преждевременное семьяизвержение». За все это его именем в Одессе при жизни назвали целый рок-театр. Эндрю Ллойд Уэббер плачет от зависти.

Одесситы по старинке хвастаются своими тридцатью музеями. Но поскольку сами там были последний раз на экскурсии в школе, не рассказывают ни об их состоянии, ни о числе посетителей. Хотя, говорят, «при Жабе» было куда хуже: в местной прессе публиковались отчаянные статьи с заголовками вроде «Одесские музеи. Хранители прошлого стесняются смотреть в будущее» или «Одесские музеи опасны для жизни». При «ворюге» Януковиче что-то подлатали. Хотя вот, например, в знаменитом Музее западного и восточного искусства мне практически ничего увидеть не удалось: подавляющее большинство залов было на ремонте. Ремонт этот, кстати, тянется с 2006 года и прославлен тем, что в ходе его из музея умыкнули и вывезли в Германию полотно Караваджо «Поцелуй Иуды». В общем, есть чем гордиться. А вот в Литературном музее стало очевидно, что есть и другие проблемы: идеологические. Работникам явно спустили сверху «указивку» выставить Одессу родиной украинского национального движения и затушевать революционное прошлое города. Понятно, что сделать так — загубить экспозицию. Отдам должное сотрудникам: они прямо-таки с героической изобретательностью и требования начальства выполнили, и врать не стали, музей не опозорили.

Глубокую провинциальность нынешней Одессы выдает и микроскопическое для миллионника число галерей и выставочных залов. Нет, там бывают выставки (как и положено) «актуального искусства» — и их даже настойчиво

рекламирует местное телевидение. Но я, именно посмотрев эту рекламу, понял, что не пойду туда, даже если заплатят. С донецкой «Art Point» это, конечно, и сравнить нельзя — и не потому, что одесситы такие умные и ученые, что понимают, что «актуальное искусство» — это шарлатанство, а потому, что они стали безнадежно провинциальны. Впрочем, чему же удивляться, если главным «современным художником» в городе считается Александр Ройтбурд, в стилистическом отношении вторичный, а в смысловом — пошло-похабный.

Одесса и в советские времена была мастером самопиара. В постсоветские это стало просто главным занятием и основой выживания. А вот многие ли знают, что в «гопническом» Донбассе — пятьдесят театров? Из которых больше половины — народные, любительские (вот вам и «алкаши» и «ватники»!). И около сорока театров (то ли тридцать восемь, то ли сорок два) — в основном тоже народных — погибло за годы «незалежности». Многие ли знают, что в Донецке регулярно проходят театральные фестивали «Звезды мирового балета», «Театральный Донбасс» и «Золотой ключик»? Что в Донбассе чуть ли не двести музеев? То есть, конечно, столько театров и музеев было до того, как украинская армия отправилась «европеизировать» донбасских «совков»...

Центральный Донбасс — это огромная агломерация, промышленные города, перетекающие друг в друга, с общим населением в несколько миллионов человек. А вот одесская недоагломерация тянется только до Черноморского, Дачного и Ильичевска. Донбасс всегда ощущал себя единым целым (в это целое входила и российская часть Донбасса), своего рода «отдельной нацией». Одесситы тоже готовы называть себя «отдельной нацией», но лишь называть. В Донбассе (во всяком случае, в его индустриально-урбанизированной части) действительно сформировались отдельный, самостоятельный менталитет, собственные культура, традиции и собственное представление об истории (здесь гордятся Артемом, Криворожско-Донецкой республикой, краснодонскими молодогвардейцами и уважают «суровых мужиков», занятых на производстве). Этот менталитет и эти традиции, кстати, давно находятся в открытом конфликте с тем, что навязывает ученикам украинская школа — даже если не учитывать языковой вопрос.

Донбасс отличается не только от Одессы, но и от всей остальной Украины уже потому, что в нем сосредоточено почти 75 процентов всего украинского рабочего класса. И Донбасс — уникальное явление для Европы вообще. Это *единственный* регион Европы, где в двух областях в промышленности (и в обслуживающей промышленность инфраструктуре) занято 55 и 45 процентов работающего населения. И если в Одессе (или, например, в Харькове) очень многие заводы только числятся работающими, а на самом деле существуют, сдавая корпуса под склады и торговлю, то в Донбассе так ведет себя процентов десять-пятнадцать предприятий. С остальными все честно: либо разорены и разрушены, либо работают.

Одесситы, отбиваясь от обвинений в трусости, говорят, что их запугали и затерроризировали «правосеки» и прочие наемники Коломойского, свезенные в город 2 мая и сидевшие там вплоть до президентских выборов. Это, конечно, правда, но правда не вся. Две-четыре тысячи правосеков не могли бы справиться с миллионным городом, если бы у них не было опоры в самой Одессе. А такая опора была (и есть) — и она *на порядок* больше и мощнее, чем в Донбассе.

Эта база поддержки ультраправых и националистов сложилась из четырех основных категорий.

Первая. Чиновники, политики и обслуживающие их (совсем не бесплатно) клерки-интеллектуалы (всякие журналисты, пиарщики, преподаватели, «деятели культуры», срочно ставшие в «незалежной» «свидомыми»). Вся эта сытая публика — вне зависимости от формальной партийной принадлежности — расцвела и расплодилась за 23 года и особенно, конечно, при «Жабе». Их должности — их кормушка, и любые радикальные политические потрясения (а что может быть радикальнее вооруженного восстания?) угрожают этой кормушке. Одесское телевидение делало репортажи о дебатах в горсовете — и было по-настоящему забавно смотреть и слушать, как отдельные чиновники и депутаты с совсем не украинскими фамилиями принципиально выступали на «ридной мове», с большим количеством ошибок и обильными вкраплениями русских слов.

Вторая категория. Местная буржуазия — крупные, средние и мелкие владельцы, как выражаются на Украине, «бизнесов» (в русском украинском у этого слова есть множественное число). Именно эти «бизнесмены» когда-то составили электоральную опору «Жабы», именно они соревновались в начале 90-х в публичной ненависти к «большеви́кам» и, хотя никаких большевиков к тому времени уже 60 лет в природе не существовало, возлагали на них ответственность за все свои беды и неудачи. В частности, именно их усилиями и их истериками с карты города были тотально стерты все революционные названия. В советской Одессе были улицы, площади, проспекты, спуски Маркса, Энгельса, Ленина, Либкнехта, Люксембург, Бебеля и т.д., включая местных революционеров — Вакуленчука, Островидова, Ласточкина, Жанны Лябурб, Чижикова, Осипова и т.д., а также Потемкинцев, Коммуны, Мира, Советской Армии, Красной Гвардии, 1905 года, 9 января... Переименовали все! Осталась одна-единственная ул. П. Шмидта — и то только потому, что до революции она называлась Тюремной, и у суеверной черносотенной одесской публики вернуть такое название рука не поднялась. Сравните с топонимикой городов Донбасса. Почувствуйте разницу.

Помимо названий, жертвами этого сознательного уничтожения памяти о революции пали и многие советские памятники — их демонтировали (как «правосеки» сейчас), свалили в парке Ленинского Комсомола, где они и были разрушены. Самое позорное, что едва ли не первой жертвой стал памятник Котовскому — возможно, самому известному революционеру Бессарабии и человеку, которому Одесса обязана тем, что в начале 1918 года ее не захватили румыны. Именно Тираспольский революционный отряд под руководством Венедиктова, Котовского и Якира сдержал наступление румын. Армия боярской Румынии, как известно, очень плохо воевала, но феерически хорошо грабила. Во время Великой Отечественной, когда румынские войска оккупировали-таки Одессу, они тоже разворовали что смогли, но их пыл сильно ограничивали присутствовавшие там же немцы. В 1918-м немецкого начальства не было — и захвати румынская армия Одессу, из города точно вывезли бы все вплоть до пуговиц и ниток. И вот именно этому человеку отплатила черной неблагодарностью «свидомая» Одесса. (Опять-таки: сравните с Донбассом!) Кстати, парк Ленинского Комсомола тоже переименовали: теперь это Савицкий парк, по имени дореволюционного владельца. «Свидомых» не смутило даже то, что этот владелец — Савицкий-Воеводский — был главарем банды, содержателем борделя и самым настоящим работником.

Именно эти буржуа, в первую очередь перекупщики-торговцы с Привоза,

стали верной паствой местного отделения фашистской партии «Свобода» (в точности, как когда-то охотнорядцы). В декабре 2012 года они под водительством «Свободы» даже чуть не взяли штурмом горсовет, и выбить их из здания удалось, только применив (на морозе) брандспойты. Как раз среди этих торгашей — много винницких «рогуль».

Третья категория. Студенты местных вузов. Молодежь с промытыми с детства националистической и антикоммунистической пропагандой мозгами, искренне верящая в существование «древних укров», «трипольскую культуру — современника кроманьонцев», изобретение «протоукраи» письменности, а запорожскими казаками — субмарин и в прочий подобный бред. Особенно, конечно, отличаются студенты, которых усиленно пичкают такими дисциплинами, как «украинознатство» и «история Украины». Значительная часть одесских студентов — с Западной Украины. Я их регулярно видел и слышал на улице Довженко, где расположено общежитие университета, и в соседнем магазине «Таврия». Почему-то они разговаривали друг с другом на русском. Но с таким западенским акцентом и на такие... как бы это сказать... малокультурные темы! В одном из окон общежития висел плакат, извещавший, что там расположен «правильный» студенческий союз, и тут же был выставлен флаг УПА.

Конечно, подобных студентов немало и в Донбассе (в том числе и приезжих с Западной Украины). Но там даже в вузах атмосфера была иной. Когда ректоры — под угрозой отчисления — сгоняли донецких и луганских студентов на митинги и марши «За едину Украину», студенты частью не приходили, а в большинстве тихо рассасывались, не дойдя до маршей.

Четвертая — и самая главная — категория: обыватель. Обыватель в норме аполитичен (что всегда на руку сильнейшей стороне в политическом конфликте), но в период нестабильности выявляется, что в разных местах обыватель несколько разный, а потому и ведет себя по-разному. Одесский обыватель — обыватель гешефтмахерско-курортного города, как оказалось, отличается от обывателя промышленного (пусть и серьезно деиндустриализированного) Донбасса. Донбасский обыватель попроще, посуровее, это обыватель «пролетарско-гопнического» региона, в нем нет одесской пляжности, развинченности и болтливости. И если одесский обыватель думает в первую очередь, как бы не стало хуже, донецкий спокойно и фаталистично (да, отчасти с фатализмом гопника, не без того) думает: почему бы не рискнуть — хуже уже не будет.

Эта разница особенно хорошо видна сейчас, когда одесский обыватель усиленно накачивает себя и окружающих тем, что когда-то называлось «австрийскими разговорами». После начала агрессии Германии против Польши и массированных бомбардировок польских городов были в Австрии популярны такие разговоры: «Вот видите, какие мы были умные, что не стали сопротивляться фюреру? Сопровитвлялись бы — Вену и Зальцбург бомбили бы, как сейчас Варшаву и Люблин!» Вот и сегодня одесский обыватель (это легко отследить в соцсетях) заклинает: «Видите, что творится в Донбассе? Если бы мы восстали, то же самое было бы с Одессой!»

Вот только кто мог в Одессе восстать или хотя бы возглавить восстание? Вариантов два: пророссийские организации или левые. Пророссийские представлены были крошечными группками всяких психов с «имперками», которые никакого влияния не имели, и местной партией «Родина», у которой все-таки была вторая по численности фракция в горсовете (первая была у Партии регионов). Но главу «Родины» Игоря Маркова, депутата Верховной Рады, в 2013

году лишили мандата и успешно посадили за участие в уличных беспорядках еще 2007 года. (После падения Януковича ему вернули мандат и выпустили из тюрьмы.)

Куликово поле дало своих, неизвестно откуда взявшихся пророссийских лидеров. Но все это были люди без политического опыта, без структур, без талантов и харизмы. Самые известные — братья Антон и Артем Давидченко — были один за другим арестованы, а пока пребывали на свободе, водили людей глупыми шествиями, устраивали концерты и многочасовую говорильню на Куликовом поле и так же, как и «Родина», делали все, чтобы «избежать обострения». Видимо, не случайно Антон Давидченко, признанный виновным ни мало ни много в «посягательстве на территориальную целостность Украины», был 22 июля осужден на пять лет тюремного заключения и... тут же выпущен из-под стражи, после чего ему дали — вопреки решению суда — выехать в Россию. Сменивший их лидер — Артур Григорян — вообще выглядит как не имеющий никакого представления о политике наивный простак. Если братьев Давидченко арестовывали, то Григоряна, чтобы на время нейтрализовать, просто похитили и держали взаперти.

Об одесских левых и вовсе нельзя говорить без слез. Совершенно бессильная и невлиятельная — в отличие от Донбасса — КПУ (набрала на выборах в горсовет всего 3 процента). Анекдотические микроскопические «неавторитарные левые» (троцкисты и прочие «евролевачки»), пытавшиеся примазаться к любым протестам и пламенно поддержавшие Майдан (как их «старшие товарищи» в Киеве). Запредельное позорище — анархисты, объединенные в *партию* «Союз анархистов Украины» во главе с «бизнесменом» Вадимом Черным, владельцем двух «почти легальных» борделей — «Зирка» и «Зирка-2» («Токио Стар»), прославившимся требованием бомбить административные здания Донбасса. А местное отделение «Борьбы», конечно, Майдан не поддержавшее, пыталось провести своего лидера Алексея Албу в мэры Одессы. То есть в Киеве, как они говорили — «фашистская хунта», а в Одессе одновременно — «красный мэр»? И эти люди называли себя марксистами.

В Донбассе все было по-другому. Даже у парламентско-оппортунистической КПУ здесь были очень сильные и радикальные организации. Не случайно Луганская область на последних парламентских выборах дала максимальное число голосов за КПУ (25,14 процентов), и там же областная организация КПУ отказалась подчиняться решениям своего киевского руководства, провозгласила себя самостоятельным, отдельным от КПУ «Рабочим фронтом Луганщины» и влилась в вооруженную борьбу и государственное строительство ЛНР. Анархисты в Донбассе были слабы и практически не заметны. А разные неанархистские «неавторитарные левые», которых на весь Донбасс были считанные единицы, больше всего на свете мечтали перебраться в Киев и влиться там в левохипстерскую тусовку.

Население Украины в текущем кризисе продемонстрировало устойчивое желание найти виновников всех своих бед и неудач где-то вовне — в святой уверенности, что само оно ни в чем не виновато, в соответствии со знаменитым анекдотом «А нас-то за що?». Одесситы — не исключение, в том числе и «антихунтовские» одесситы. Среди них распространено убеждение, что все дело в том, что Кремль их «кинул»: вот в Донбасс Кремль «послал Стрелкова», а в Одессу — не послал, поэтому так и получилось. На самом деле вооруженное восстание в Донбассе началось не со Стрелкова. Дело в том, что — в отличие от

Донбасса, способного «по-пролетарски прямо» рубить гордые узлы — торговомаклерская Одесса всегда была склонна *договариваться*. Вот и с местным Майданом местный Антимайдан предпочитал договариваться — тем более что многие лидеры и активисты и первого, и второго хорошо знали друг друга лично (часто по какой-то предыдущей, например, природоохранной, деятельности). Им действительно долго удавалось договариваться. До 2 мая единственное серьезное столкновение с применением насилия между Майданом и Антимайданом произошло 10 апреля, когда майдановцы осадили на 11-й станции Большого Фонтана гостиницу «Променада», где встречались Олег Царев (тогда еще кандидат в президенты) и Артем Давиденко, а Антимайдан, в свою очередь, *взял в осаду майдановцев*. Одесские антимайдановцы знали, что Майдан в городе слаб и малочислен, а местный «Правый сектор» и вовсе *выглядит смехотворно*, и потому к серьезной (тем более вооруженной) борьбе не готовились. Мысль, что правые могут завезти «бойцов» из других городов в Одессу и там расселить, им просто в голову не приходила.

Донбасс и раньше демонстрировал, что он не готов к вечным компромиссам за свой счет. Когда его терпение иссякало, он переходил к языку ультиматумов. Устраивал, например, походы на Киев. В 1993 году такой поход привел к падению кабинета премьера Л. Кучмы и к досрочным президентским выборам. Одесса ничем подобным похвастаться не может.

Массовое закрытие шахт и заводов в Донбассе, ввергшее в нищету население моногородов и монопоселков (нищету, сильно превосходящую все, что было в Центральной и Западной Украине, что признают даже «усмирители» Донбасса), заставило многих задуматься о роли капитализма и западного империализма. Тем более что в другой — российской — части Донбасса точно так же закрывали шахты, и про Россию было известно, что это делается по плану МВФ. Поэтому в Донбассе антиамериканскую и антиимпериалистическую пропаганду встречали на ура. Она могла быть окрашена в конспирологические тона рассказов о «мировой закулисе» или даже принимать характер фэнтези Дугина, но, во всяком случае, никто, кроме местных грантоедов, не выражал сомнения в том, что американский и вообще западный империализм реально существует. В Одессе, которая привыкла кичиться своей «антисоветскостью», большинство встречало объяснения насчет западного империализма со скепсисом и отвечало на них со смехом фразой «Америка замечает следы», принадлежащей известной всему городу полусумасшедшей бабушке.

Социальные низы, восставшие в Донбассе, — это нынешние гезы и санкюлоты. Гезы с санкюлотами, кстати, тоже шли в бой не под марксистскими лозунгами. Донбасские рабочие и безработные знают, что они — санкюлоты, и не стесняются этого (а то и гордятся). Санкюлоты есть и в Одессе — но в Одессе они своего санкюлотства стесняются и хотят выглядеть в глазах окружающих даже не просто буржуа, а *успешными буржуа*.

Донбасс был последним большим арьергардом *советского общества* — и, осознав Майдан как угрозу полной ликвидации всего советского, этот арьергард решил дать *последний бой*. В то же время именно в Донбассе наряду с сохранением постсоветского рабочего класса стал заново складываться классический «Марксов» пролетариат — и этот новый пролетариат смог дать капитализму в Восточной Европе свой *первый бой*.

А Одесса... Если бы я был одесситом и меня на шаржированном одесском спросили «Таки шо ви можете сказать за Адесу?», я бы ответил: «Обнять и заплакать».

Евгений Абдуллаев

Сад никаких времён

Семь поэтических сборников 2014 года

Поэзия наиболее чутка к безвременью. У прозы «жировая прослойка» потолще, проза лучше переживает всякие заморозки. Проза ищет и находит своего читателя. Бойко предлагает себя, пока поэзия стоит рядом и мнется, как бесприданница.

«Человек 30, можно сказать, аншлаг... Хотя в основном пенсионного возраста, конечно. И эта правда безутешна, скоро мы будем читать на кладбищах» (Глеб Шульпяков).

Тем удивительнее, что поэзия все дышит и движется. Не замуровалась в редакциях литжурналов. Не заспиртовалась в филологических колбах. Не растворилась в потоке многошумной интернет-графомании. Живет, одним словом.

В предыдущих годовых обзорах я старался сгруппировать сборники по какому-то признаку. Жанровому, возрастному (авторов), географическому. Решил сломать эту традицию, оставив только привычное число семь. Систематизация — вещь удобная, но мертвоватая. А хотелось показать — беря, раскрывая наугад, прочитывая и зачитываясь — именно живое и незастывшее в современной лирике.

Объединяющей будет метафора сада, присутствующая в названии одного из сборников — Климова-Южина, «Сад застывших времён». Впрочем, «времена не выбирают»...

Пальма и лиственница

Светлана МИХЕЕВА. Отблески на холме. — М.: Воймега, 2014. — 44 с. Тираж 500 экз.

Сад Светланы Михеевой ничем не огорожен и не отделен. Ни от дикой природы, ни от мира людей.

Июнь в золотых доспехах,
Август в медных доспехах
И голый как бог сентябрь.
Я тебя не увижу старым.
Мы вместе растём и зреем,
И на языке растений
Звучим как зерно к зерну...

Редкое — на фоне нынешней тяги к минимализму — «долгое» стихотворное дыхание. Такие длинные периоды сегодня можно встретить еще у Наты Сучковой и... затрудняюсь назвать, у кого еще.

Коротко странствие. День непомерно велик,
Ласков, бесчувствен, размашист, утончен, двулик.
Ласков, как слабость незрелого бледного сыра,
Словно любовник бесчувствен — он видит в окно
Гроб, катафалку, рыдающих. Мёртвое дно
Краткого мига и безразмерного мира...

Поэзия неспешных, парадоксальных перечислений с неожиданными повторами-возвращениями (ласков... ласков... бесчувствен... бесчувствен...). Это придает разумной, несколько отстраненной интонации поэта — вихревое движение, сближающее стихи с камланием.

Ты думаешь: в тебе такая тьма.
Я думаю: в тебе такая тьма.
Мы думаем: земля всего темнее,
Какая в ней уродливая тьма!
И лиственница справа на горе
Как пальма африканская раскрыта
На фоне догорающих небес,
Согласная, гудит: какая тьма!

Лиственница, раскрытая как пальма, «проросла», разумеется, из Лермонтова, «На севере диком». В целом же цитатные переключки у Михеевой довольно редки. Голос, взгляд у поэта — свои, не «вычитанные» у других.

Даже когда появляется явно взятый напрокат у Бродского диван («и потому диван в углу сверкал / коричневою кожей, словно жёлтой...»), «используется» он совершенно неожиданно:

Связка писем и книг — всё увяло.
И диван, что терпел расставанья,
Жёлтой кожей, как переспелая груша,
Треснул...

Посмотрел сейчас на свой диван: какое точное сравнение.

Немного об авторе. Светлана Михеева окончила Литературный институт, отделение поэзии. Дебют в московских журналах, кстати, состоялся на страницах «Дружбы народов» — повесть «Тётя и слон» (2011, № 11). Живет в Иркутске.¹

«Иркутск пока слабо просматривается на литературной карте», писал десять лет назад Науменко².

Стихи Михеевой и других иркутских (или начинавших в Иркутске) поэтов — Акимовой, Сансеевой, Шерстобоевой, самого Науменко — вполне позволяют

¹ Самого Иркутска в сборнике не так уж и много. Чаше встречаются южные страны — Италия, Армения. Даже Африка. Больше всего — крымских стихов, виноградников и акаций. Северная флора возникает в саду поэта в мрачноватом, тревожном свете. «Берёзы мрачные развесили свои / Чудовищные полотенца...»

² Науменко В. Иркутская история. О поэтах Восточной Сибири // Интерпоэзия, 2005, № 2 (magazines.russ.ru/interpoezia/2005/2/naum16.html).

говорить если и не об иркутской поэтической школе, то о некой «иркутской ноте» в современной русской поэзии. Опора на поэтическую традицию, но с раскрепощением строфики и достаточно неожиданным — почти сюрреалистическим — образным рядом.

Сад сельского горожанина

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. Сад застывших времён. — М.: ОГИ, 2014. — 112 с. Тираж 500 экз.

Это сад убегающих тропок
И застывших времён
Из шести героических соток
В небеса устремлён...

Далее — подробное перечисление цветов. Настурции, мальвы, ретровьюнок...

«Случай Климова-Южина, — пишет Артём Скворцов, — доказывает, что и в наши дни можно быть глубоко самобытным поэтом, оставаясь приверженцем традиционной стиховой культуры».

С этим отзывом, вынесенным на обложку сборника, можно только согласиться.

Поэзия Климова-Южина, действительно, выглядит архаично.

Но архаика — как это показал еще Тынянов — вполне может быть современной. Сборник не вызывает ощущения инерции, «вчерашнего дня» поэзии. Поскольку самого «вчерашнего дня» в поэтическом саду Климова-Южина нет: время в нем, и правда, застыло. «Всё уже было и, значит, пройдёт...» «Что год, что сотня...» Это время человека природного, сельского, неторопливо копающегося в земле.

Разделение лирики на урбанистическую и сельскую все еще сохраняется. Первая, конечно, преобладает — и диктует свои правила игры. Изломанную ритмику, фрагментарность, сжатость.

Сельской — или хотя бы дачной — лирики, с ее неспешностью, консерватизмом, «георгиками», сегодня немного. У Владимира Салимона — в отдельных (лучших) вещах. И у Климова-Южина. Кстати, и Климов-Южин, и Салимон — горожане; более того — москвичи. Но по стихам автора «Сада застывших времён» догадаться об этом невозможно. Изредка мелькнет что-то городское: «И набухает почкой город / В гальванопластике окна». Но в окно лирический герой «Сада» смотрит редко. Он — как и положено сельскому жителю — созерцатель деятельный. Вспахивает землю, поливает, в холода — счищает снег.

...И под дверь намело за порог,
Поднужился, полный
Снега вынул из снега сапог.

И скрипит под лопатой
Снег, увесист и мелкозернист,
Снег, сказал бы когда-то,
Снег, добавлю, ещё бархатист.

Повторы, убедительно воссоздающие неторопливую, чуть косноязычную речь человека, занятого делом — разгребанием снега. И отражающие слегка добродушно-ироничное отношение автора к своему герою. Непрактичному, чудаковатому горожанину, решившему обитать в деревне.

Ульи раздам, а гусей изведу,
Не оберу покрасневшего перца,
Буду от осени в полубреду
Под облетающей яблоней греться,

До холодов экономить дрова,
Печь растоплю, на полати прилягу,
В долгую ночь, забывая слова,
Слушать трубы подвывающей тягу.

Кончится хлеб, так пойду в магазин
С рваной сумою, бедней канарейки,
В ценники жестокосердных витрин
Щуриться слепо, считая копейки...

Завершает сборник поэма «Письма из Чернавы». Место действия — село Чернава («Яндекс» выдал сразу несколько Чернав, но, судя по ряду признаков, эта находится в Рязанской области). Время действия — начало 1930-х годов. Раскулачивание, коллективизация и — две практикантки, две Тани. Москвички, посланные в Чернаву «на Всеобуч».

Та же тема «горожанина в селе», только решенная на ином историческом материале.

«Одной из Тань с родными переписка», переведенная на пятистопный ямб, и составляет поэму (явная отсылка к пушкинскому «Письму Татьяны»). Поэма обаятельна и обстоятельна, с любовным перечислением исчезнувших вещей и названий и какой-то теплой грустью.

Сад, Содом, Саддам

Владимир КУЧЕРЯВКИН. Созерцание С. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 232 с. Тираж 500 экз.

Стильная и строгая обложка — питерский двор-колодец, ад клаустрофоба — обманывает ожидания читателя. Стихи Владимира Кучерявкина — яркие, просторные, неожиданные.

Сад мой нежно расцветает.
Яблони пустили почки...
Над пустыней в раскалённой
Пролетел Саддам сорочке.

Даже если возникает в стихах черный цвет — то совсем ненадолго.

По небу солнце бежит, белое, как мышь.
Деревья за окошком вспыхивают, тают.
В вагон вошла старуха в чёрном, слышь.
Упала на скамейку и стала золотая...

Поэзия, как сказал классик, должна быть глуповата. И — можно добавить — смешновата. Одно из несчастий современной поэзии — ее загустевшая серьезность. Смешных стихов в ней мало, и чем моложе поэты — тем все серьезнее и серьезнее.

Во вступительной статье к книге¹ Данила Давыдов пишет: «При разговоре о Кучерявкине естественным образом возникают ссылки на обэриутство, но — своего рода его "положительный" дериват, в котором трагизм вытеснен в некоторое подсознание текста».

Если немного расколдовать эту ученую фразу, то — да, обэриутство в «Созерцании С.» даже очень чувствуется: удивительно веселое, раскованное, талантливое — и поэтому свободное от какого-либо эпигонства. Кажется, что лирический герой Кучерявкина родился именно вот с таким взглядом на мир. Что он от природы, в силу самой своей мозговой механики мыслит так.

Я в гости пришёл, а за дверью собака
Мне пальцем грозит и кричит на меня.
Я водки купил. Безутешный хозяин
По комнате пляшет один без штанов.

А помнишь, в деревне, как грядки смеялись
Над нами, на спину прыгнуть норовя?
Железобетонная нынче квартира
Оближет шершавым меня языком.

О мокрая эта пустая квартира!
Там голая прячется в щели хозяйка!
Там пьяный поёт на полу телевизор!
И снова ты хочешь в поля убежать!

О друг мой седой и с растерзанной грудью,
Дрожишь ты, как рыба, на пошлом диване,
С тобой посижу, изуверенный водкой,
В сырой полутьме станем вместе дрожать!

Трагизм бытия вполне явлен, но в тигеле поэта мгновенно оказывается комичным. Пожалуй, лишь тема разбомбленного Кенигсберга-Калининграда (откуда родом Кучерявкин), тема войны дана с неожиданно ранящей серьезностью.

Поток поэтических находок, неожиданных образов и сравнений в стихах Кучерявкина провоцирует к обильному, непрерывному цитированию. Закадровый бубнеж критика или литературоведа здесь требуется менее всего. При всей внутренней сложности — это стихи для простодушного чтения. Желательно — вслух.

¹ Есть такая системная беда в поэтических сборниках, выходящих в «НЛО»: длинные зевотные предисловия. Даже Данила Давыдов — до этого ясно и точно написавший о Кучерявкине в «Арионе» (2014, № 1), выдал похлебку из глубокомысленных фраз, вроде: «В среде иных актантов субъект Кучерявкина столь же случаен и столь же естественен, как и все прочие».

Сад рушащихся строк

Инна КУЛИШОВА. Фрески на воздухе (Нервное доверие). — М.: ИП Елена Алексеевна Пахомова, 2014. — 192 с. Тираж 300 экз.

Стихи Кулишовой сложно поместить в какую-то нишу, контекст. Непросто подобрать им что-то близкое. Ни в русской поэзии Грузии, ни, наверное, в современной российской.

Лирика высокого, почти искрящего напряжения.

«Мучительна, трудна форма этих стихов. Рифмы едва держат тяжелые, рушащиеся строки». Это — из рецензии экспертной комиссии «Русской премии-2013» на книгу Кулишовой «От "я" до "аз"» (сокращенную версию «Фресок на воздухе»).

Она купила шампунь для сухих
и повреждённых волос.
В старости все волосы можно считать
повреждёнными.

Неужели я
буду дрожать, кричать, умолять, в кровать
впиваться скрюченными пальцами, ах, врос
ноготь, бо-о-ольно, ещё по лестнице подниматься, до слёз
больно. Дыханию нужно было немного корма,
она взялась за горло,
словно поправила несуществующее ожерелье.
Запах тронул площадку, как смысл стих...

Собственно физической боли в стихах Кулишовой не слишком много. Больше — от обостренного переживания, почти по-цветаевски. Но без разросшегося, метастазирующего «я».

Источник боли — дольний мир, его враждебность, скрытая и явная. Война.

Вот где вырви глаз, руку отсеки,
где вместо матки — ножей штыки,
вместо мальчика на столе —
тело кричащее, ствол в дыре.

Наиболее сильная у Кулишовой все же не военная лирика, а лирика религиозная. Большая часть «Фресок на воздухе» — об этом. О непрерывном обращении человека к Богу, твари — к Творцу.

«Да», — говоришь Господу, словно «Дай»
говоришь. И Он смотрит прямо,
а кажется, будто кротко глаза опустил.

Но Он смотрит прямо, а ты — не в даль,
не в близь, и говоришь, в середине храма,
будто еда посреди стола, у которого сытые спят без крыл.

Но Господь подносит чашу к губам.
«Пей», — Говорит тебе, «Пей», —
говорит. «Ешь, — хлеб без корки ломает. — Ешь».

И ты смотришь на руки свои, в крови, и там,
за воротами просят тебя — налей,
и голодных больше, чем мыслей и слов, за которыми ты идёшь.

О духовных стихах Кулишовой писать трудно — как трудно, не впадая ни в банальности, ни в патетику, вообще писать о духовной лирике. Можно отметить, что у Кулишовой она — менее всего медитативна. Это поэзия напряженного вопрошания, неожиданный росток Кьеркегора в православной поэзии.

Не все стихи, на мой взгляд, стоило включать в книгу: не то чтобы проскочили слабые, но ощущение некоторой избыточности собранного под одной обложкой присутствует. Избыточны и два предисловия — Евгения Веденяпина и Бахыта Кенжеева: предисловия к поэтическим сборникам (уверен) вообще не нужны. Несколько громоздко смотрится и двойное заглавие. Просто «Фрески на воздухе», без «нервного доверия», было бы, думаю, лучше.

Но это — скорее, мелочи.

Книга вышла в «ИП Елена Алексеевна Пахомова» — так называется теперь известное любителям современной поэзии издательство Руслана Элинина (литературный клуб «Классики XXI века»). На обложке «фресочное» небо, крыша с люком, приставленная к люку лестница. Удачное, точно угаданное оформление.

Деревья без скайпа

Мария ВИЛЬКОВИСКАЯ. Именно с этого места. — Алма-Ата: [издательство не указано], 2014. — 72 с. Тираж 100 экз.

Дебютная книга. Мария Вильковиская родилась и живет в Алма-Ате, окончила алма-атинскую консерваторию по классу альты, работала в театре оперы и балета имени Абая. В российской литературной периодике пока не «засветилась» — не считая небольшой подборки на «TextOnly» (2014, № 2).

Верлибры Вильковиской — небольшие стихорассказы, с неожиданным, всегда несколько смещенным взглядом на мир, на «обычное и привычное».

мы роемся в чужой библиотеке
а за окном цветущие деревья
набрали по дешёвке книг себе на старость
когда не будет больше паутины
всемирной скайпа электрического света
и прочих всяких техно-удовольствий
а лишь весна сады цветы и свечи
и пожелтевшие страницы речи

Сборник, как и полагается дебютной книге, неровен. Хватает и необязательных зарисовок и ненужных длиннот (уводящих в «прозу, да и скучноватую»). Лучшие вещи — как всегда, от того, что болит. Отчуждение от своего рода. От своего города, страны — все более «посторонних».

девушка с обложки книжки
Каната Нурова о нац. идее
напоминает мне леди Ди
дедушка с обложки той же книжки
напоминает мне моего
самого первого свёкра
эти образы в моём сознании никак не
складываются в образ страны
которая существует только на карте

политических интересов и бизнес-воображения

 суши с кониной в ресторане JQ
 скульптура местного фюрера в парке его же имени
 с зороастрийскими крыльями за спиной
 окупай Абай в России
 новая речка и расстрел нефтяников
 и моё совершенно непредставимое будущее
 на этом фоне

В продолжение разговора о региональных литературах. За последние лет пять новой алма-атинской литературе удалось заявить о себе. Михаил Земсков, Илья Одегов, Юрий Серебрянский, Павел Банников (редактор и составитель «Именно с этого места»), Айгерим Тажи, Иван Бекетов... Большинство — как и Мария Вильковиская — начинало на литературных семинарах фонда «Мусагет», созданного замечательным литературоведом Ольгой Марковой (1963–2008).

«Алма-атинские» вещи Вильковиской в чем-то перекликаются с интересным алма-атинским циклом Серебрянского¹. Если у Серебрянского воссоздается город 70-х — 80-х, то в «Именно с этого места» — Алма-Ата сегодняшняя. Мегаполис с пестрой смесью азиатского, постсоветского, «глобального» и — медленно исчезающего — русского.

родительский день с его непременным кладбищем
 многообразное столпотворение деклассированных русских
 в ожившем городе мёртвых
 странное впечатление производят группы молодых казахских людей
 в камуфляжной форме
 непонятно зачем стоящие на перекрестках кладбищенских улиц
 очереди за водой на единственной работающей колонке
 и полицейский бобон на выходе
 в который запихивают небольшой цыганский табор

Соблазн чужих садов

Геннадий КАНЕВСКИЙ. Подземный флот: Шестая книга стихов. — New York: Ailuros Publishing, 2014. — 77 с. Тираж не указан.

За публикациями Каневского слежу давно. Года с 2001-го — случайно наткнувшись в сети на выложенные неизвестным мне поэтом талантливые стихи.

Стихи, несмотря на «обще-бродскую» интонацию, запоминались.

Впрочем, «бродскостью», как поздней ветрянкой, переболели почти все тогдашние «тридцатилетние». У Каневского была заметна своя боль, своя обида. Обида за вдруг исчезнувший советский мир. Не идеологический — а надышанный, повседневный. Обостренное ощущение смерти страны как личной смерти.

¹ *Серебрянский Ю.* Рукопись, найденная в затылке: Книга стихотворений. — Алма-Ата: СаГа, 2010.

И вспомни что-нибудь иное,
На выбор. Скажем, створки шлюза,
И ржавый гимн воды проточной,
Переходящий в Гимн Союза
В блаженном сумраке Аида...

Самого Каневского я увидел лет через пять, на вечере «звуковой поэзии». Что-то декламировал дуэтом с Анной Русс, ходил по сцене и притопывал.

В «Новом Береге», «Волге», «Октябре» — встречались иногда его стихи, напоминавшие «прежнего» Каневского. И рядом — не напоминающие совершенно.

Каневский — безусловно, «поэт с историей»: он непрерывно эволюционирует. Но это — эволюция вширь. Через освоение и усвоение всех возможных авторских стилей.

Последний сборник читаешь как путеводитель по современной русской поэзии.

говорят июнь

недолёт

пересвет

говорят

Это — Каневский. И это — Каневский:

когда весёлый недоумок
свернёт в зелёный переулок —
ища прозрений или бед,
сворачивай за ним вослед.

И это — тоже Каневский:

как будто бы с поезда жизнь даже в этом звучит тяжело
крупинку подняв и в платок завернув чтоб себе в оправданье
чемодан раскрывающийся изумлённой рукою перехватив

чистильщики одежды бегут нахваливая своё мастерство
валятся со всех сторон пропилей густопёрые зданья
всё это наконец говорит тебе вот ты и один

Можно процитировать еще «нескольких» Каневских. И это будут или Анна Русс, или Алексей Цветков, или, наоборот, что-нибудь «маникюрное» — Сен-Сеньков или Баранов.

Откликаясь на сборник Георгия Иванова «Отплытие на остров Цитеру» (1937), Ходасевич писал: «Георгий Иванов заимствует именно не материал, ... а стиль, манеру, почерк, как бы само лицо автора... В общем, у читателя создается впечатление, что он все время из одной знакомой атмосферы попадает в другую, в третью, чтобы затем вернуться в первую и т.д.»¹.

¹ Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник: Избранное. Сост. и подгот. текста В.Г. Перельмутера. Комментарии Е.М. Беня. М.: Советский писатель, 1991. С. 607.

Впрочем, если бы «Подземный флот» был только «конгломератом заимствований» (выражение Ходасевича), писать о нем не было бы смысла.

Есть — пусть их меньшинство — и стихи, прорастающие из прежней, «своей» темы поэта.

вы оставайтесь, я уйду.
я уже давно намекаю.
есть ли там музыка, в аду? —
тихая, громкая — хоть какая.

если нет, то я заберу
что-нибудь, саундтрек к рекламе —
чем ещё затянуть дыру
эту, зияющую меж нами?

Музыка как граница между миром живых и миром мертвых. «Гимн Союза / В блаженном сумраке Аида» — из раннего, процитированного выше, стихотворения.

давай известную, чтобы подпеть могли
все гости мёртвые, все пузыри земные,
все те — на корточках — кавказские орлы,
и все клеёнкою покрытые столы,
и ломти воздуха большие, нарезные.
вагончик тронется. останется перрон.
ну опоздаешь же, я всё переживаю.
и строки странные записаны пером.
и плоть прекрасная — пописана пером —
лежит под насыпью и смотрит как живая.

Этот железнодорожный мотив — опять же, из раннего Каневского. Поэтому стих и дышит — при всей внешней цитатности — своим дыханием.

Остается надежда, что в следующем сборнике «своих» стихов у Каневского будет больше.

Сад уничтоженный

Иван ВОЛКОВ. Мазепа: Поэма. — М.: ОГИ, 2014. — 80 с. Тираж 500 экз.

«Здесь *был* город-сад». Так, перефразируя классика, можно выразить главную мысль этой поэмы — плач по исчезнувшему городу.

Внутри — не меньше сорока
Церквей, белёные фасады
Тюрьмы, Суда, Казны и Рады,
И штаба каждого полка.
Расцвет барокко, завитушки,
Орнамент сине-золотой...

В авторском предисловии «Мазепа» назван «своего рода ремейком пушкинской "Полтавы"». «Ремейковость» поэмы Волкова — больше внешняя. «Пушкинский» сюжет. Пушкинский размер. Поблескивающие то там, то тут аллюзии на первоисточник. «Суров украинский мороз...»

В остальном — это, скорее, «Анти-Полтава». Ничего, что бы напоминало хрестоматийную историю любви и предательства на эпическом фоне русско-шведской войны. Эпизод бегства Марии к Мазепе упомянут намеренно вскользь, в «сниженном» виде:

Сварливым нравом вышла в мать —
Драчунья, злыдня, скотобаза —
Решила зубки показать,
Сбежала к гетману, зараза!

Более того — Марию гетман возвращает, не тронув, в родительский дом. Где ее благополучно выдают за сына полкового писаря: «Занозу Мотрю сбыли с рук...»

Тема предательства в поэме Волкова присутствует. Но не столько предательства Мазепы (оно показано как почти вынужденное) — сколько полковника Ивана Носа. Нос сообщает Меньшикову, осадившему Батурин, потайной проход в город.

После чего следует разрушение города — бессмысленное и беспощадное.

А было так: вообрази,
Что выпустили из психушки
(Для роботов, а не для нас)
Зернодробилки, крупорушки,
Кухонный спятивший «спецназ»:
Все мельнички, все мясорубки
Сегодня вызваны на марш,
Их жерновки, ножи и зубки
Батурин превращают в фарш
...
И так без всяких промежутков
Почти в течение трёх суток.
Что не ломалось — то сожгли,
Что не горело — то взорвали,
Смели, как пыль, с лица земли
И в землю чёрную втоптали...

«Штурм и взятие гетманской столицы Батурина, — сказано в авторском предисловии, — по-прежнему является белым пятном российской историографии».

Это не совсем так.

О взятии и уничтожении Батурина писал Пушкин — не в «Полтаве», а в материалах к «Истории Петра I» («Батурин был взят и разорен до основания; предводители захвачены»). Еще более жестко написал об этом Николай Костомаров: «Батурин был сожжен. Жители от мала до велика подверглись поголовному истреблению, исключая начальных лиц, которых пощадили для казни... Общие свидетельства единогласно говорят, что над жителями Батурина совершенно было самое варварское истребление».

Так что белого пятна не было; но был — и сохраняется — миф. Миф о величии Петра, величии его деяний — на создание которого, во многом, «работает» пушкинская поэма. (В 1830-е Пушкин писал о Петре уже гораздо трезвей и объективней.) В этом мифе Мазепа мог быть только предателем, а разрушение «гетманской столицы» — вынужденной мерой.

Последние четверть века возник и опушился — разумеется, не в России — другой миф: о Мазепе как национальном герое и борце за свободу.

Волкову удастся пройти узкими вратами между двух этих мифов. Он не обвиняет Мазепу — но и не слишком оправдывает его (разве что — пытается понять). Лишь в конце поэмы — автор оступает: там, где требовалось многообразие — дать читателю самому обдумать, что к чему — его оглушают патетическим аккордом:

*С кого спросить за море крови,
За поколения сирот?
За что украинский народ
Живёт веками наготове
К могиле или к кабале? —
За то, что он, как все народы,
Хорошей жизни и свободы
Хотел на собственной земле.*

Пусть это и «слова из старинных хроник» (отсюда — и курсив), но уж очень отдает агитпропом. И несколько разрушает, на мой взгляд, многослойный и полифоничный строй поэмы. Которая — при мелких недостатках (чрезмерной стилизованности под Пушкина некоторых сносков) — явилась одним из самых заметных поэтических явлений прошлого года.

На этом — завершаю. На дворе — январь, появляются уже первые сборники 2015-го. Стихотворные сады продолжают цвести, опыляться и всесезонно плодоносить. Будет, надеюсь, о чем поговорить через год.

Александр Котюсов

Рожденный ползать...

Роман Марины Степновой «Безбожный переулочек» похож на реку. Роман-река. Внешне спокойная, плавно текущая, но в любой момент готовая вспениться, понести, затопить, снести, течет она (он — роман?!), огибая препятствия, стачивая берега. Поток неминуем. Реку нельзя остановить. В ней неизбежность и безысходность. Она, как жизнь, движется только в одном направлении. «Безбожный переулочек» — роман длиною в судьбу, в поколение, река от истока до устья, от рождения до смерти, от зарождающегося ручейка до последнего вздоха.

Первое ощущение — если не смотреть на обложку — написал его мужчина. Мужской слог. Особенно в начале. Рубленные фразы, отточенные, бьющие наотмашь. Не короткие, а именно рубленные, ничего лишнего, все веточки топором. Девочки по-другому пишут — витиевато, словно розу распускают при тебе, вот один лепесток, вот другой, третий. У Степновой — жестко в лоб, по-мужски. Папа — военный? Так точно! Чувствуется. Мама — доктор! Ну, это понятно. Книга же про врача. А дочь — филология, так один мой товарищ ее назвал, писатель. Впрочем, так и должно быть, стиль соответствует сюжету, главный герой-то — он! Мужчина! Иван Огарев. «Нет, не родственник того и не товарищ — этого. Иван Сергеевич — тоже всего лишь пустая реминисценция. Врач! Всего-навсего врач». Глубоко закрытый в себе человек.

Во второй части романа стиль меняет-

ся. Уходит в женское. Может, так задумано? Дальше ведь на сцену выходят они... Аня! Маля! И сквозь наворачивающиеся слезы на страницах проступает автор. Женщина. Позвольте поцеловать руку. Вы написали сильную книгу.

«Безбожный переулочек» прочитался залпом, разбитым на две части «Российскими железными дорогами». Первая в «Сапсане» («Нижний Новгород — Москва», три часа пятьдесят пять минут грязного времени в один конец, к чемпионату мира по футболу обещают еще меньше, чтоб болельщики добирались скорей, минус полчаса вздремнуть, из Нижнего выезд рано, в шесть сорок пять утра, еще минус отвлечься на торопящихся войти пассажиров — станция «Владимир», стоянка поездов — станция «Владимир», стоянка поездов две минуты... какие красивые там храмы). Вторая — в том же «Сапсане» по дороге обратно. В этот же день (время прибытия 23-30, а еще заказать такси). Поезд приехал за шесть страниц до конца романа. Седьмую читал стоя на выход, быстрее, быстрее. Не успел. Оставшееся осилил уже дома. С дороги... будешь есть? — спросила жена. Не ответил. Ушла спать. Давно такого со мной не было. 380 страниц, между прочим.

Роман читается легко, но впечатление это обманчиво, он весь тяжелый, липкий, безнадежный. Роман тянет к земле, заставляя горбиться и смотреть себе под ноги. Если спросить, о чем он, в двух словах — без раздумья, задержки, сомнений — о свободе. О свободе далекой, недосягаемой и в то же время близкой, живущей рядом с нами — в нас. Просто свободу эту мы прячем глубоко внутри, не веря в нее, боясь. В России — это порок, повод

Марина Степнова. Безбожный переулочек: Роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014.

к осуждению. В стране, привыкшей к поиску врага, к борьбе с обстоятельствами, с внешними условиями и внутренними сомнениями, свобода воспринимается явлением чужеродным и опасным. Свободные люди не понимают реальности. Или не хотят понимать. У них нет границ. Они их не видят. А раз не видят, значит, могут и перейти. Государству такие люди не нужны. От первой строки до последней Огарев стремится к этой свободе. И находит ее. Только какой ценой.

Она — далеко-далеко, не достать, не достать даже внутри себя. Где-то теряется в сплошной безнадее, словно во мгле. Свобода у Степновой — это не свет в конце тоннеля. Это свет в конце жизни. Увидеть и умереть. Впрочем, не для всех. Многие так и не видят. А порою надо умереть и начать жизнь с начала, с нуля, сжечь все прошлое, в прямом смысле — паспорт, справки, фотографии, язык, национальность, стереть память и забыть тех, кто родил тебя, жил рядом с тобой, помогал. Подло? Возможно. Но это удел избранных. Перегрузка. Для большинства же героев вся жизнь как тоннель. Длинный, темный, узкий. Не развернуться. Не вернуться. С односторонним движением тоннель. Ехать в нем нельзя. И идти. Только ползти. Ползти, ползти, унижаясь, словно пресмыкающееся, и верить, что где-то там в конце должен быть свет. Просто верить, потому что там его может не быть. Так заведено, так положено, так принято, в конце концов. Все ползут — и ты... Давай-давай, учили же как, руку вперед, потом ногу. Молодец.

Герои «Безбожного переулка» ползут. Все до одного. Кроме Мали. Куда? Зачем? Сами не знают. На эти вопросы один ответ — так надо. Надо жить эту жизнь, потому что родили тебя, присвоили имя, как порядковый номер. Надо! Дали школу, работу, институт. Спасибо товарищу Сталину (Брежневу, Хрущеву, Ельцину, Путину — ненужное зачеркнуть). Ты родился, чтобы ползти, и умрешь... Надо!

Каждый — к своей цели. Собственной. У всех она есть. Только Огарев пока не знает, что ползет к свободе, цель укажет позже Маля. Детство — «скомканная в

кулаке авоська, ссаженные коленки, растоптанные бурые босоножки из "Детского мира". Слишком маленький и жалкий». Ничего не меняется через двадцать лет — джинсы «грязные, захлестанные выше колен. Правый ботинок продрался, и Огарев оборачивал ногу целлофановым пакетом поверх носка». И вроде со временем, страница за страницей, жизнь становится лучше, появляется профессия, открывается талант... но... машина в кредит, съемная квартира. Все тот же тоннель. Чуть резче движения локтями, уверенней, четче поступь (вот нет в русском языке, богатом на эпитеты и оттенки, того аналога поступи, когда не ступаешь, а ползешь... странно). Огарев. Чужой, одинокий, «словно спрятан в самой глубине идеально отшлифованной ледяной глыбы».

Шустер (директор клиники, куда попал на работу главный герой) ползет к деньгам, власти, успеху, уважению. Цель понятна. Многие к ней ползут. Анна (жена главного героя — так случилось, женился, сама пришла к нему, сказала — хочу, и вот...). Цель ее проста. Быть там, где есть он — ее идеал, доктор, то, о чем мечтала она всю жизнь свою и для чего села за стойку ресепшн в частной клинике, а потом он — как сконцентрированная мечта, сгусток, существо профессии, ее основа. Не Ивана Сергеевича любит она — основу любит. Просто так сошлись звезды на нем, «выиграла его, словно миллион по трамвайному билету». Любила бы человека, мужчину, стремилась бы к семье — тогда ребенок, дети. Так нет же, «сказал — у меня одно условие, Аня. Только одно. Никаких детей». Согласилась. «Да зачем они вообще нужны?» Отец. Ползет отец Ивана. Медленней всех ползет. А может, просто стоит. И сразу-то и не поймешь к чему, комната, в которую нельзя входить, там стол, софа, никаких бумаг — папа работает, тихо, сынок, а потом на похоронах его жены, матери Ивана, понимаешь — жизнь его в другом доме, там вторая семья, дочь, скрыто все от героя и от читателя скрыто, для нас лишь на полстраницы приоткрыли завесу — на, смотри, где-то другая жизнь.

Ползет он в ней, неведомо куда. А в этой жизни, там, где Иван — стоит. Здесь гавань, отдых, перерыв. И словно символ всей книги — умирающая мать героя, ползущая к двери. «Мозг заливало тяжелой черной кровью, закупоривались по одному сосуды, захлопывались дверцы, суетливая возня, паника, разбегающаяся в разные стороны обезумевшая жизнь». «Была никто — тонкая, белесая». Стала — «тихая уродливая, никому не нужная». Приползла на край свой жизни. И остановилась... Мама главного героя.

И только Маля не ползет никуда. Маля летает. И в жизни летает — самолеты, есть что посмотреть. И в смерти. Последний полет, ощущение свободы. Несколько секунд, буквально две. Странно, если б автор придумал ей другую смерть. И прах ее летает по миру. Те, кто нашел свободу внутри себя, живут иной жизнью. «Она была свободна. Совершенно свободна». Такую вот женщину встретил на своем пути доктор Огарев. Маля не просто изменила его жизнь, взорвала его узкий и темный тоннель. Маля вскрыла тот самый сейф, где за секретным кодом, известным только ей, хранилась свобода Ивана. Вскрыла и отдала ему в руки — на свою беду. Он не знал, как пользоваться этой штукой. Она сломала его представления о жизни, о каждом дне, часе, минуте. Маля объяснила Ивану как жить. Примером своим. Он понял не сразу. Только в конце, когда она ушла. Ну хоть так.

Огарев — убийца. Киллер. Ментальный, безжалостный, жесткий. Человечности — ноль. И вроде в реальной жизни на нем всего одна смерть, и та по Уставу, в армии, на срочной службе, охраняли, как положено, в наряде, а тут он, а есть Устав, в нем написано стрелять, не думать написано, не спрашивать, ты что здесь, парень, делаешь, тут, бл..., охраняемый объект, а стрелять. Думать по Уставу нельзя — есть команда «лежать», значит лежать, и нет той секунды, чтобы думать — правилен ли тот приказ, верна ли команда. Секунда ценою в жизнь. Опоздал — умер. Летит лопата, пущенная командиром, несет смерть на своем острие, и даже не секунда, доля ее есть, чтобы

остаться живым. Армия учит не опаздывать. Выстрел, еще один, очередь — нет человека. На Огареве смерть. Все по Уставу — все правильно сделал, там не положено ходить. Только вот линия, которую пули нарисовали, словно границей отделила ту жизнь от этой. Вроде чуть видна — но... какое там, когда кровью прошито, не смоешь. «Его даже ни разу не вырвало. Просто он убил человека». Огарев — убийца. И каждый, кто рядом с ним, — труп, покойник, обреченный. Нельзя доктору пропускать чужое горе через себя, «сострадание было врагом врача, оно только мешало», а значит, сострадание гнать надо из сердца. Иван гонит. Гонит с самого детства, с юности, после того решения, что — во врачи. Огарев быстро научился главному в медицине, «тому, без чего невозможно работать в принципе. Абстрагироваться». Огарев ползет по людям. Переползает, подминает их под себя — узко вокруг, тесно... и забывает их. Везде, где прополз герой, — пустота. И за ним пустота уже. Не выжженное поле, просто пустота, ему оглянуться бы, Ивану, да страшно. Там, сзади него нет людей. Все, кто появляются на страницах книги, хоть на страницу, хоть на десять, пропадают и не возвращаются. Похоже, не только в медицине — Огарев научился абстрагироваться и в жизни. Отец! Отец — главный враг. Чужой, лишний, ненужный. Человек, который мешал. Анна! Жена! Женщина, решившая быть рядом, любить, понимать. И она не нужна. И ее убивает Иван — нет, не калашников тут в помощь ему, не макаров, не нож. Дело, слово, оно сильнее калашникова порой. Ты любишь, ждешь, надеешься, а тебе просто по телефону — я больше не приду, я полюбил другую... Выстрел-звонок, больше нет человека, с которым ты прожил столько лет. И Шустрик убит. Физически жив, наверное, ходит по улицам Москвы каждый день, только постарел, походка не та, и все труднее найти девушку, готовую пусть за деньги, но пойти вслед. А именно он, вот так вот в переходе метро, увидев, изменил судьбу Огарева, дал ему шанс, вспомнил, почувствовал, а в ответ ничего — даже звонка, словно просто

закрыли дверь, словно перешли через границу, написанную очередью из калашникова. Забыт Шустрик. Забыт отец. Забыта Анна. А «маму уже закопали» (цитата из романа)... И Малю Иван убивает. Своим непониманием, своей чужеродностью. Все, чего он коснется, гибнет. Важное дополнение — все, что выходит за рамки его профессии. Вот такая судьба — каждый день с утра до вечера лечить, а в остальное время убивать. Бояться таких надо. А к нему очередь — примите меня, доктор Огарев, пожалуйста. Принимает. По тридцать шесть человек в день. А иногда и больше.

Кое-что в романе смотрится чужеродно. А именно ставшее уже привычкой для рефлексирующих интеллигентов бурчание в адрес власти. Нет, не сильно, в меру, в кухонную меру, мы каждый — немного оппозиционер (как та кошка, что хочет изюма — разве кошки едят изюм — и не слышал!). Перед глазами действительность, наша, гнилая, привычная глазу до боли, впрочем, до какой же боли, если привычная, она как мусор во дворе, есть и есть, идешь мимо, пинаешь. Это модно сейчас, ругать власть, без этого не прорвешься к вершинам — вон тот же «Левиафан». Каждый писатель, претендующий пусть не на лавровый венок, но хотя бы на веточку, находит в себе силы покопаться в своих политических взглядах. Каждый читатель понимает — без подобных рефлексий не обойтись. Они — веяние времени. Степнова — не исключение. «Нет ничего человеческого во власти, которая основана на безнаказанности одних и обреченном ужасе других», — читаем мы и понимаем, что говорят это не герои романа, а сам автор, говорит искренне и очень даже справедливо. А вот строки о ком-то знакомом, решившем, что всей стране необходимо перейти на зимнее

время, — «бедный маленький человечек. Почти ровесник. Испуганный, как и все мы, навсегда». А вот про Москву — «город, где воровство возведено в доблесть». А вот про страну — «государство, официально, на самом высшем уровне отменившее совесть»...

Роман подходит к концу. Река впадает в море. Главный герой рвет свою связь с прежней жизнью. Наяву ли, в этой ли жизни, за гранью ее — читателю не понять. Огарев достигает цели, обретает свободу, свою, родную, нужную, одну. А сопротивлялся вначале. Что я с ней буду делать? — кричал Мале, маленькой девочке, на двадцать лет его младше, девочке из другого мира, где не думают о завтра, потому что еще не прожито сегодня, проснемся утром, решим, как быть, и не будем торопиться, лучше подольше поспать. Ничего ты не будешь делать, зачем что-то делать, — удивлялась девочка, — просто будешь жить. Что может быть лучше, чем просто жить, дышать, ходить, ощущать мир вокруг. Она исчезла, ушла, улетела, оставив ему свое место. Как тот убитый им парень, прошитый калашниковым насквозь. Огарев убил и принял решение стать врачом, чтобы спасти. А теперь он убил Малю. Убил непониманием свободы. Маля ушла, чтобы Иван это понял, чтобы занял ее место. Тогда стал врачом, теперь свободным. Не русским, не итальянцем. Просто свободным. У свободы нет национальности. Она ничья. Потому что она для каждого — каждого, кто хочет ею воспользоваться.

А Маля, кстати, не умерла. Единственная. Хотя она единственная, кто умерла. Просто все ползли и остались в прошлом. А Маля улетела. И смотрит из-под небес. Как мы пресмыкаемся. Так и не знаем сами для чего. Думаем, что знаем, но на деле обманываем себя. Суета...

Атнер Хузангай

Бурятский бродяга Дхармы¹

В современной культуре противопоставление Востока и Запада не является актуальным. Да и то сказать, что в бывшем Советском Союзе, и ранее в царской России, ряд народов и культур, считавшихся восточными, имели тесные контакты с российской культурой. Это народы Средней Азии, Кавказа, отчасти Сибири (буряты, тыва, алтайцы и др.), Поволжья и Приуралья (татары, башкиры). В число восточных народов чуваша, очевидно, все же не входили в силу специфики своей истории, насильственной христианизации. Известны были и поэты, представители этих народов, которые свой «восток» извлекали, реконструировали из прапамяти, но воплощали на русском языке. Наиболее известным, пожалуй, был в свое время казахский поэт-шестидесятник, писавший на русском языке, Олжас Сулейменов. У многих русских поэтов XIX—XX веков мы найдем «ориентальные» стихи.

Баира Дугарова я знаю со времен аспирантуры в Институте востоковедения АН СССР (Москва, начало 70-х годов). С его поэзией я познакомился позже. Были не столь частые встречи, «размены чувств и мыслей» во время поездок в Улан-Удэ и в Чебоксарах. Через все его книги проходит образ лирического героя — кочевника (номада). Сравним, например, названия его книг: «Золотое седло» (1975), «Всадник» (1989), «Звезда кочевника» (1994). Вот как Баир формулирует свое кредо:

От крика к голосу,
От сабли к колосу,
От мифа к логосу,
От бубна к лотосу,
От чия к полюсу,
От юрты к космосу.
(Путь кочевника)

Конечно, трудно себе представить современного поэта, кандидата исторических наук и доктора филологии с саблей и шаманским бубном в руках. Но м и ф и л о г о с изначально подвластны сознанию и воображению его, а уют юрты теплее, чем жилье в городской многоэтажке. К тому же говорит он тихо и вдумчиво, никогда не сбиваясь на крик.

Наверное, «звезда кочевника» и быт, повседневная жизнь не всегда примиряются. Но тут важен сам п(р)орыв к и н о м у. С опорой на миф, свое бурят-монгольское родословие, вдохновляясь подвигами Гэсэра, «воителя света», черпая обеими руками из «Западно-восточного дивана» (Гёте) мировой литературы, не забывая о своей бурятской прародине Найн-Нава и Баргуджин-Тукуме, вдыхая ароматы степных трав — саган-дали, ая, ганги, аргала, арсы, караганы, поэт ищет свой П у т ь.

В современном мире постепенно происходит взаимопроникновение религий, как мировых, так и естественных, доминирует мультикультурализм. Меня в свое время очень привлекали искания американских битников, Джека Керуака с его романами «Бродяга Дхармы» и «Дорога», Аллена Гинзберга («Сутра Подсолнуха»), позднее Джерома Сэлинджера (рассказы о семье Гласс), хиппи, индийские мотивы в музыке «Beatles», аскетическое и медитирующее созерцание Германа Гессе и др. — они хотели просветления, совер-

Дугаров Баир. Азийский аллюр: Стихи. — Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография». — 2013.

¹ Дхарма — учение Будды, собрание текстов или состояние сознания.

шали паломничества на Восток и т.д. Это было движение с Запада на Восток, было соответственно и обратное — с Востока на Запад. Так складывался универсум, и в связи с этим возникает вопрос о возможности существования отдельных этносов. Баир Дугаров дает на него свой ответ, в том числе и в книге «Азийский аллюр». Но ответ не так прост. Да и чего ожидать от поэта, который *«беседует с вечностью наедине»*, или же *«ткет свои беседы с небом и землей»*. А сигарету *«прикуривает от упавшей звезды»*.

Открываем книгу, читаем ее и видим такие поэтические жанры как «Протяжные гимны», «Мелодии времен года» (не по Вивальди), трактровки животных символов восточного календаря, «Вертикальные стихи» (здесь автор, очевидно, следует порядку старомонгольского письма), сонеты, «Степные саги» и минималистские стихи (в 2, 3, 4, 5 строк). Что объединяет все это разнообразие жанров и смыслов отдельных строк, образов, впечатлений, размышлений? С формальной точки зрения — анафора (единоначатие), когда несколько рядом стоящих строк или все строки стихотворения начинаются с одной и той же буквы. Из программного вступления Б. Дугарова следует: «Анафора... присущая поэзии степного Востока, несет в себе не только самобытный принцип звуковой организации стиха, но и этнокультурное духовное кредо кочевников Центральной Азии», это «знак поэтической традиции, не только устной, фольклорной, но и письменной, идущей от "Сокровенного сказания монголов" (1240) до наших дней». Подчеркнем, что единоначатие в виде начальной аллитерации характерно и для тюркской, в частности чувашской, поэзии. Сравним в чувашском народном гимне:

Алран кайми аки-сухи,
Асран кайми ати-ани...

(С руками неразлучная соха // Из памяти не уходящие отец и мать...)

Два начала явственно присутствуют в поэзии Баира Дугарова:

...и бодисатвы глядят на Восток и на Запад.

Поэт свидетельствует о том, что вопреки известному утверждению Киплингга Восток и Запад «сошли со своих мест» («Баллада о Востоке и Западе») и взаимопроникают. Как пишет современный филолог Вяч. Вс. Иванов: «Понять себя можно, только взглянув со стороны — Восток через Запад, Запад через Восток». Перефразируя суждение японцев, можно также сказать, что у Баира «бурятская душа, а знание европейское».

Душой он, конечно же, там — в стране Баргуджин-Тукум, где *«поднималась трава на склонах упруго и нежно»*, *«струилось тепло очага над привольем»*, *«замирали холмы от мычания коров и табунного гула»*, *«настежь распахнутое небо синело светло-безмятежно»*, а *«высь и ширь обнимал берегами священный Байкал»*. В этой стране звучит мелодия морин-хура, гостям, *«людям достойным преподносят хадак»* с особой символикой цвета, а богиня Белая Тара осеняет все живущее и отводит беды своей улыбкой. В этой стране люди жили хорошо и привольно. Начинали каждый Новый год по восточному календарю с праздника Белого месяца (*Сагаалган*), священнодействовали, почитая и тюркско-монгольское верховное божество Тэнгри (булгарское Тангра = чувашское Тура), но не забывая о житии и учении Будды.

Баргуджин-Тукум это, конечно, идеальная страна, которую Б. Дугаров поэтически реконструирует и доносит этот образ до своих сородичей, современников. У каждого народа, наверное, есть свой миф о «золотом веке» и прекрасной стране, где царил добро, отношения между людьми были простыми и понятными, труд приносил радость.

В этом смысле Б. Дугаров — эпический поэт (*«мозаику миров в песчинке обрести»*), что подтверждает его особое отношение ко времени. Единицы его измерения у поэта не час, не сутки и не год, а тысячелетия, вечность и мельчайшая частица — мгновение (*«стриж золотых мгновений»*, *«стремена мгновений»*, *«мантры мгновений — стихи»*).

Даль вечности и миг связуя гулким звуком.
 Дзинь — отзвенело мгновенье.
 Дзинь — пролетело тысячелетье.
 ...нить сказанья вьётся из глубины тысячелетий.

Предо мною струится Байкал как песнь
 в мириады лет.

И слагается тихая сутра летящих
 мгновений моих.

Такие примеры можно было бы приумножить. В книге есть небольшая поэма «На исходе тысячелетья», в которой, *«провозжая мысленным взглядом последние мгновения уходящего тысячелетия»*, автор как бы подводит итог событиям евразийской истории: гунны, зороастрийские костры, древние тюрки, каганаты, Чингисхан, свет с Гималаев (приход буддизма в Центральную Азию к монголам). Себя Баир ощущает наследником или даже современником героев-воителей былых времен:

Я мчал с Модэ вслед за стрелой его свистящей,
 Встречал рассвет с Агтилой у альпийских круч.
 И с Угэдэем пил из ханской синей чаши
 За стольный град Евразии — Кара-Корум.

Также интересны его отношения с странством. Это и понятно: кочевнику нужен простор, ему хорошо в открытой степи. И чтобы было небо над головой.

Вехи только знают, где я кочую.
 Ветер только знает, где я ночую.
 Вегою ведомый, я гунн тысячелик —
 Ведаю просторами, волю неба чую.

О чём мне шепчет даль степная?

След округлый копыт
 Креплял, как печатью, пространство.

Впрочем, иногда время и пространство в сознании поэта сливаются воедино:

В моём мгновеньи дремлют миллионы
 Влекомых бездной лет.
 Смыкаются в пространстве небосклоны
 Сквозь звёздный свет.

Такой вот палеокосмический (древность + космос) х р о н о т о п. А также есть *«прах времен»* и есть *«прах пройденных дорог»*, из которых и слагается песнь.

Так складывается диалектика П у т и

Баира Дугарова. С одной стороны, вечность и *«песнь Степи с ее сокровенным сказаньем»*, с другой — душа, конкретика долины Монголжон, Шэнхэйского бистро, Самарканда, дождя в Улан-Удэ, вербы, сосновой ветки, облаков.

Есть еще у Баира великие собеседники — поэты, мудрецы — с которыми он поддерживает диалог. Лао-цзы, Гомер, Ван Вей, Басё, Гесиод, Ронсар, Райнер Мария Рильке, Аполлинер и др. Среди теней великих и тибетский монах-отшельник Миларайба (1040—1123), житетворчеством которого Б. Дугаров занимался и в научном плане: изучал его биографию, переводил нравоучения, стихи и т.д.

...И вот, хотя Азия «мучит» Баира (как это было в свое время с великим Велемиром), все же он остается б р о д я г о й д х а р м ы. Ему может присниться Троя, для него *«два полушарья Земли — словно две первозданные юрты»*, где бы он хотел найти приют. Он взывает к небесам (Тангре) у подножия Мадары на земле протоболгар (современной Болгарии). Проклинает каменные джунгли города, а в честь Грузии *«поднимает рог голубого Байкала»*. Латышские дайны для него древнее санскрита. Странствует по Америке. Будучи в Париже, тоскует, что из мансарды не видно Байкала. А в дымке его сигареты *«иссиня-светлые дали опять оживают»* (цикл «Протяжные гимны»). Он — гражданин мира, но взгляд его остается бурятским.

Исподволь дали зовут, и ветром носит
 меня по планете,
 Иноходец летит мой по градам и вёсям,
 европам и азиям...

Возможен ли в наше время поэт, который так глубоко погружен в евразийское прошлое, центральноазиатскую топонимию, привязан к своему роду, близко ощущает *«зыбкие тени богов»* и так величаво отстранен от суеты наших будней? Отвечает сам Баир:

Странная есть у поэтов привычка —
 Сквозь сито своей души
 Старый просеивать мир
 И эхо облекать в слова,
 И это всё называть стихами.

Александр Люсый

Территория Пангеи

Текстостерон для текстуальной революции

«Текстуальная революция», то есть учреждение локальных текстов (супер-текстов) культуры посредством специфической группировки литературных произведений, оказывает обратное влияние на литературу. Писатель теперь не просто пишет роман, а прежде всего учреждает текст. «Итак, город звался Глинск...», — начинает Олег Ермаков роман «Холст», своего рода текстологическую прописку Смоленска.

Вот, пожалуй, самое грандиозное сооружение из текстов разных уровней и переходов между ними, которое я бы зрительно представил как синтез Вавилонской башни борхесовского толка и ленты Мебиуса, сдано под ключ. Сам ключ гостеприимно висит у входа в виде цитаты из «Ареологии знания» Мишеля Фуко: «Возможно, мы похороним Бога под тяжестью наших слов, но из текста мы никогда не сумеем создать человека, который сможет просуществовать дольше, чем Он».

У одного из первых рецензентов романа Марии Голованивской «Пангея» Фаины Гринберг, переступившей через его порог как будто в качестве своеобразной дополнительной его героини, столь замысловатый ключ сразу же вызвал чувство ностальгии по тому пространству наивности, в котором авторы добротных классических эпосов «знать не знали о самом этом понятии — «текст» и полагали, будто просто-напросто рассказывают

нам такую живую жизнь»¹. Но перед нами все же и произведение по преимуществу, роман о текстах, такой у автора прием и способ видения.

Впрочем, как только я вступил на территорию «Пангеи» (так, кстати, назывался когда-то единый материк Земли, позже разделившийся, чтобы еще через миллионы лет обнаружить тенденцию к медленному, но неуклонному возвратному слиянию в некое единство, в романе же — это метафорический псевдоним России) — сразу же чуть не был сбит с ног бегущим навстречу не по годам и не по комплекции стремительно, вполне произведенческим героем отцом Андреем, подбившим на своем не по конфессии шумном юбилее местную братву на строительство новой церкви, дерзкие росписи в которой, сделанные знакомым самодеятельным художником, он и спешит разглядеть, прежде чем они будут безвозвратно смыты.

«Сразу попал на нужный разворот. Пир царя Ирода. Страсть как живо изображено, сочно, с характерами и обличительным пафосом — все разряженные, прямо как наши жены купеческие, Саломея, Иродиада, на подносе ей голову предлагают. Глаза у Иродиады как тлеющие угольки, ее оранжевое платье в них как языки пламени отражается, пальчиком тычет в голову, словно на рынке она торговалась и берет свиной окорок...» Таков живописный шифр — который тоже ключ —

Мария Голованивская. Пангея: Роман. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.

¹ Гринберг Ф. Правдивая сказка // Colta. 21.07.2014: <http://www.colta.ru/articles/literature/3965>

к произведению, поскольку читателю предстоит теперь развернутое знакомство со всеми нашедшими в преисподней свое место персонажами, в той или иной степени буквально повторившими подвиги и преступления библейских героев, прежде чем раствориться в общих очертаниях и линиях пангейского горизонта. Это напоминает картинные введения в ключевых для европейской культуры книгах «Основания новой науки об общей природе наций» Джамбаттисты Вико и «Слова и вещи» Мишеля Фуко, но Марии Головановской приходится рисовать такую всеобъемлющую картину в собственном воображении — как и дописывать или переписывать цитируемые тексты.

«Жизнь», «Закон», «Движение» — три книги романа, состоящего из предисловия («Картина»), послесловия («Ветер») и сорока глав, названных именами или сумевшими составить устойчивое единство парами имен основных действующих лиц. А поверх, как радуга после ливня, проявляются связывающие события прошлого и будущего, как снопы, активно распознаваемые сейчас разными гуманитарными науками супертексты. Сквозь призму таких текстов — способов видения — и герои, и ангелы, и демоны, и даже Бог с Дьяволом становятся особыми сущностями.

Распахивается окно, из которого просматриваются виртуальная реальность современной Москвы и ее «московского» текста (как нью-петербурга новой России). «Она выглянула из окна, раскрытого в мокрую осень: среди этой осени ревел город — их плебейское царство, переливающееся дешевой электроэнергией рекламы, берущейся не от алмазного перелива, а из вилки, воткнутой в розетку. «Жрите!» — так она трактовала каждое рекламное обращение, сладострастно отмечая, как Валентин любит красотишки на щитах или в телевизионных роликах, хрюкающими и визжащими в такт его желанию получить предмет рекламы: сумку-термос, стельки для особо потеющих ног, дрянной исторический роман про кого-нибудь из царей». Провинциал Валентин, которому она объясняет, что «город —

ловушка для простаков». И она теперь размышляет о судьбе дочери: «Что унаследует она? Эти локтевые суставы, эти щупальца, эти челюсти? Эту энергию выживания, из которой они сконструировали себе эти города?»

Другой герой Москвы сырьевой, сохраняющей все же при этом и свою, наполненную криминальной составляющей, «златоглавость», Конон-младший, унаследовавший отцовский бизнес, добывает из зеленых земляных недр именно золото, «а не как другие — слизь доисторических мокриц, гадкую нефть». Он восхищен сиянием этого металла, двойника самого солнца. Город же при этом возбуждал его, как женщина, и «наполнял его окаянством и полетом мысли». «Город звал его разбежаться и прыгнуть — в эту гущу событий, в эту разномастную толпу людей, и поплыть по ней сначала брассом, а потом кролем, а потом и баттерфляем, чтобы вернуть себе все, чего нет и не может быть на чужой земле.»

А вот бизнесмен Яков, сын Клары, совершает путешествие *из московского текста в петербургский*. Когда он днем вспоминал свою умершую мать, ему потом снилось, что он убивает ужасных старух, вонючих, с пучками растительности в носу, беззубых, со зловонным дыханием, он даже обращался с этим к психологу, и тот объявил ему, что эти старухи на самом деле никакие не старухи, а состарившиеся участки его души, и так он пытается расстаться с прошлым. Цель поездки — предотвратить забастовку на заводе. Накануне решающего дня он проснулся только под самое утро — от очередной чертовой старухи с почти что облысевшим желтым черепом и в кумачовом сарафане в горох — вылитая Алена Ивановна, процентщица из школьной программы. К концу дня он громогласно во всех медиа перешел на сторону забастовщиков.

Создатель *петербургского текста* Достоевский тоже родился в Москве и ряд московских сюжетов и реалий взял с собой в Петербург. Вот и Мария Головановская разворачивает неожиданно перевернувшийся сюжет «Преступления и наказания» обратно в Москву.

« — А можно Достоевского я возьму себе?» — опрометчиво попросил юный сторож Григорий, помогавший разбирать квартиру пожилой красавице Агате, которая время от времени ссужала ему под все уменьшавшиеся проценты деньги. И чистый мальчик с угристой кожей на лице начинает казаться все более мерзким существом, планирующим отправить ее на тот свет, против чего она принимает ответные меры, изобретательно опередив его посредством купленных на дальнем рынке у торговца крысиным ядом беленьких таблеточек, оставив все свое состояние одной из церквей неподалеку от дома с завещанием молиться за упокой ее души как можно дольше, что исполнено не было, как и распоряжение насчет похорон — ввиду не востребоваемости праха. В целом же мире процентщицы и процентщики неистребимы, оказываясь истинными победителями и манипуляторами раскольниковых, выступающих в роли заказчиц-саломей.

А венский текст, знает ли кто-либо о нем? «Пангея» проясняет и его реальность. Вена всегда была очень своеобразным промежуточным входом в Европу. В советское время — это перевалочный пункт политической эмиграции, в постсоветское — одно из самых надежных мест промежуточного пристанища для представителей теневой экономики. Целый год довелось прожить в этом нарядном и аппетитном, как имбирный пряничек, городе диссидентствовавшему физику Михаилу. Из окна своей квартиры в центре города он глядел на праздно прогуливающуюся нарядную толпу, слушал голоса и смех, потягивался и задира голову, окунаясь мыслями во взбитые сливки облаков, и сам делался сладким и красивым, как торт с вишенкой на макушке — «не о чем больше беспокоиться, можно просто дышать и взламывать в охотку хитроумные замки вселенских кладовых, где столько сверкающих тайн и столько смертоносных обманок для каждого изощренного ума, который пытается пролезть куда нельзя». По вечерам он и сам выходил прогуляться, плыл по разряженному после Рождества маскарадирующим

улицам, сквозь дудочки и бубны, мелькание масок Казановы и Мефистофеля, первое время чуть не теряя сознание «от премудрой сосисочной плоти, превращающей его целиком в сосуд, наполненный желудочным соком».

Когда Михаил боролся в Пангее с разгулявшимися темными силами, раскурочившими его судьбу, когда он выживал, он как-то не спрашивал себя, а остер ли его глаз и всепроникающ ли ум: нужно было просто дать шанс этому уму расцвести и там уже взглянуть на цветок. Но когда он вырвался в переливающуюся чудесную Вену, когда налопался вдоволь сосисок, когда впервые овладел тут веселой и жаркой Анитой, этот вопрос выпрямился вдруг в полный рост и жажнул, словно кувалдой, по голове: а ты, может, тварь дрожащая?

Когда же он глядел, с какой ловкостью знакомый мясник Кшиштоф разделяет мясо, «ему становилось не по себе: руки его словно танцевали лезгинку под мелодичный свист топора, толстые пальцы придерживали жир, кости, ребра, а ножик скользил по широтам и меридианам весело и точно, ювелирно отсекая ненужные куски. Не менее впечатляющими были и удары с размаху, выдающие искру, от этой искры на мгновение слепли глаза и казалось, что темная туша, лежащая на огромном пне, начинает пылать. Джаз, подумал Михаил, блестящая плотоядная импровизация, дарованная каждому, кто нашел свое дело. Порги и Бесс в исполнении топора и куска мяса». Как разделка расплывающихся материков.

Именно здесь, в Вене, он свел воедино свои сделанные в обсерватории на Эльбрусе космологические наработки и записи экспериментов. «Горячая темная материя — это та, чьи частицы несутся со скоростью, близкой к световой. Материю с кипучими релятивистскими скоростями, но ниже, чем у горячей темной материи, они назвали теплой. Темную материю, которая движется при классических скоростях, они решили назвать холодной. Это та самая материя, из которой состоят огромные темные галактики. Это ад. Царство теней. Вотчина сатаны... Он пошел

на свою обычную прогулку по Рингу, потом съел, как всегда, колбаску с горчицей, потом посидел на скамейке, покурил и, прежде чем свернуть в свой переулок, зашел в собор Святого Стефана спросить, можно ли доверить бумаге превеликие тайны и тем самым нажать на ту самую красную кнопку «пуск»? Минут десять он слушал песнопения. Баховы трели, как всегда, запускали в нем поток мыслей, четких, стройных, просящихся наружу. На этот раз Бах подарил ему и текст, он увидел свою статью от начала и до конца с красиво выписанными наклонным почерком формулами и безупречно вычерченными иллюстрациями».

Сводный «русский текст» — текст производства и разложения власти. Годы притупили мышление властителя Пангеи Лота, и «шутовская диктатура сменилась диктатурой плутовской». «Он вырвал у страны ноги, чтобы она не могла ходить сама, и посадил в инвалидное кресло. Он закармливал страну до ожирения, и она, тяжелая и одышливая, почти уже не шевелится и ничего не хочет, кроме воздуха, свежего воздуха, доступ к которому Лот перекрыл навсегда». А политтехнолог Кир «изображал слова, дав в конце концов и им, и главному заказчику из числа правителей Пангеи полную волю. Слова открывали ему рот, расширяли или сужали его зрачки, вертели его головой. Через три года он стал могучим заклинателем слов, для простоты слившись воедино со своим мнением, подсказанным ему извне, но ведь и он, и он подсказывал туда, наверх, каким должно быть мнение, в частности и его собственное... Он очень близко подходил к власти. Он видел пот на лбу власти, прыщи на ее носу, напряжение мысли, мятущееся в продольных лобных складках. Он знал ее тревоги, тяготы, он знал дно и изнанку, из которых сплошь состояла Власть, скрытая от глаз. Власть не церемонилась с ним, но ценила его талант. Она дала ему взамен громкое имя, статус историка и философа, прекрасный загородный дом, в котором некогда жил знаменитый опальный поэт, деньги и ощущение избранности». Но власть теря-

ет силу, до понижения тестостерона в крови включительно. Заклятые слова приходят в оцепенение и перестают складываться в большие смыслы и тексты. Упадок, если так можно выразиться, *тестостерона* провоцирует дальнейшее разбегание пространства.

В итоге в Пангее происходит новая, националистическая революция, чреватая дальнейшим распадом. Апостолы Петр и Павел, которые у входа в Рай определяли уровень не столько греховности, сколько указанного тестостерона персонажей, отказываются от исполнения возложенных на них функций и уходят чуть ли не в партизаны, как католические священники Латинской Америки. Вместе с добравшимся до церкви отцом Андреем мы знакомимся в жилище исчезнувшего иконописца — в виде постскриптума — со вставным текстом, представляющим собой дописанную «Деревню» Ивана Бунина, точнее, самостоятельное развертывание начального предложения этой повести: «Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барин Дурново». Тут более подробно описаны детали и обстоятельства этой травли. Чтобы четче представить сущность органической машины круговорота русского письма в природе, я бы сопроводил эту историю таким стихотворением Виталия Пуханова:

Я не осилю тяжесть гроба,
Когда в песок меня уронят.
Пускай меня в своих утробах
Седые волки похоронят.

Пускай бредут и зубы скалят,
И обо мне протяжно воют.
А после мной натужно калят
И серой лапой землю роют.

Когда они уйдут Расеей
Меня земного провожать,
Моя душа в ушанке серой
В степи останется лежать.

Не все мы будем разорваны на части, но все можем оказаться элементами текста на стене пирующего Валтасара. Всеобщий материк появился вовремя, как «Общая газета» с библейской начинкой.

Нина Габриэлян

Вкус понтийской соли

Древний мир привлекал и завораживал многих поэтов. Кто-то посвящал ему отдельные строфы, кто-то — стихотворные циклы, кто-то — поэмы. Для Ольги Постниковой архаика и античность оказались одной из сквозных тем всей ее поэзии:

Когда-то с двухкопеечных открыток
Внезапно заглянули в жизнь мою...
.....
Под глиняными зонтиками дамы,
Из древних извлеченные гробниц...
И не следа от похоронной драмы
На щеках этих акварельных лиц.

Стихотворение «Статуэтки Танагры», навеянное поэтессе фотографиями терракотовых женских фигурок эпохи эллинизма, писалось почти пятьдесят лет — с 1965 года по 2014-й. По всей видимости, сильное впечатление — по контрасту с перенапряжением современной жизни — произвели на нее «Оглядывающиеся терракот / Спокойные бесхитростные позы». Настолько сильное, что, однажды возникнув в ее поэзии, тема древнего мира никогда уже ее не покидала. На протяжении всей поэтической жизни, параллельно с написанным на другие темы, у Постниковой рождались стихи, ставшие основой недавно вышедшего в свет сборника «Понтийская соль».

В отличие от других поэтов, Постникова постигала древний мир на ощупь. Химик-реставратор по первой профессии, она, начиная с 70-х годов прошлого столетия, занимается консервацией архитектурно-археологических сооружений Причерноморья, в основном — в Болгарии и

Крыму. Сама отмывала и укрепляла древнегреческие стелы, склеивала разбитые каменные жернова, расчищала архаические водостоки шестого века до нашей эры... Античность и архаика прошли не только перед ее взором, но и через ее руки. Под ее пальцами обретали утраченную целостность «разбитые улыбки и объятия». Погружая руки в «боспорскую грязь, тысячелетий раствор», она кожей ощущала, как «Розность в такое выходит родство, / Даже в загробную связь». Именно через *вещество* постигала она пульсацию жизней, исчезнувших тысячелетия назад, и материализовала, овеществила их в своей поэзии:

Но придут полнотелые девы камей
И прозрачные руки протянут ко мне,
И сквозь холод и твердь халцедона
Я узнаю, что радость бездонна.

Как не вспомнить тут мандельштамовскую «выпуклую радость узнавания»!

Видение древнего мира в стихах Постниковой очень подробное, детальное, вещественно-предметное:

Эти курсы, коры, застенчивость лиц,
Где гадают, считая божественных птиц,
Упоенье веселием мудрым,
Эти кудри, пиксиды для пудры.

Обитатели древнего мира материализуются в ее стихах столь убедительно, что чудится — это не просто талантливая художественная реконструкция давно исчезнувшей реальности, но своего рода историческое ясновидение поэта, прозревающего сквозь толщу времен ту древнюю цивилизацию, «Где короткой судьбою (лет в сорок всего) / Управляет улыбка»

чивое божество, / Где не знают о будущих
эрах / И вино разбавляют в кратерах».

Погружение в глубь истории оказалось для Постниковой одновременно и погружением в глубину коллективной прапамяти с ее архетипами и символами. Эти универсальные паттерны, содержащиеся в легендах и мифах, пронизывают собой многие стихи «Понтийской соли», в том числе, и те, которые посвящены современности. Однако миф, спроецированный на современную реальность, как бы «опрокидывается», обретая черты, противоположные исходному варианту. Так в стихотворении, посвященном современной соломенной вдове, брошенная жена вяжет и распускает связанное вовсе не для обмана женихов, как это делала Пенелопа в ожидании Одиссея, а для того, чтобы спастись от одиночества, «от безумия да от безверия»:

Не придут женихи,
их обманывать вовсе не надо.
На столетия работы задумано,
не на день, не на год.
Лицевая, изнаночная, накид...

Так что, другое время — другие песни:

В пятом классе не выучившая «Одиссеи»,
О, сестра моя Пенелопа,
как пальцы твои обрусели!

Подобные «перевертыши» вполне закономерны. Анализируя различные виды мифологизации в художественной литературе XX века, Е.М. Мелетинский в своей «Поэтике мифа» приходит к выводу, что «...поэтика мифологизирования не только организует повествование, но служит средством метафорического описания ситуации в современном обществе... с помощью параллелей из традиционных мифов, которые порождены иной стадией исторического развития. Поэтому при

использовании традиционных мифов самый их смысл резко меняется, часто на прямо противоположный».

Занимаясь реставрационными работами в Причерноморье, Постникова обнаруживала не только артефакты древних культур, но и следы трагических событий Великой Отечественной войны:

Посылали смотреть,
что наука в земле откопала.
Только то и увидела,
что война погубила.
(«Гора Мумридат»)

А иногда исторические пласты так перемешаны, что, найдя косточку — фалангу пальца, невозможно понять, какому времени она принадлежит:

Ты, беспалый, давно уже в Аиде
Или в Божьем раю, за доблесть прощенный,
Или в полном небытии, даже без похоронки,
Безотцовщиной выросли твои дети.

Звуковое пространство стихов Постниковой инструментовано тонко и деликатно, зачастую звук усилен цветом:

На развалинах маки цветут,
Млечник желтые головы клонит,
Тачки мечутся, метлы метут,
Прах ложится на лоб раскаленный.
(«На раскопках»)

В лексическую ткань поэтесса органично вкрапляет болгаризмы, украинизмы, профессиональные термины, архаические (древнегреческие) наименования, благодаря чему сбивается автоматизм восприятия и происходит энергетическое усиление стиха. Справедливо сказал в свое время Семен Липкин, слова которого вынесены на четвертую обложку книги: «По профессии Ольга Постникова — реставратор памятников архитектуры, но в области стиха она не реставратор, а зодчий слова».

Николай Анастасьев

Что в имени тебе моем?

Читаю дневник Лидии Корнеевны Чуковской. Запись от 2 августа 1980 года: «Умер Высоцкий... По "Голосу" выступил его друг, художник Шемякин — он в Париже, с ним связались по телефону. Всхлипы, чуть не рыдание. Плохая предсмертная записочка в стихах — ну, это пусть. Но уровень бескультурия — чудовищный. "Володька — космическое явление". Если он Володька, то он не явление, а собутыльник. Если он явление, то он Высоцкий. Омерзительный стиль "Континента" — Вадик, Галка, Володька, Вика. Никакого чувства ни собственного, ни чужого достоинства, ни достоинства искусства».

Как все правильно уловила Лидия Корнеевна, и как в последующие годы безудержно распространится этот хищный вирус фамиллярности, пожирая не то чтобы изысканную, но хотя бы пристойную человеческую речь и превращая пространство культуры в свойское застолье. Сора, из которого растут стихи, стало так много, что и самих стихов почти не слышно.

«Случай Довлатова», увы, красноречиво о том свидетельствует.

После несчастно ранней смерти на него обрушилась оглушительная слава, чему, помимо самих книг, в немалой степени способствовал неубывающий поток мемуаров. И в том не было бы ничего дурного, если бы не одно огорчительное обстоятельство: Довлатов-художник плотно заслонен в них Довлатовым-собеседником, гостеприимным хозяином, спутником-гидом по Нью-Йорку, а то и действительно собутыльником. Быт, ленинградский ли, таллинский, нью-йоркский,

теснит литературу, ей просто не остается места. Отметят разве, что Довлатов оказался единственным, за вычетом Набокова, русским писателем-эмигрантом, удостоившимся чести быть опубликованным в «Нью-Йоркере», оглянутся в очередной раз на Курта Воннегута, добродушно посетовавшего, что он вот такого признания — стать автором этого элитарного журнала — так и не добился, но что это за рассказы, хороши ли они, и чем именно, поговорить оказалось как-то недосуг. К сожалению, сдвиг в сторону быта, порой осложненного психологией и философией творчества, а иногда и совершенно не осложненного, беспримесного, свойствен воспоминаниям даже незаурядных людей, например, Иосифа Бродского и Евгения Рейна. А о книжных откровениях Аси Пекуровской и Людмилы Штерн, Валерия Попова и Игоря Ефимова что и говорить. Не берусь судить, насколько достоверно реконструирована в них биография Сергея Довлатова, для этого я слишком мало был с ним знаком, да и приходится это знакомство лишь на последние два года его жизни, когда, наезжая довольно часто в Нью-Йорк, я с ним встречался и по делам журнала, в котором тогда работал, и по другим делам. Но, честно говоря, фактическая сторона дела меня не особенно и занимает. И уж совсем не интересуют пикантные подробности, о которых повествуют дамы. Ну, а господа... что ж, один — В. Попов — пишет больше о себе, чем о Довлатове, а что касается И. Ефимова, то он предал гласности свой эпистолярный роман с Довлатовым вопреки прямому запрету последнего обнародовать свои частные письма, так что это случай скорее из области этики и авторского права, нежели из истории литературы.

На этом фоне весьма выгодно выделя-

Владимир Соловьев, Елена Клепикова. Быть Сергеем Довлатовым: Трагедия веселого человека. — М.: «РИПОЛ классик», 2014.

ется недавно вышедшая книга Владимира Соловьева и Елены Клепиковой «Быть Сергеем Довлатовым». Название, на мой слух, звучит несколько загадочно, но вот подзаголовок точен и выразителен: «Трагедия веселого человека».

Из этого не следует, будто это сочинение давних соавторов, мужа и жены (в Америке их бы назвали *man and wife team*), и еще более давних моих знакомцев, сначала по Ленинграду, потом по Москве и наконец по Нью-Йорку, где, к слову, они с Довлатовым меня и познакомили, так вот, из этого не следует, что книга кажется мне безупречной или даже вполне удавшейся.

Во-первых, в ней ощутим тот же самый эгоцентризм, что авторы справедливо вменяют своим предшественникам. Я говорю — «авторы», ибо на обложке значатся два имени, но вообще-то этот упрек, даже с риском вбить клин в семейные отношения, следует адресовать только одному из них (книга составлена из частей, написанных, как указано в оглавлении, по раздельности и затем помещенных под единый переплет). Правда, порой эта особенность проявляет себя в настолько простодушной форме, что, хорошо зная иронический склад ума Владимира Соловьева, я начинаю подозревать, что он просто провоцирует легковверного читателя, и если ему, этому читателю, вздумается уличить автора в саморекламе, радостно засмеется: шутки, мол, надо понимать. И то сказать, можно ли всерьез отнестись к заявлению, будто не только авторам книги повезло на знакомство с премьерными советской и российской художественной сцены — Окуджавой, Слуцким, Эфросом и иными, но и тем «тоже повезло на знакомство с нами: иначе зачем бы они стали с нами водиться?» Или взять такую, допустим, автохарактеристику романа о Бродском: «Это мое самое-самое. Не только в моем контексте, но и в море разливанном бродско... бродское-деня, а еще точнее, бродсконакипи, мои романы (помимо «Post Mortem» еще и «Три еврея». — *Н.А.*) — лучшее, что о нем написано». Нет, воля ваша, — это игра, и я, читатель, вполне готов принять в ней участие. Но, не успев еще толком оформиться, уверенность начинает шататься

— ее колеблет сама композиция книги. Мне понятно и близко стремление поставить героя в центр сцены, в которой действуют и иные персонажи, — иначе действительно писателя Довлатова не понять. Но именно — в центр. Между тем нередко он, так уж составлен этот том, перемещается на ее край, а то и вообще за кулисы. Немалую часть объема занимают главы из уже упомянутого романа «Post Mortem. Запретная книга о Бродском», а также повестей «Призрак, кусающий себе локти» и «Еврей-алиби». Оправдывается это тем, что в одной из них Довлатов упомянут более двадцати раз, а в романе — более ста. Не проверял, однако, не сомневаюсь, что так оно и есть. Только что они, эти пометы, добавляют к образу Довлатова? По-моему, равным счетом ничего, и может возникнуть неприятное и, надеюсь, ложное ощущение суеты и популяризации собственных сочинений, в каких-то те вовсе не нуждаются (хотя «супер» и даже просто «резонансными» я бы аттестовать их поостерегся).

Но, как сказала бы Л.К.Чуковская, — «это пусть». Больше смущает другое. Уже на первых страницах книги меня поцарапала фраза: «Бродский и Довлатов тусовались в разных питерских компаниях...» Потом прозвучала другая фраза, в совершенно ином стиле: «У Довлатова-писателя есть своя тайна, несмотря на прозрачность его литературного письма», и я подумал, что первая — просто оговорка. Увы, все повторится, и не раз.

«Я видел его в запое — когда спозаранок притаранил ему для опохмела початую бутылку водяры».

«Что касается Довлатова, то этот большой, сложный, трагический человек входит в прозу, как в храм, сбросив у его дверей все, что полагал в себе дурным и грязным».

Как не повторить: одно из двух — либо тусовка, либо тайна; либо притараненная бутылка водяры, либо храм.

Понимаю, прекрасно понимаю, не так это просто — при всей очевидности отделить одно от другого, особенно если вспоминаешь человека, интимно знакомого, а ведь в нашем случае речь идет даже не просто о знакомстве, но об отношениях, завязавшихся в молодости и укрепившихся

ся в зрелые годы, когда судьба сделала Довлатова и Соловьева-Клепикову не только собратьями-эмигрантами, но и соседями. И все же мне кажется, когда не за дружеским столом сидишь, а обращаешься к широкой публике, потребно некое целомудрие, отказ от той самой фамильярности, которая в жизни была понятна и естественна. Можно, конечно, сослаться на то, что повседневная жизнь Довлатова — это одно, и в ней есть место тусовке и водяре, а его сочинения — это другое, и это храм. Да хоть бы не Довлатова, хоть бы Шекспира или Льва Толстого. Просматривая недавно еще один дневник — дневник Юрия Карякина, я наткнулся на замечательную запись: «Поставить бы эксперимент, на который я уже не способен: вывести Достоевского, личность Достоевского или какого другого художника, только из его художественных произведений, ничего не зная о фактах его жизни и даже о фактах его времени». Короче говоря, сочинения писателя — это и есть его жизнь, а если это писатель значительный, то и жизнь его времени. Все остальное — зрелище.

Мне кажется, эта простая мысль сокровенно присутствует в книге «Быть Сергеем Довлатовым», что и делает ее, при всех просчетах и излишествах, явлением в сложившейся и продолжающейся складываться «довлатиане» не рядовым.

По словам авторов, главный импульс книги — «защитить Довлатова от злобы и клеветы». Ну, не знаю, я лично ни в одном из мемуаров, ему посвященных, ни того ни другого не обнаружил. Скрытая зависть — верно, имеет место, еще острее ощущается неумное желание погреться в лучах славы знаменитого человека, благо он, по стечению обстоятельств, оказался не только соотечественником и современником, но и приятелем юных лет. Но злоба? Но клевета? Впрочем, авторам виднее, не мне, со стороны, спорить с людьми, знающими, повторяю, ситуацию во всех подробностях, в том числе и малосимпатичных.

Но в таком случае результат заметно превзошел замысел.

При всех досадных стилистических сбоях, Сергей Довлатов предстает в книге писателем, как бы раньше сказали, *rag excellence*, он извлечен из той среды, в

которую поместили его неразборчивые мемуаристы и недальновидные критики, — из атмосферы китча и массовой культуры. «Сознательно выбранная облегченность», «плебейская проза Сергея Довлатова», «трубадур отточенной банальности»... Воспроизводя вслед за В.Соловьевым и Е.Клепиковой эти бойкие отзывы, я по-прежнему не нахожу в них злобы, но легко усматриваю совершенную безвкусицу и элементарное небрежение профессиональными обязанностями критика. Никому ведь не приходит в голову помещать Василия Шукшина в круг созданных им межеумочных персонажей, застрявших на полпути из деревни в город, — персонажей, образующих целый мир со своими повадками, психологией, речью. А вот Довлатов — повторяю, совершенно помимо собственной воли — чуть ли не без остатка растворился в созданном им мире богемы, интеллектуальных бомжей, а впоследствии третьей волны российской эмиграции, со всеми ее печальными и смешными приключениями на чужих берегах.

В.Соловьев и Е.Клепикова пишут о трагедии веселого человека. Может быть, это слишком сильно сказано. По-моему, стоило бы немного понизить пафос — драма. Драма признания и успеха, оказавшаяся куда горше и болезненнее драмы безвестности и поражения, пережитой в годы советской власти, до эмиграции.

Авторы проделали совершенно необходимую операцию — отделили писателя Сергея Довлатова от его героев, в том числе и от того персонажа, что приходится ему в лучшем случае двоюродным братом, хотя выступает на страницах его книг либо под тем же, либо под слегка измененным именем (Долматов). И в этом заключено, как мне представляется, самое большое достоинство книги, а полудетективная история с пропавшей, а затем восставшей, как птица Феникс из пепла, перепиской Сергея Довлатова и Юнны Мориц, не говоря уж о «комментах» к стихотворению Бродского, написанного автором в альбом по случаю почти сходящегося во времени дня рождения обоих, — все это представляет интерес попутный.

И вот теперь можно заняться делом куда более продуктивным, нежели рекон-

струкция былых застолий и даже разоблачение действительных или мнимых клевет, то есть исследовать *творческую* биографию Сергея Довлатова, в которой, если сделать работу на достойном уровне, отразится и биография личная. Некоторые шаги в этом направлении в книге сделаны — так, весьма тонкие, порой блестящие замечания касательно природы художественного дара Довлатова-новеллиста рассыпаны по главе, написанной Еленой Клепиковой, «Мытарь, или Трижды начинающий писатель». Да и мелькнувшее в начале, а затем не раз повторенное наблюдение по этому же поводу — новеллы Довлатова не столько написаны, сколько рассказаны — кажется вполне перспективным. Оно, положим, не ново — кто только из знакомых Довлатова не дивился слитному звучанию его устной и повествовательной речи. Даже я, при всей беглости знакомства, мог бы поделиться на этот счет необязательными воспоминаниями. Однажды, скажем, пожаловался в разговоре на слабеющую память — мол, до того дожил, что дела на завтра приходится записывать. «Ну, это ерунда, — пренебрежительно отмахнулся Сережа, — разве у вас забывчивость? Мне вот такие наказы самому себе приходится писать: "поздороваться с Вероникой Штейн сухо"». Я рассмеялся. Действительно забавно, тем более, что эту самую Веронику, дальнюю свойственницу Солженицына, я, как и многие наезжавшие в Нью-Йорк соотечественники — литераторы и не только, неплохо знал: она заведовала чем-то вроде книжной лавки на Манхэттене, где бесплатно раздавались полузапрещенные тогда в Союзе сочинения. А потом я наткнулся на ту же реплику в виде записи из «Соло на IBM».

Но это все та же стилистика тусовки. К сожалению, что-то не приходилось мне читать работ, в которых упомянутое свойство довлатовской прозы стало предметом сколько-нибудь последовательного критического анализа. Даже Игорь Сухих, автор единственной пока на русском языке серьезной работы *о творчестве* Довлатова¹, касается ее лишь походя. Между

тем, тут открывается немало увлекательных возможностей. Вот лишь одна из них: Довлатов и традиция американской новеллы, от Вашингтона Ирвинга до Джона О'Хары. Соположение опять-таки не новое, его и наши авторы не минуют, но как-то вскользь и, в общем, необязательно проговаривается мысль. А ведь, как мне кажется, весьма интересно было бы посмотреть, как Довлатову удастся эстетически объединить два различных, даже противоположных на вид типа американской новеллистической прозы. Один в наиболее чистой, быть может, форме представлен в творчестве О'Генри — стремительно развивающийся сюжет, событие, острый диалог. В состоянии перманентной войны с этой традицией находился, по собственному признанию, Шервуд Андерсон, у которого, особенно в главной его книге «Уайнсбург, Охайо», сюжет фактически парализован, событие вытеснено лирическим переживанием, диалог — необязательными репликами, а чаще молчанием, когда в душе человека что-то надламывается и рушится с неслышным грохотом. Перечитайте новеллы Довлатова, особенно поздние, например, «Ариэль», и вы увидите, как странно и как органично сливаются в них оба эти потока.

Игорь Сухих выпустил упомянутую книгу в 1996 году, вторым изданием она вышла десять лет спустя, и в предисловии к нему автор меланхолически замечает: «Довлатов стал нормальным "современным классиком"... Но филологически его проза по-прежнему terra incognita».

Увы, эти слова сохраняют силу и сейчас, по прошествии почти такого же количества лет.

Хочется надеяться, что «нефилологическая» книга Владимира Соловьева и Елены Клепиковой побудит неторопливо, поверх бытовых дразг, симпатий и антипатий, как говорится, *sine ira et studio*, заново прочитать произведения Сергея Довлатова, и тогда вынесенный в заглавие пушкинский вопрос утратит по отношению к нему свой риторический характер.

А уж классик Довлатов или просто крупный, сложный писатель (тоже немало, между прочим) — это время рассудит.

¹ Игорь Сухих. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб.: Издательство «Нестор-история», 2006.

Страшная школа жизни

Рубрику ведет Лев Аннинский

«В повести "Дом на набережной" слово "страх" упоминается 17 раз... Прилагательное "страшное"... 14 раз, и лишь один раз — ключевое слово "террор".

Семен Экштут. «Юрий Трифонов»

Юрий Трифонов не мог пожаловаться на недостаток внимания критиков и литературоведов — все 35 лет его активной писательской работы он был на виду. Не мог бы пожаловаться и в следующие 35 лет, прошедшие после его смерти, если бы знал: написанное им остается в центре обостренного внимания. О нем высказались: Рой Медведев и Каролина де Магд-Соэп, Вадим Кожин и Юрий Окянский, Александр Шитов и Наталья Иванова, Ольга Мирошниченко и... Упоминаю только тех, на кого в своей книге о Юрии Трифонове, изданной в малой серии «ЖЗЛ», ссылается Семен Экштут.

Ссылается. Но не повторяет. Никого. Экштут — аналитик совершенно другого, нового профиля. Или, как сказала бы Ахматова, иного русла.

Во-первых, в трифоновском поле Экштут моложе всех своих предшественников. На одно или даже на два поколения моложе. И видит все иначе, чем они. Во-вторых, он не литературовед, а историк. Точнее, он историк-социолог, страновед, архивист. И опять-таки читает текст иначе, чем читают критики. В-третьих, в его книге нащупан новый подход не только к трифоновскому наследию, но к той эпохе, которая осталась у нас за плечами.

Родился — через год после того, как тело Сталина положили в Мавзолей. Пошел в школу — когда тело вынесли из Мавзолея. Вроде бы не застал ни дня сталинской эпохи. Но эпоха встала и нависла над памятью первого послесталинского поколения — то ли слепящими вспыхами, то ли провалами во тьму.

Между тем, жизнь шла своим ходом. Учась на пятом курсе философского факультета МГУ (и уже привыкая к мысли, что цитаты из раннего Маркса надо усекать, чтобы не торчали поперек общеобязательной советской идеологии), Экштут прочел в «Новом мире» трифоновскую «Другую жизнь» и обнаружил там мотивы, ничего общего не имеющие с ортодоксальным марксизмом. И как это Трифонову удалось? Сближение наблюдателя с объектом продолжалось. Через год Экштут закончил аспирантуру, защитил диссертацию и стал искать работу. Присмотрев место в одном из провинциальных университетов, попробовал устроиться, но скоро уяснил таксу: прежде, чем заняться своей проблематикой, придется три года «отпахать» на заведующего кафедрой. Ситуацию эту Экштут вспоминал, читая в «Дружбе народов» трифоновский «Дом на набережной» (и уже примеряясь к роли литературного критика?).

Войдя в эту роль, он в своей книге о Трифонове естественно и без всякой натуги вписал своего героя в макролитературный контекст, расставив в нужных местах ссылки на Гоголя, Толстого, Чехова, а заодно и выдержки из Иннокентия Анненского, который был любимым поэтом Трифонова. Современный контекст Экштут прописал, цитируя таких корифеев, как Натан Эйдельман и Арон Гуревич, не говоря уже о

Николае Федорове. И этот высокоученый план — встык проницательнейшему знанию фактуры, нет, не умственной, а самой что ни на есть повседневной. Например: сколько в хрущевские времена получали сдачи с «тройка», когда брали «на троих» поллитровку, и что можно было на эту сдачу получить из закуски (плавленный сырок, господа, плавленный сырок!). И рядом с этой «сырковой массой» — ссылки на мало кому ведомые справочники городской полиции царских времен, на «списки штаб-офицеров по старшинству» и на прочие редкостные источники, ведомые только сугубо «допущенным» профессионалам. Замечательный стык «верха» и «низа»! Взвешивая исторические реалии, Экштут не без провокационного юмора замечает, что приходно-расходная книга кухарки времен Великой Французской революции представляет не меньшую ценность для постижения того времени, чем неизвестный автограф Наполеона.

Так что важнее для Экштута? И то, и другое! Цвет тесемок на папках, в которые складывал Трифонов первые рукописи. И то, каким пером он писал первую повесть: «уточкой», «звездочкой» или «подковкой»... Писал — на конторской бумаге, которую нещадно рвали те перья! А других в военное время было не достать.

Эта фактурная скрупулезность важна не только сама по себе, она у Экштута прочно сопряжена с официальными параметрами эпохи, и биография его героя буквально распялена на этих остриях. Кто родители... не спешите, товарищи читатели, притормозите: этот анкетный вопрос пахнет не только кровью родства, а кровью пыток и казней.

Конкретно. Отец писателя — видный деятель революционного времени, организатор Красной армии — должен отвечать за ту эпоху, которая досталась в наследство его сыну? Это ведь Юрию Трифонову тоже поставили в счет активисты либеральной поры: слезная горечь народных печальников была-де ему недоступна... Экштут такие филиппики не цитирует, а я рискну:

«Он (Трифонов. — Л.А.) принадлежал — сословно, по рождению — не к жертвам, невинным жертвам "революционных бурь", и даже не к "попутчикам", а к революционной номенклатуре, которая сначала делала эту чертову революцию, а потом скакала на ней, восхищаясь и кое-что оспаривая по мелочам, но все-таки больше восхищаясь: когда на коне, когда под конем, но все же галопом, не слезая с этой буденновской конницы...»

Ну, и как должен был Юрий Трифонов оправдаться за своего отца, Валентина Андреевича Трифонова, командира революционных дружинников и ссыльнопоселенца, сотрудничавшего с самим Сталиным?

Сталинская госбезопасность сама и решила этот вопрос, расстреляв Трифонов-старшего в 1938 году. Уравновесила красное и черное... Так что Трифонов-младший имел право не отвечать за большевистские дела отца — эпоха отцу сама ответила. Сыну осталась только некая «закавыка», или, как сам он позднее определил, некая «волынка» — при заполнении анкет, а точнее — при заполнении вакуума при поисках смысла той страшной эпохи.

Но, отвлекаясь на секунду от этой «волынки», скажу теперь о том несогласии с Экштутотом, которое несколько разводит меня с ним в понимании фундаментальных законов Истории.

Вослед Трифонову (то есть проникаясь его мироощущением) Экштут полагает, что жуть нашей тоталитарной эпохи происходит от взятого на вооружение «неусеченного» марксизма, и что в базисе мировых войн, перекосивших и расколовших человечество в XX веке, лежит алчность правящих классов и озверелость правительств, не успевших поделить колонии. Я и сам вырос в этом убеждении: я верил, что человечество избавится от ужасов, если примет единственно верное учение.

Но — по ходу долгих сомнений — попробовал поменять местами причины и следствия: а что, если в базисе истории лежит неотменяемая агрессивная человеческая природа, с которой пытается справиться человеческое же скудомыслие? Что тут поделает единственно верное учение? Если взять последние два века: едва народы Европы интуицией почувствовали приближение смертельной схватки, так воинственный дух принялся «бродить по Европе» — начиная с немцев, стиснутых со всех боков британцами, французами, славянами... Коммунизм как псевдоним воинственности и

все виды социализма как способы мобилизоваться: социализм национальный, интернациональный и т.д. В базисе этих тотальных мобилизаций — изначально агрессивная природа человека, которую с трудом сдерживают (или которой служат) те или иные убеждения, а она, природа, берет свое то в локальном, то в мировом масштабе... Это — контекст для любой биографии любого времени, а уж нашего... Вслед за Трифоновым я приберегаю слово «террор»...

Проблема — чисто философская, и я, отметив ее спорность и неразрешимость, — возвращаюсь теперь к биографии Юрия Трифонова, как осмысляет ее Семен Экштут, и в частности, к той «волынке», которая портила Трифонову жизнь.

Дело в следующем. На первом взлете славы автора «Студентов» вокруг зашевелились завистники. Выяснили, что Трифонов, вступая в комсомол, *скрыл*, что его отец — «враг народа»: на вопрос об отце рабочий авиазавода ответил уклончиво: «отец умер в 1941 году».

Скрыл? Или просто не ответил на вопрос, который ему не задали? И воспроизвел официальную версию: «В справке, выданной НКВД, говорилось, что В. А. Трифонов скончался в 1941 году. В те годы (напоминает Экштут) существовало негласное официальное указание: родственникам лиц, расстрелянных в 1937—1938 годах, при выдаче справок сообщать вымышленные даты смерти их родных и скрывать факт расстрела.

А само это «негласное указание» — недосмотр? Оно что, от недомыслия властных органов? От лености органов исполнительных? Да, того и другого хватало: и недомыслия, и лености. Но для функционирования тоталитарной системы и не нужно было: неосуществимо, непрактично, излишне — повальное анкетирование всех, кто шел потоком: кого допускали к ведению дел, того просвечивали насквозь, а всех прочих (в том числе рабочих авиазавода) пропускали по сокращенной анкете.

Так надо ж было чувствовать, где сталь тотальной системы, а где щель нормального существования. Система знала, где из экономии можно и остановиться. Чувствовать это мог (и должен был) человек с умом и талантом.

(Вот так же и Юрий Гагарин, переживший немецкую оккупацию в восьмилетнем возрасте, десять лет спустя, с аттестатом зрелости в кармане не в институт подался, а в «ремеслуху» — чтобы не писать в анкете, что его сестра была немцами угнана на работы.)

И это — на всех уровнях тогдашнего существования. У тебя роман с артисткой Большого театра, а по Москве ползут слухи, что в Большой театр поступил список артисток, которых возили к Берии для эротических услуг. Ну, что делать? Порвать с любимой? Восстать против всевильного сластолюбца? Или игнорировать эту личную жуть и с любимой женщиной жить так, словно ничего не знаешь!

Вот и надо чувствовать, где эта стальная машина оставляет щели, в которые человек, с головы до ног мобилизованный, все-таки должен ухитриться дышать!

И даже быть счастливым? Мне, как и всем в моем поколении, верилось в счастье, и обязательно — во всемирное. По ходу жизни подумалось другое: никакого окончательного счастья не будет ни у отдельной песчинки, ни у тотального монолита (коммунизм там, демократия или еще что), а будет бесконечная борьба человеческого сознания и человеческой природы. Так что готовиться надо ко всему.

Знал ли это Трифонов? Чувствовал смутно? А знал он другое: что в эпоху тотальности надо соображать, с кем ты и против кого. Два варианта, и лишь потом — щели...

Русская мысль по традиции принимала именно два варианта. Или ты герой, или тварь дрожащая (У нас героем становится любой...). Интеллигентский вариант: или ты критически мыслящая личность, или мещанин (обыватель, филистер, — добавляет Экштут). А для героев — выбор: или Фемида, или Немезида. Или ты вместе с воюющим народом знаешь, где правда, или вместе с ним караешь отступников.

Эту «дихотомию» Трифонов впитал «с молоком матери» (мать, из семьи революционеров, строивших эту «чертову власть», — попала под тот же каток репрессий).

Я принял эту тотальную двусмысленность истины — вместе с моим поколением «шестидесятников», — в которое попал и Трифонов (по возрасту он был старше, просился в военное училище — с оборонного завода в 1942 году не отпустили, а если

бы отпустили — вернулся бы с фронта?). Судьба удержала в поколении спасеннейшей войны, и на всю жизнь обрекла вместе с «шестидесятниками» осмыслять эпоху, искать в ней выходы к «простому человеческому достоинству» и не соглашаться ни на роль палачей, ни на долю жертв — те и другие пополнялись людьми одного психологического типа. Искал же Трифонов между этими стиснутыми краями... что? Человеческий потенциал. Стиснутую природу. Спасенную от жути суть.

Настоящую суть — уже не между мобилизацией и гибелью, а... «между оттепелью и застоем». Скрытую в «щелях» при очередной смене сменяющихся лозунгов и исторических событий.

«Одно историческое событие сменяется другим, а частная жизнь людей идет своим чередом».

«Прошлое связано с настоящим неопределенной цепью событий, вытекающих одно из другого».

Силою интуиции и таланта Трифонов почувствовал в этой черно-красно-белой свистопляске ее глубинную, изначальную, природную основу.

В ту пору, когда он это почувствовал, интеллигенты еще разрывались душой между полюсами веры: или советское, или антисоветское, или Сталин, или...

Это у Трифонова и почувствовал его проницательный биограф, из следующего, послесталинского поколения. Почувствовал и то, чего стоило Трифонову такое интуитивное прозрение.

«После того как из жизни людей исчез страх, надо было как-то вписать недавнее прошлое — революцию, Гражданскую войну, репрессии — в свою картину мира и свою систему ценностей. Вписать, осмыслить — и не сойти с ума...»

Не сойти с ума! Это формулировка Экштута. Трифонов в своих формулировках все время возвращается к главному фатальному понятию — нет, не «террор», а — «страх».

Не тот «страх», который превращает человека в труса, а тот, который издавна уточняется в понятии «страх Божий». То есть страх выпасть из той неизбежности, в которую человек вписан тотальной волей эпохи, неизбывной волей судьбы, народа, страны.

«Трифонов был первым и едва ли не единственным мыслителем, посмотревшим на современную ситуацию в большом времени истории... Первым, кто не только зафиксировал феномен, "колебательного состояния" власти, но и обстоятельно изучил феномен страха в России — будь то страх властей в ожидании очередного покушения народовольцев на царя или страх обывателей перед правительственным или революционным террором».

Страх выпасть из строя воюющей державы. Страх оказаться в отщепенцах и изгоях воюющей эпохи. Страх утратить чувство реальности — колеблющейся, содрогающейся, мечущейся реальности. В условиях которой надо было найти в себе и мужество, и проницательность — не прятаться от жуткой реальности и все-таки оставаться человеком.

Хотя понять, что это такое: остаться человеком в эпоху тотального, воинствующего расчеловечивания — можно разве что методом «проб и ошибок».

Чему интуицией большого художника и научился Юрий Трифонов. Что могут почувствовать, читая его, нынешние наследники.

Экштут находит у Трифонова стилистически прихотливую, но поразительно точную формулу этого состояния:

«Жизнь — страшная вещь и в то же время — лучшая школа».

Summary

VLADIMIR MEDVEDEV. Zahhock

The civil war in Tajikistan, one of the bloodiest conflicts on the territory of the ex-USSR. The dramatic events are developing in a remote gorge in the mountains on the frontier with Afghanistan. Here, in the extreme situation, all the other «frontiers» are clearly showing through: between life and death, good and evil, real and imagined, the power and the subjects, city and village, man and Nature, young and old, alive and dead, ours and strangers.

Poetry

The poems of our new authors — MIKHAIL SVISCHEV from Moscow and GENNADIJ KATZOV from New-York — are notable for their unique poetics and intonation and we hope they will stick in the memory of the readers.

The readers' attention might be also attracted by the collection of mostly personal and passionate poems by INNA KABISH named after Leo Tolstoy — «Sevastopol Stories».

YOURIJ KAGRAMANOV. For Whom «The Triumph of the Will» Is Being Held in Store?

Trying to look into the opposition of ideologies in Ukraine the author supposes that the events taking place now in Novorossiia may become a catalyst of the spiritual processes taking place in Russia and regrets of the lack of those who are capable to ignite the minds and hearts with the aspiration for the real renovation of the life.

ALEXSEJ MALASHENKO. Some Notes On the Question of Nationalities and Not Only

Is it possible to find the best way to establish the friendship between the peoples forever? What is most important if trying to do it: the language, religion, modern technologies, dialogue of cultures, cultivation of tolerance?.. This is what the author is meditating upon and publishing his meditations our magazine invites everybody to the discussion.

EVGENIJ ABDULLAEV. The Garden of No Times Whatever

In his traditional yearly review of the books of poetry the author writes: «In my previous reviews I tried to classify the books according to some signs: genre, the age of the authors, geography Now I tried to break this tradition, since systematization is a thing useful but dead. I'd like — taking and opening the books at random, reading and becoming absorbed — to show the alive and unstiffened in the modern lyrics. The uniting metaphor will be — the garden of the stiffened times, though one isn't free to choose the times».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»